

Грэм Грин

«Комедианты»

А.С.Фреру.

Когда Вы стояли во главе большого издательства, я был одним из самых постоянных Ваших авторов, а когда Вы оттуда ушли, я, как и многие другие писатели, решил, что пришло время подыскать себе другое прибежище. Это первый роман, который я с тех пор написал, и я хочу посвятить его Вам, в память о более чем тридцатилетнем сотрудничестве — хотя разве можно выразить таким бездушным словом все те советы, которые Вы мне давали (Вы никогда и не ждали, что я их приму), Вашу поддержку (Вы никогда не знали, как она мне необходима), нашу долголетнюю дружбу и шутки, над которыми мы вместе смеялись.

Несколько слов о героях «Комедиантов». Вряд ли кому-нибудь придет в голову, что я захочу возбудить дело о клевете против самого себя, но я все-таки хочу внести ясность: хотя рассказчика в этой повести зовут Браун, он не Грин. [Браун по-английски — коричневый; Грин — зеленый] Читатели часто, я знаю это по опыту, отождествляют «я» с автором. В свое время меня принимали за убийцу друга, за ревнивого любовника жены одного чиновника, за одержимого игрока в рулетку. Мне не хотелось бы добавить к этой изменчивой натуре черты воспитанника иезуитов, к тому же явно незаконнорожденного и наставляющего рога южноамериканскому дипломату. Ага, — могут сказать, — Браун — католик, а Грин, как известно, тоже!.. Часто забывают, что, даже когда действие романа происходит в Англии, произведение, в котором больше десяти персонажей, недостаточно правдоподобно, если хоть один из этих персонажей не будет католиком.

Мы склонны игнорировать этот факт социальной статистики, отчего английский роман иногда становится провинциальным.

И не только «я» в «Комедиантах» вымышленный характер: все его персонажи, начиная от таких эпизодических ролей, как британский поверенный в делах, и до главных героев, никогда не существовали в действительной жизни. Где-то позаимствованная внешняя характеристика, манера разговаривать, услышанная от кого-то забавная история — все это переварено в котле подсознания и вышло оттуда почти неузнаваемым для самого повара.

Но ни злосчастное Гаити, ни диктатура доктора Дювалье не являются плодом вымысла, и что до последнего, то автор даже не сгущал красок, чтобы усилить драматический эффект. Эту черную ночь невозможно очернить. Среди тонтон-макутов полно людей еще более жестоких, чем Конкассер; прерванные похороны списаны с натуры; множество Жозефов хромает по улицам Порт-о-Пренса после пережитых ими пыток, и, хотя я и не встречал Филипо, я видел в том сумасшедшем доме возле Санто-Доминго повстанцев, столь же мужественных и столь же плохо обученных военному делу, как и он. С тех пор как я начал писать эту книгу, положение изменилось разве что в Санто-Доминго, и только к худшему.

Любящий Вас Грэм Грин.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Когда я перебираю в памяти серые монументы, воздвигнутые в Лондоне полузабытым героям былых колониальных войн, — генералам на конях и политическим деятелям во фраках, которых и подавно никто не помнит, мне не кажется смешным скромный камень,

увековечивший Джонса по ту сторону Международного шоссе, которое ему так и не удалось перейти, в далекой от его родины стране, — впрочем, я и по сей день не знаю, где была его родина. Но он жизнью заплатил за этот памятник — пусть и против своей воли, — а вот генералы обычно возвращаются домой невредимыми, и если платят за свои памятники, то лишь кровью своих солдат; что же до политиков — кого интересуют мертвые политики, кто помнит, за что они ратовали при жизни? Свобода торговли меньше интересует людей, чем война с племенем ашанти, правда, лондонские голуби не разбираются в таких тонкостях. *Exegi monumentum* [воздвиг я памятник... (лат.)]. И когда мое своеобразное ремесло приводит меня на север, к Монте-Кристи, я, проезжая мимо этого камня, горжусь тем, что его воздвигли не без моего участия.

Почти у каждого в жизни наступает минута, после которой нет возврата к прошлому. Она приходит незаметно. Ни я, ни Джонс не почувствовали, когда это с нами произошло, хотя именно у нас, в силу особенностей жизненного пути, как и у пилотов старой дореактивной школы, должна была бы выработаться особая наблюдательность. Во всяком случае, в то пасмурное августовское утро я не заметил, как этот миг растаял где-то в Атлантическом океане за кормой «Медеи», грузового судна пароходной компании Королевства Нидерландов, шедшего из Филадельфии через Нью-Йорк на Гаити. В то время я еще серьезно помышлял о своем будущем, даже о будущем моей пустой гостиницы и почти такой же пустой любовной истории. Как мне казалось, ничто не связывало меня ни с Джонсом, ни со Смитом, они были всего-навсего моими попутчиками, и я не подозревал о тех *rompes funebres* [похороны (фр.)], которые они мне сулят в заведении мистера Фернандеса. Если бы кто-нибудь мне об этом сказал, я бы просто рассмеялся, как смеюсь и теперь в хорошие минуты.

Розовый джин колыхался в стакане в такт качке, словно это был прибор, которым измеряют удары волн, когда мистер Смит решительно заявил Джонсу:

— Нет, сэр, лично я никогда не страдал от *mal de mer*. [морская болезнь (фр.)] Морская болезнь — следствие высокой кислотности. Мясо повышает кислотность, точно так же как и спиртное.

Он был из висконсинских Смитов, но для меня сразу же стал Кандидатом в президенты, потому что его так назвала жена в первый же час нашего плавания. Мы стояли с ней, опершись о перила, и смотрели на море. Она резко мотнула в его сторону тяжелым подбородком, словно подчеркивая, что если на пароходе и едет еще какой-нибудь кандидат в президенты, то речь идет не о нем.

— Я говорю о своем муже, о мистере Смите, он был кандидатом в президенты в 1948 году. Мистер Смит — идеалист. И, конечно, поэтому у него не было никаких шансов пройти.

О чем мы с ней тогда разговаривали и что навело ее на эту тему? Мы лениво глядели на серую гладь моря, которое простиралось на три мили вокруг нас, похожее на ленивого, но грозного зверя, который только и ждет, чтобы вырваться из клетки за линию горизонта. Возможно, я заговорил с ней о каком-нибудь знакомом, игравшем на рояле, а оттуда ее мысли перескочили на Трумэна и потом на политику — ее гораздо больше, чем мужа, увлекала политика. По-моему, она была убеждена, что добилась бы на выборах куда большего успеха, чем муж, и, глядя на ее торчащий, как руль, подбородок, я склонен был с ней согласиться. Мистер Смит, подняв воротник потертого дождевика, чтобы не надуло в его большие, наивные, волосатые уши, и перекинув через руку плед, шагал у нас за спиной, а вздыбленный ветром клоч седых волос торчал над его лбом, как телевизионная антенна. Его можно было принять либо за доморощенного поэта, либо за декана заштатного колледжа, но уж никак не за политического деятеля. Я старался вспомнить, кто был соперником Трумэна на тех выборах — ей-богу же, его фамилия была Дьюи, а не Смит, — но тут порыв ветра с Атлантики унес следующую фразу моей собеседницы. Ока как будто сказала что-то об овощах — но тогда я решил, что мне это только почудилось.

С Джонсом мы встретились несколько позже при довольно щекотливых обстоятельствах: он пытался подкупить стюарда, чтобы тот поменял наши каюты. Он стоял в дверях моей каюты с чемоданом в одной руке и двумя пятидолларовыми бумажками в другой.

— Ваш пассажир еще сюда не спускался и не станет устраивать скандал. Не такой это человек. Даже если и заметит разницу.

Он говорил так, будто был со мной хорошо знаком.

— Но как же так, мистер Джонс... — возражал стюард.

Невысокий, аккуратный Джонс был в светло-сером костюме с двубортным жилетом, который нелепо выглядел здесь, где не было лифтов, снующих конторщиков и треска пишущих машинок. Это был единственный двубортный жилет на нашем стареньком грузовом пароходе, деловито пересекавшем угрюмое море. Как я потом заметил, Джонс никогда его не менял, даже в тот вечер, когда на пароходе устроили концерт; и я заподозрил, что в его чемодане просто не было другой одежды, словно, наспех укладываясь в дорогу, он по ошибке захватил не тот мундир, ведь ему явно не хотелось привлекать к себе внимание. Глядя на его черные усики и темные навывкате глаза, я скорее принял бы его за француза, какого-нибудь биржевика, и был крайне удивлен, узнав, что его фамилия Джонс.

— Майор Джонс, — укоризненно поправил он стюарда.

Я был смущен не меньше, чем он. На грузовом пароходе мало пассажиров и неудобно затевать ссору. Стюард, скрестив руки, отнекивался с видом праведника.

— Простите, сэр, но я ничего не могу поделать. Кюота заказана этим джентльменом, мистером Брауном.

Смит, Джонс и Браун на одном пароходе — невероятное совпадение! Но у меня есть хоть какое-то право на мою затасканную фамилию, а вот есть ли оно у него? Я улыбнулся, видя его в таком затруднении, но, как потом выяснилось, Джонс понимал только самые незамысловатые шутки.

Он поглядел на меня серьезно и пристально.

— Это в самом деле ваша кюота, сэр?

— По-моему, да.

— А мне сказали, что кюота свободна. — Он слегка повернулся и стал спиной к моему дорожному сундуку, который вызывающе красовался посреди каюты. Деньги исчезли, наверно, он их сунул в рукав, — я не видел, чтобы он клал руку в карман.

— Вам дали плохую кюоту? — спросил я.

— Нет, но я предпочитаю те, что по правому борту.

— Как ни странно, я тоже, на этой трассе. Можно держать иллюминатор открытым. — И, словно подтверждая мои слова, судно, выйдя в открытое море, стало медленно раскачиваться.

— Пора выпить джину, — поспешно предложил Джонс, и мы вместе отправились наверх, в маленький бар, где чернокожий стюард воспользовался случаем шепнуть мне на ухо, доливая водой мой джин:

— Я — английский подданный, сэр!

Джонсу, как я заметил, он такого заявления не сделал.

Дверь в бар распахнулась, и вошел Кандидат в президенты — внушительная фигура, несмотря на детские наивные уши, — ему пришлось пригнуть голову, чтобы не удариться о притолоку. Он осмотрел бар, а потом отступил в сторону и вытянул руку, чтобы пропустить жену, которая свободно прошла под ней. Ему, видно, хотелось удостовериться в том, что в баре приличное общество. Глаза у него были ясные, светло-голубые, а из носа и ушей как-то по-домашнему торчали седые кустики волос. Да, уж кто-кто, а он был продукт подлинный, неподдельный, не чета мистеру Джонсу! Если бы я дал себе труд о них подумать в тот момент, я бы решил, что они несовместимы, как масло и вода.

— Входите, — сказал Джонс (я как-то не мог себя заставить называть его майором), — входите, опрокинем стаканчик!

Его жаргон, как я позже убедился, был немножко старомоден, словно он черпал его из разговорника, и притом не самого последнего издания.

— Прошу меня извинить, — сказал очень вежливо мистер Смит, — но я не потребляю алкоголя.

— Я и сам его не потребляю, — ответил Джонс. — Я его пью. — И он подтвердил свои слова действием. — Моя фамилия Джонс, — добавил он. — Майор Джонс.

— Рад с вами познакомиться, майор. Моя фамилия Смит. Уильям Эбел Смит. А это — моя жена, майор Джонс. — Он посмотрел на меня вопросительно, и я понял, что сплоховал, не представившись вовремя.

— Браун, — робко произнес я: у меня было такое чувство, словно я отпустил неудачную шутку, но мои собеседники этого не заметили.

— Позвоните-ка еще разок, — попросил меня Джонс, — будьте добры. — Меня уже зачислили в друзья, и, хотя мистер Смит стоял гораздо ближе к звонку, я пересек бар и позвонил; правда, мистер Смит в ту минуту был занят, он укутывал ноги жены пледом, хотя в баре было вполне тепло (впрочем, может быть, это у них такой семейный обычай?). И в ответ на заявление Джонса, что ничто так не помогает от морской болезни, как розовый джин, мистер Смит обнародовал свой символ веры:

— Нет, сэр, лично я никогда не страдал от *mal de mer*. Я всю жизнь был вегетарианцем.

Жена встала:

— Вся наша кампания прошла под этим лозунгом.

— Кампания? — живо переспросил Джонс, словно это слово всколыхнуло душу старого вояки.

— По президентским выборам в 1948 году.

— Вы были кандидатом в президенты?

— Увы, шансов у меня было крайне мало, — произнес мистер Смит с добродушной улыбкой. — Обе могущественные партии...

— Мы просто бросили вызов, — с жаром прервала его жена. — Подняли свой стяг.

Джонс молчал. Может быть, он онемел от почтительного изумления, а может быть, как и я, старался припомнить, кто же были тогда основные соперники. Потом он повторил, словно ему приятно было произносить эти слова:

— Кандидат в президенты 1948 года. — И добавил: — Я очень польщен этим знакомством.

— У нас не было своей организации, — сказала миссис Смит. — Нам это было не по средствам. И тем не менее мы получили больше десяти тысяч голосов.

— Я и не рассчитывал на такую поддержку избирателей, — сказал кандидат в президенты.

— Мы заняли не самое последнее место. Там был еще один кандидат... он имел какое-то отношение к сельскому хозяйству. Да, голубчик?

— Я забыл, как именно называлась его партия. По-моему, он был последователем Генри Джорджа.

— Должен признаться, я всегда думал, — сказал я, — что кандидаты бывают только от демократической и республиканской партий, хотя в тот раз, кажется, был еще и социалист, правда?

— Вокруг съездов этих партий всегда поднимают такую шумиху, — сказала миссис Смит, — хотя все это, в общем, вульгарный балаган. Вы можете себе представить мистера Смита в окружении девиц с барабанами?

— В президенты может баллотироваться любой, — мягко, смиренно объяснил кандидат. — В этом величие нашей демократии. Для меня, поверьте, это было очень важным

испытанием. Очень важным. Я этого никогда не забуду.

Пароход наш был очень маленький. На нем помещалось всего четырнадцать пассажиров, но далеко не все каюты на «Медее» были заняты. Сезон был неподходящий, да и остров, на который мы ехали, перестал привлекать туристов.

Среди пассажиров был очень щеголеватый негр в высоком белом воротничке, крахмальных манжетах и очках в золотой оправе, который ехал в Санто-Доминго; он ни с кем не общался, а за табльдотом отвечал вежливо, но уклончиво и односложно. Например, я спросил, какой груз, по его мнению, возьмет капитан в Трухильо, и тут же поправился:

— Простите, я хотел сказать — в Санто-Доминго.

Он, серьезно кивнув, сказал:

— Да.

Сам он никого ни о чем не спрашивал, и его сдержанность была прямым укором нашему пустому любопытству.

Ехал с нами и коммивояжер какой-то фармацевтической фирмы; я уже не помню, как он объяснял, почему не полетел самолетом. Но я был уверен, что это не настоящая причина, — у него было больное сердце, и он это скрывал. Лицо его было туго обтянуто сухой, как пергамент, кожей, а тело казалось непропорционально большим; к тому же он слишком много времени лежал у себя в каюте.

Сам я отправился морем из осторожности — иногда мне казалось, что по той же причине попал на пароход и Джонс. Прибыв в аэропорт, ты сразу разлучаешься с командой самолета и остаешься один на бетонной дорожке, а в порту на иностранном судне ты под защитой другой державы — ведь пока я на «Медее», я был на положении голландского подданного. Я заплатил за проезд до Санто-Доминго и утешал себя, что не сойду с парохода, пока не получу определенных гарантий от британского консула... или от Марты. Моя гостиница на холмах, над городом, обходилась без хозяина вот уже три месяца; в ней наверняка нет постояльцев, а я дорожил своей жизнью больше, чем пустым баром, коридором с пустыми номерами и столь же пустым, беспросветным будущим. Что же касается Смитов, то на пароход их, по-моему, привела любовь к морю, а вот почему они решили посетить республику Гаити, я узнал только позднее.

Капитаном у нас был тощий неприступный голландец, такой же до блеска надраенный, как медные части у него на судне; он только раз вышел к столу. В противоположность ему судовой казначей был весельчак, неряшливо одетый, обожавший голландский джин и гаитянский ром. На второй день плавания он пригласил нас выпить к себе в каюту. Мы набились в нее как сельди в бочку, не пришел только фармацевт, который заявил, что никогда не ложится позже девяти. Даже джентльмен из Санто-Доминго присоединился к нашей компании и, когда казначей спросил его, нравится ли ему погода, ответил: «Нет».

У казначея была шутливая манера все преувеличивать, его природная веселость не слишком пострадала даже от того, что Смиты попросили лимонного сока без сахара, а когда его не оказалось — кока-колы.

— Да это же отрава! — воскликнул казначей и стал излагать свою теорию изготовления этого напитка.

Но Смитов это ничуть не смутило, и они пили кока-колу с явным удовольствием.

— Там, куда вы едете, вам порой захочется выпить чего-нибудь покрепче, — скажам им казначей.

— Мы с мужем никогда не брали в рот крепких напитков, — заявила миссис Смит.

— Вода там сомнительная, а теперь, когда американцы ушли, кока-колы не достанешь. Вот услышите ночью на улице стрельбу и, наверно, подумаете: стаканчик бы крепкого рому...

— Никакого рома, — отрезала миссис Смит.

— Стрельбу? — осведомился мистер Смит. — А там стреляют? — Он с легкой тревогой

взглянул на жену, которая съежилась под пледом (она зябла даже в этой душной каюте). — Почему там стреляют?

— Спросите мистера Брауна. Он там живет.

— Стрельбу я слышал не так часто, — сказал я. — Обычно они обделывают свои дела втихую.

— Кто это «они»? — спросил мистер Смит.

— Тонтон-макуты, — злорадно вставил казначей. — Президентские упыри. Ходят в темных очках и являются к своим жертвам только по ночам.

Мистер Смит положил руку на колено жены.

— Этот джентльмен хочет нас напугать, детка, — сказал он. — В туристском бюро нам об этом ничего не говорили.

— Он не знает, что нас не так-то легко напугать, — сказала миссис Смит, и я почему-то ей поверил.

— Вы понимаете, о чем мы говорим, мистер Фернандес? — крикнул казначей в дальний угол каюты; некоторые чудачки почему-то всегда громко говорят с людьми другой расы.

У мистера Фернандеса глаза заволоклись, словно он вот-вот заснет.

— Да, — сказал он, но мне показалось, что он с таким же успехом мог ответить и отрицательно.

Тут впервые открыл рот Джонс, сидевший на краю койки казначея со стаканом рома в руке.

— Дайте мне пятьдесят десантников, и я пройду через всю страну и без мыла.

— А вы служили в десанниках? — не без удивления спросил я.

Он ответил уклончиво:

— Да, почти. В том же роде войск.

Кандидат в президенты сообщил:

— У нас рекомендательное письмо к министру социального благоденствия.

— К министру чего? — переспросил казначей. — Благоденствия? Чего другого, а благоденствия вы там не найдете. Вы бы посмотрели, какие там крысы. Огромные, как эрдельтерьеры...

— В туристском бюро мне сказали, что там есть несколько прекрасных гостиниц.

— Одна из них принадлежит мне, — сказал я.

Вынув бумажник, я показал им три почтовые открытки. Несмотря на то, что краски были кричащие и вульгарные, картинки производили впечатление — ведь они были памятником прошлого, которое уже не вернется. На одной открытке в выложенном голубыми изразцами бассейне плавали девушки в бикини; на другой — под тростниковой крышей креольского бара играл на барабанах знаменитый на все побережье Карибского моря ударник, на третьей был общий вид гостиницы — башенки, балконы и остроконечные крыши — причудливая архитектура Порт-о-Пренса прошлого века. Хоть это не изменилось.

— Нам хотелось бы что-нибудь потише, — сказал мастер Смит.

— У нас теперь куда как тихо.

— Конечно, нам было бы приятно — правда, детка? — жить у друзей. Если у вас найдется свободная комната с ванной или душем.

— У нас все комнаты с ваннами. И не бойтесь шума. Ударник сбежал в Нью-Йорк, а все девушки в бикини теперь в Майами. Вы, наверно, будете единственными моими постояльцами.

Я рассудил, что эти двое могут быть очень полезны не только из-за денег, которые они заплатят. Кандидат в президенты — лицо видное; он, несомненно, будет находиться под опекой своего посольства или хотя бы того, что от него осталось. (Когда я уезжал из Порт-о-Пренса, штат посольства сократили до поверенного в делах, секретаря и двух охранников из

морской пехоты — память о военной миссии.) По-видимому, та же мысль пришла в голову Джонсу.

— Может быть, и я к вам присоединюсь, — сказал он, — если для меня ничего другого не приготовили. Если мы будем держаться вместе, у нас будет такое чувство, будто мы еще на пароходе.

— На миру, говорят, и смерть красна, — подтвердил казначей.

— Если у меня будут трое постояльцев, мне позавидуют все hoteliers [владельцы гостиниц (фр.)] в Порт-о-Пренсе.

— Опасно, когда тебе завидуют, — сказал казначей. — Всем вам троим было бы гораздо лучше плыть дальше с нами. Лично я остерегаюсь отходить от порта больше, чем на пятьдесят шагов. В Санто-Доминго тоже есть прекрасная гостиница. Роскошная гостиница. Могу вам показать открытки не хуже этих. — Он выдвинул ящик, и я мельком увидел дюжину пакетиков с презервативами, которые он выгодно продаст своей команде, когда они отправятся на берег к матушке Катрин или в какое-нибудь заведение подешевле. (Я был уверен, что, сбывая свой товар, он приводил устрашающую статистику заболеваний.) — Куда же я их девал? — непонятно зачем осведомился он у мистера Фернандеса, на что тот только заулыбался и ответил «да». Казначей стал шарить по столу, заваленному циркулярами, скрепками, флаконами с красными, зелеными и синими чернилами, старомодными деревянными ручками и перьями, и наконец обнаружил несколько мятых открыток с изображением точно такого же бассейна, как мой, и креольского бара, который отличался только тем, что там сидел другой ударник.

— Мой муж едет не отдыхать, — высокомерно заявила миссис Смит.

— Я возьму одну, если не возражаете, — сказал Джонс, выбрав бассейн с девицами в бикини. — Мало ли что бывает...

Эта фраза, как видно, была его самой серьезной попыткой разгадать смысл жизни.

На следующий день я сидел в шезлонге у правого, защищенного от ветра борта и томно покачивался на волнах лиловато-зеленого моря; лицо мое то освещалось солнцем, то пряталось в тени. Я пытался читать роман, но неуклюжие и слишком очевидные маневры героев в малоинтересных коридорах власти нагоняли на меня сон, и, когда книжка соскользнула с моих колен на палубу, я не стал ее поднимать. Глаза мои открылись только тогда, когда мимо прошел коммивояжер; он цеплялся обеими руками за поручни, словно карабкался вверх по лестнице. Бедняга тяжело дышал, и на лице у него было выражение отчаянной решимости, словно он знал, куда ведет лестница, знал, что добраться до верха стоит труда, и в то же время понимал, что у него не хватит на это сил. Я снова задремал, мне приснилось, что я один в темной комнате и кто-то трогает меня холодной рукой. Я проснулся и увидел, что это мистер Фернандес, застигнутый врасплох неожиданным креном судна, ухватился за меня, чтобы не упасть. Его очки поймали капризный луч солнца, и мне почудилось, будто из черного неба пролился золотой дождь.

— Да, — заулыбался он, — да! — И с извиняющимся видом, шатаясь, пошел дальше.

На второй день плавания, казалось, всех, кроме меня, одолела жажда передвижения. Следом за мистером Фернандесом появился мистер Джонс — я все не мог заставить себя звать его майором, — он уверенно шествовал посередине палубы, принаравливая шаг к движению судна.

— Штормит, — крикнул он, проходя мимо, и у меня снова появилось ощущение, что он изучал английский по книгам, в данном случае по романам Диккенса.

Но тут неожиданно вернулся мистер Фернандес, его швыряло по палубе из стороны в сторону, а за ним мучительно карабкался на свою лестницу фармацевт. Первое место он потерял, но упорно не желал выйти из состязания. Я спросил себя, когда же появится кандидат в президенты, почему он отстает от других, и в тот же миг он вышел из салона и

оказался рядом со мной. Он был в одиночестве и выглядел без своей неразлучной спутницы каким-то неприкаянным.

— Ветрено, — сказал он, словно исправляя стиль мистера Джонса, и сел на соседний шезлонг.

— Надеюсь, миссис Смит здорова?

— Да, вполне, — сказал он. — Вполне. Она осталась в каюте, учит французскую грамматику. Говорит, что не может сосредоточиться, когда я рядом.

— Французскую грамматику?

— Нам сказали, что там, куда мы едем, говорят по-французски. Миссис Смит необычайно способна к языкам. Стоит ей несколько часов посидеть над грамматикой, и она овладеет языком, кроме, конечно, произношения.

— Ей раньше не приходилось иметь дело с французским?

— Для миссис Смит это не помеха. К нам как-то поступила прислугой немка. Не прошло и дня, как миссис Смит сделала ей выговор за то, что у нее в комнате беспорядок, и притом по-немецки. В другой раз у нас служила финка. Миссис Смит потратила чуть не целую неделю, чтобы достать финскую грамматику, но зато потом ее было не унять. — Он помолчал и сказал с улыбкой, которая придавала глупостям, которые он говорил, какую-то значительность: — Я женат уже тридцать пять лет, но не перестаю восхищаться этой женщиной.

— А вы часто отдыхаете в здешних местах? — спросил я не без задней мысли.

— Мы стараемся соединить отдых с выполнением нашей миссии. Мы с миссис Смит не сторонники пустых развлечений.

— Понятно. И ваша миссия на этот раз привела вас?..

— Как-то раз, — сказал он, — мы решили отдохнуть в Теннесси. Это было незабываемое время. Понимаете, мы отправились туда как борцы за свободу. И по дороге, в Нашвилле, произошел такой случай, что я даже перепугался за миссис Смит.

— Чтобы проводить так свой отдых, нужна смелость.

— Мы по-настоящему любим цветных, — сказал он; ему казалось, что этим он все объяснил.

— Боюсь, что там, куда мы едем, вы в них разочаруетесь.

— Мало ли в чем разочаровываешься, пока не посмотришь на дело поближе.

— Цветные умеют быть такими же насильниками, как и белые в Нашвилле.

— У нас в США есть свои неполадки. И все же я полагаю, что казначей надо мной подшутил.

— Он и хотел подшутить. Но шутка не удалась. Действительность гораздо страшнее того, что он может увидеть из порта. Сомневаюсь, чтобы он далеко заходил в город.

— Значит, и вы советуете нам проехать дальше, в Санто-Доминго?

— Да.

Глаза его грустно глядели на надоедливо однообразный морской пейзаж. Мне казалось, что мои слова произвели на него впечатление.

— Хотите, я вам расскажу, что там делается? — предложил я.

И я рассказал мистеру Смиру о человеке, которого заподозрили в том, что он замешан в попытке украсть детей президента по дороге из школы. По-моему, против него не было никаких улик, но он занял первое место на каком-то международном состязании по стрельбе в Панаме, а полиция, наверно, решила, что снять президентскую охрану может только отличный стрелок. Поэтому тонтон-макуты окружили его дом — его самого там в это время не было, — облили дом бензином и подожгли, а потом расстреливали из пулеметов всех, кто пытался оттуда выбраться. Пожарной команде позволили только не дать огню перекинуться на соседние дома, и теперь на этом месте пепелище, похожее на дыру от вырванного зуба.

Мистер Смит внимательно меня слушал.

— Гитлер делал вещи похуже, — сказал он, — не так ли? А он белый. Нельзя все сваливать на цвет кожи.

— Да я и не сваливаю. Пострадавший ведь тоже был цветным.

— Если хорошенько поглядеть вокруг, повсюду не слишком весело. Миссис Смит не захочет, чтобы мы вернулись с полпути только потому, что...

— Да я вас и не уговариваю. Вы меня спросили...

— Тогда почему же — извините, что я задаю вам этот вопрос, — вы сами туда возвращаетесь?

— Потому, что там — все, что у меня есть. Моя гостиница.

— А вот все, что у нас с женой есть, — это наша миссия.

Он сидел, не отрывая глаз от моря. В это время мимо Прошел Джонс и крикнул нам через плечо:

— Пошел на пятый круг! — и проследовал дальше.

— Вот и он не боится, — сказал мистер Смит, словно извиняясь за свое бесстрашие; так оправдывается человек, который, надев слишком пестрый галстук — подарок жены, — говорит, что теперь все носят такие галстуки.

— Не думаю, чтобы им двигала смелость. Может, ему, как и мне, просто некуда больше деваться.

— Он очень предупредителен к нам обоим, — твердо произнес мистер Смит, явно желая переменить тему разговора.

Когда я узнал мистера Смита поближе, я научился различать этот его тон. Ему становилось мучительно не по себе, когда я дурно о ком-нибудь отзывался, даже о человеке, ему не знакомом, или о враге. Он сразу же начинал пятиться от такого разговора, как конь от воды. Мне иногда нравилось заманивать его, будто невзначай, к самому краю омута, а потом вдруг пришпорить и, понукая хлыстом, заставить войти в воду. Но я так и не научил его прыгать. По-моему, он скоро стал догадываться, куда я гну, но ни разу не выказал своего недовольства. Это означало бы осудить друга. И он предпочитал уклониться от спора. В этом хотя бы его характер отличался от характера жены. Позднее я узнал, какая неукротимая и прямолинейная натура у миссис Смит, — она была способна напасть на кого угодно, конечно, кроме самого кандидата в президенты. Я много раз ссорился с ней за время нашего знакомства, она подозревала, что я немножко подсмеиваюсь над ее мужем, но она не догадывалась, как я им обоим завидую. Я ни разу не встречал в Европе семейную пару, такую преданную друг другу, как они!

— Вы что-то хотели сказать насчет вашей миссии, — напомнил я мистеру Смигу.

— Разве? Вы меня извините, что я так о себе разболтался. «Миссия» — чересчур громкое слово.

— Мне это очень интересно.

— Назовите это нашей надеждой. Но человек вашей профессии вряд ли отнесется к ней сочувственно.

— Это имеет отношение к вегетарианству?

— Да.

— Я могу отнестись к нему сочувственно. В конце концов, мое дело угождать клиентам. И если они вегетарианцы...

— Вегетарианство — вопрос не только диеты, мистер Браун. Оно затрагивает нашу жизнь с самых разных сторон. Если бы нам удалось избавиться от излишков кислотности в человеческом организме, мы избавились бы и от страстей.

— Тогда прекратилась бы жизнь.

Он сказал с мягким укором:

— Речь идет не о любви. — И я почему-то почувствовал стыд. Цинизм — это дешевка, его можно купить в любом магазине стандартных цен, им начинают всякий хлам.

— Ну что ж, сейчас вы едете в вегетарианскую страну, — сказал я.
— В каком смысле, мистер Браун?
— Девяносто пять процентов жителей не могут себе позволить ни мяса, ни рыбы, ни яиц.

— Но разве вы не замечали, мистер Браун, что во всех наших неурядицах виновата не беднота? Войны затевают политические деятели, капиталисты, интеллигенты, бюрократы, хозяева Уолл-стрита или коммунистические боссы, а никак не бедняки.

— А богатые и имеющие власть не бывают вегетарианцами?

— Нет. Как правило, не бывают.

И я снова устыдился своего цинизма. Когда я глядел в эти светло-голубые, не знающие страха и сомнений глаза, мне на минуту даже показалось, что он прав. Сбоку вырос стюард.

— Мне не надо супа, — сказал я.

— Обедать еще рано, сэр. Капитан покорнейше просит вас, сэр, зайти к нему.

Капитан был у себя в каюте — в помещении, таком же строгом и до блеска надраенном, как он сам; без единой личной вещи, если не считать кабинетной фотографии пожилой дамы, у которой был такой вид, будто она только что из парикмахерской, где ей высушили под феном все, даже характер.

— Присядьте, мистер Браун. Хотите сигару?

— Нет, спасибо.

— Я хочу поговорить с вами без обиняков. Я вынужден просить вашего содействия. Дело очень щекотливое.

— Да?

Тон у него был мрачный.

— Терпеть не могу сюрпризов во время плавания!

— А я-то думал, на море... всегда бури...

— Я, конечно, говорю не о море. Насчет моря — все понятно. — Он передвинул на другое место пепельницу, потом ящик с сигарами, а потом чуточку придвинул к себе фотографию женщины с невыразительным лицом и волосами, словно отлитыми из серого бетона. Может быть, ему она придавала уверенность — у меня бы она парализовала волю.

Он спросил:

— Вы знакомы с нашим пассажиром майором Джонсом? Он именует себя майором.

— Да, я с ним беседовал.

— Какое он на вас произвел впечатление?

— Затрудняюсь сказать... Я об этом как-то не думал...

— Я только что получил каблогранму из нашей конторы в Филадельфии. Просят сообщить, где и когда он сойдет на берег.

— Но вы же знаете по его билету...

— Они хотят удостовериться, что он не изменит своих намерений. Мы идем в Санто-Доминго... Вы же сами, например, объясняли мне, что оплатили проезд до Санто-Доминго только на тот случай, если в Порт-о-Пренсе... У него могут быть такие же соображения.

— О нем запрашивает полиция?

— Возможно, хотя это только мое предположение, что полиция им интересуется. Вы должны понять, что лично я ничего не имею против майора Джонса. Очень может быть, что там затеяли проверку, потому что какой-то делопроизводитель... Но я решил... Вы тоже англичанин и живете в Порт-о-Пренсе... Я со своей стороны вас предостерег, а вы со своей стороны...

Меня раздражала его безупречная корректность, его крайняя осторожность и крайняя прямолинейность. Неужели капитан ни разу в жизни не споткнулся — в юности или в пьяном виде, в отсутствие жены с парикмахерской прической? Я сказал:

— Вы так говорите, будто он — карточный шулер. Уверяю вас, он ни разу не предлагал

сыграть в карты.

— Да я ничего подобного не говорю...

— Вы хотите, чтобы я смотрел в оба и держал ухо востро?

— Так точно. И все. Если за ним было бы что-нибудь серьезное, они бы, конечно, попросили, чтобы я его задержал. Может быть, он сбежал от кредиторов. Кто знает? Или что-нибудь по женской линии, — добавил он брезгливо, встретившись взглядом с непреклонной женщиной в каменной прическе.

— Капитан, при всем моем к вам уважении должен сказать, что я никогда не был осведомителем.

— Я ни о чем таком вас и не прошу, мистер Браун. Не могу же я обратиться к такому старому человеку, как мистер Смит... по поводу майора Джонса... — И снова меня поразили эти три фамилии, взаимозаменяемые, как комические маски в фарсе.

— Если я что-нибудь замечу, о чем стоило бы вам сообщить... но имейте в виду, я не собираюсь за ним следить!

Капитан сокрушенно вздохнул:

— Мало человеку и без этого хлопот в таком рейсе...

Он начал рассказывать длинную историю о том, что случилось два года назад в порту, куда мы шли. В чае ночи раздались выстрелы, и через полчаса к трапу подошли офицер и двое полицейских — они хотели обыскать судно. Капитан, естественно, этого не разрешил. Судно паровой компании Королевства Нидерландов пользуется экстерриториальностью. Поднялся спор. Капитан полностью доверял своему вахтенному — как оказалось, зря: матрос заснул на вахте. Отправившись на поиски вахтенного штурмана, капитан заметил кровавые следы. Они привели его к одной из спасательных шлюпок, где он и обнаружил беглеца.

— И что вы с ним сделали? — спросил я.

— Ему оказал помощь судовой врач, а потом я, натурально, сдал его надлежащим властям.

— А может, он искал политического убежища?

— Не знаю, чего он искал. И откуда мне это знать? Он был совершенно неграмотный, и к тому же у него не было денег на проезд.

Когда после разговора с капитаном я снова увидел Джонса, я сразу почувствовал к нему ничем не оправданную симпатию. Если бы в эту минуту он предложил сыграть в покер, я бы, не раздумывая, согласился и с удовольствием ему проиграл, только чтобы выказать ему доверие и избавиться от дурного вкуса во рту. Я пошел по палубе вдоль правого борта, чтобы не встретиться с мистером Смитом, и меня обдало волной; не успев нырнуть к себе в каюту, я лицом к лицу столкнулся с мистером Джонсом. Меня обуревало чувство вины, словно я уже выдал все его тайны. Он остановился и предложил угостить меня пивом.

— Пожалуй, рановато... — сказал я.

— В Лондоне как раз открывают кабаки.

Я поглядел на часы — на них было без пяти одиннадцать — и покраснел, словно попросил у него документы. Пока Джонс ходил разыскивать стюарда, я взял книгу, которую он оставил в баре. Это было дешевое американское издание с голой девицей на обложке, развалившейся задом кверху на роскошной постели. Заголовок гласил: «Теперь или никогда!» На титульном листе было нацарапано карандашом: «Р.Дж.Джонс». Устанавливал ли он этой подписью свою личность или сохранял книгу? Я открыл ее наудачу. «Верить? — голос Джеффа хлестнул ее, как удар бича...» — В это время вернулся Джонс с двумя кружками светлого пива в руках. Я положил книгу и пробормотал с неуместным смущением:

— *Sortes Virgilianae*. [Вергилиевы прорицания (лат.); гадание по книге Вергилия «Энеида»]

— Чего-чего? — Джонс поднял кружку и, перелистав в уме свой словарь, по-видимому,

отверг, как совсем устаревшее, «дай бог не последнюю» и выдал более современное: — Пошли-поехали? — Отпив глоток, он добавил:

— Видел, как вы беседовали с капитаном.

— Да?

— К этому старому черту не подступишься! Желает общаться только со сливками общества. — «Сливки общества» явно отдавали нафталином: на этот раз словарь его подвел.

— Ну, какие же я — сливки общества?

— Не обижайтесь. Для меня эти слова имеют особый смысл. Я делю весь мир на две части: на сливки общества и на его подонки. Сливки могут обойтись без подонков, а вот подонкам без сливок не прожить. Я — подонок.

— А что именно вы подразумеваете под этим словом? Наверно, и в него вы вкладываете свой особый смысл?

— У сливок общества — постоянный заработок или верный доход. Они на что-то сделали ставку, ну, как вы, например, на вашу гостиницу. А мы, подонки, добываем на жизнь где придется — в кабаках, в барах. Держим ушки на макушке и глазами не хлопаем.

— Значит, изворачиваетесь по мере сил, чтобы прожить?

— Частенько от этого и помираем.

— А что, сливкам общества изворотливости не хватает?

— Зачем им изворотливость? У них есть здравый смысл, ум, характер. А вот мы, подонки, иногда живем без оглядки, себе на горе.

— А остальные пассажиры, как, по-вашему, они подонки или сливки общества?

— Не могу определить мистера Фернандеса. Он может быть и тем, и другим. Да и аптекарь еще себя ничем не проявил. Ну, а вот мистер Смит — это уж настоящие сливки общества, первый сорт!

— У вас такой тон, будто эти самые сливки вам очень по вкусу.

— Нам всем хочется быть сливками общества, но бывают же такие минуты — признайтесь, старина! — когда вы завидуете подонкам? Временами, когда не хочется подводить баланс и заглядывать далеко вперед.

— Да, такие минуты бывают.

— И тогда вы думаете: почему мы должны за все отвечать, а они живут в свое удовольствие?

— Надеюсь, вы получите хоть какое-то удовольствие там, куда вы едете. Вот где полным-полно подонков — начиная с президента и до самых низов.

— Тем для меня опаснее. Подонки подонка чует издали. Пожалуй, придется разыгрывать сливки общества, чтобы сбить их с толку. Надо приглядеться к мистеру Смицу.

— А разве вам мало приходилось разыгрывать из себя сливки общества?

— Не так уж часто, слава тебе господи. Для меня это самая трудная роль. Вечно смеюсь невпопад. Неужели это я, Джонс, — и рассуждаю в такой компании? Иногда даже пугаюсь. Теряю почву под ногами. В чужом городе страшно потеряться. А вот когда теряешься сам... Выпейте еще пива.

— Теперь я плачу.

— Я не уверен, что правильно вас определил. Когда я вас увидел там... с капитаном: заглянул в окно, проходя мимо... вид у вас был какой-то оробелый... Скажите, а вы часом не подонки, который разыгрывает из себя сливки общества?

— Разве знаешь себя? — Вошел стюард и стал расставлять пепельницы. — Еще два пива, — заказал я.

— Вы не возражаете, если я на этот раз возьму джин? От пива меня пучит.

— Два джина.

— В карты играете? — спросил он, и я подумал, что час искупления настал. Я осторожно осведомился:

— В покер?

Он что-то уж чересчур разоткровенничался. Почему он со мной так открыто говорил о подонках и о сливках общества? Наверно, догадывается о том, что сказал капитан, и прощупывает меня, пользуясь своей откровенностью как лакмусовой бумажкой. Может быть, он решил, что мои симпатии в данном случае не будут на стороне сливок общества. А возможно, и моя фамилия — Браун — показалась ему такой же липовой, как его собственная.

— Я не играю в покер, — осадил он меня, и его карие глазки весело заблестели: «Вот я тебя и поймал!» — Я не умею блефовать: в своей компании мне трудно хитрить. Единственное, во что я люблю играть, — это рамс. — Он произнес название игры, словно это была детская забава — свидетельство его невинности. — Вы играете в рамс?

— Раз или два играл.

— Я не настаиваю. Но нам бы это скоротало часы до обеда.

— Почему же не сыграть?

— Стюард, дайте карты. — Он бегло улыбнулся мне, словно хотел сказать: «Видите, я не ношу с собой крапленую колоду».

В общем, это и правда была по-своему невинная игра. Жульничать тут было не просто. Он спросил:

— Почем играем? Десять центов сотня?

У Джонса, как он мне потом рассказывал, в игре была своя система. Сперва надо заметить, как неопытный противник держит карты, которые собирается сбросить, и сообразить, можно ли выиграть кон. По тому, как противник раскладывает карты и сколько времени обдумывает ход, Джонс угадывал, хорошие у него карты, плохие или средние, и, если, по его соображениям, карты были хорошие, он предлагал пересдать, будучи заранее уверен в отказе. Это давало противнику ощущение превосходства и безопасности, отчего он начинал зарываться или затягивал игру в надежде сорвать банк. Даже то, как его противник брал карту и сбрасывал, говорило ему очень многое.

— Психология сильнее арифметики, — как-то сказал мне Джонс, и он действительно почти всегда меня обыгрывал. Мне надо было иметь на руках готовую комбинацию, чтобы выиграть кон.

Прозвонил гонг к обеду, Джонс выиграл у меня долларов шесть. Он, собственно, и не стремился к большему, чтобы партнер не отказался играть с ним снова. Шестидесят долларов в неделю — доход скромный, но зато, по его словам, надежный, и он окупал курево и выпивку. Конечно, иногда он срывал куш и побольше — бывало, его противник презирал детскую игру по маленькой и требовал ставки в 50 центов за очко. Как-то раз в Порт-о-Пренсе я стал свидетелем такой игры. Если бы Джонс проиграл, сомневаюсь, мог ли бы он заплатить свой долг, однако и в двадцатом веке удача иногда улыбается смелым. Его противник два кона подряд объявлял *sarot* [без взятки (фр.)], и Джонс встал из-за стола, разбогатев на две тысячи долларов. Но даже и тут он проявил умеренность. Он предложил партнеру отыграться и потерял на этом пятьсот долларов с небольшим.

— Нельзя забывать вот что, — как-то поведал он мне. — Женщины, как правило, не будут играть с вами в покер. Их мужья этого не любят — в этой игре есть что-то распутное и опасное. Ну, а в рамс по десять центов за сотню — тут можно обойтись карманными деньгами! И поэтому число возможных партнеров значительно увеличивается.

Даже миссис Смит, которая, я уверен, отнеслась бы неодобрительно к покеру, иногда заходила поглядеть на наши карточные бои.

В тот день за обедом — не помню, как об этом зашла речь, — мы заговорили о войне. Кажется, разговор затеял фармацевт; он сообщил, что был бойцом гражданской обороны, и не мог удержаться, чтобы не рассказать обычных историй о бомбежках, таких же тягучих и нудных, как чужие сны. На лице мистера Смита застыло выражение вежливого внимания, миссис Смит вертела вилку, а фармацевт все говорил и говорил о бомбежке общежития

еврейских девушек на Стор-стрит («Мы так были заняты в ту ночь, что никто даже и не заметил, как его не стало»), пока Джонс безжалостно его не прервал:

— Да, я сам однажды потерял целый взвод.

— Как это произошло? — обрадованно спросил я, подзадоривая Джонса.

— Не знаю. Никто не вернулся, некому было рассказать.

Бедный фармацевт только рот открыл. Он едва дошел до половины рассказа, а уже потерял всех своих слушателей; бедняга напоминал морского льва, обронившего свою добычу. Мистер Фернандес взял еще кусок копченой селедки. Он один не проявлял ни малейшего интереса к рассказу Джонса. Даже мистер Смит заинтересовался и попросил:

— Расскажите поподробнее, мистер Джонс.

Я заметил, что все мы неохотно прибавляли к его имени военное звание.

— Дело было в Бирме, — сказал Джонс. — Нас сбросили в тылу у японцев для диверсии. И взвод, о котором я говорю, потерял связь с моим штабом. Командовал взводом мальчишка, он не умел воевать в джунглях. А в таких условиях всегда *sauve qui peut* [спасайся кто может (фр.)]. Как ни странно, у меня, помимо этого, не погибло ни одного солдата, а вот этот взвод исчез целиком, словно ветром сдуло. — Он отломил кусочек хлеба и положил в рот. — Пленные никогда не возвращались.

— Вы воевали у Уингейта? [Уингейт (1903-1944) — английский генерал, воевал во время второй мировой войны в Бирме против японцев; знаток партизанской войны] — спросил я.

— Тот же род войск, — ответил он с обычной для него уклончивостью.

— И долго вы пробыли в джунглях? — спросил казначей.

— Да, понимаете, я как-то быстро принорился, — сказал Джонс. И скромно добавил: — В пустыне я бы, наверно, сплоховал. Обо мне, знаете ли, шла слава, будто я издалека чую воду, как туземец.

— Ну, такой дар мог бы пригодиться и в пустыне, — сказал я, и он кинул на меня через стол мрачный, укоризненный взгляд.

— Как это ужасно, — сказал мистер Смит, отодвигая тарелку с остатками котлеты — котлеты из орехов, специально для него приготовленной, — что столько мужества и знаний тратится на то, чтобы убивать своих ближних.

— Когда мой муж выставлял свою кандидатуру в президенты, он пользовался в нашем штате поддержкой людей, которые отказывались нести военную службу.

— Неужели никто из них не ел мяса? — спросил я, и на этот раз миссис Смит поглядела на меня с укоризной.

— Тут не над чем смеяться, — сказала она.

— Это законный вопрос, детка, — мягко попрекнул ее мистер Смит. — Но если вдуматься, мистер Браун, неудивительно, что вегетарианство и отказ от военной службы часто идут рядом. Вот вчера я вам рассказывал о кислотности и о том, как она влияет на наши страсти. Избавьтесь от кислотности, и, фигурально выражаясь, вашей совести станет просторнее. Ну, а у совести есть потребность расти... В один прекрасный день вы не захотите, чтобы из-за вашей прихоти убивали ни в чем не повинных животных, а потом — может быть, неожиданно для самого себя — вы с ужасом откажетесь убивать себе подобных. А за этим уже возникает расовый вопрос и проблема Кубы... Скажу, что меня поддерживали и многие теософские организации.

— И Лига бескровного спорта, — подсказала миссис Смит. — Конечно, не вся организация. Но многие ее члены голосовали за мистера Смита.

— С таким количеством сторонников... — начал я. — Удивляюсь...

— В наш век прогрессивные люди всегда будут в меньшинстве, — сказала миссис Смит. — Но мы по крайней мере выразили свой протест.

И тут, как и следовало ожидать, началась обычная томительная перепалка. Ее затеял

фармацевт; он тоже оказался представителем определенных кругов, хотя и не столь возвышенных. В качестве бывшего бойца противовоздушной обороны он считал себя фронтовиком. К тому же он был обижен: ему не дали досказать о бомбежках.

— Не понимаю этих пацифистов, — заявил он. — Они ведь не против, чтобы их защищали простые смертные, вроде нас...

— А вы нас об этом не спрашиваете, — мягко поправил его мистер Смит.

— Трудно понять, кто принципиально отказывается от военной службы, а кто просто трусит.

— Трус не пойдет за свои убеждения в тюрьму, — сказал мистер Смит.

Неожиданно его поддержал Джонс:

— Многие пацифисты мужественно несли службу в Красном Кресте. И спасли не одного из нас от верной гибели.

— Там, куда вы едете, маловато пацифистов, — сказал судовой казначей.

Но фармацевт настаивал пронзительным от обиды голосом:

— А если кто-нибудь нападет на вашу жену, что вы тогда будете делать?

Кандидат в президенты поглядел через стол на тучного фармацевта с нездоровым, бледным лицом и обратился к нему внушительно и серьезно, будто тот прервал его речь на политическом диспуте:

— Я никогда не утверждал, сэр, что с удалением избытка кислотности мы полностью избавляемся от всяких страстей. Если бы напали на миссис Смит, а у меня было бы в руках оружие, не поручусь, что я не пустил бы его в ход. Мы еще не доросли до того, чтобы следовать своим собственным принципам.

— Bravo, мистер Смит! — воскликнул Джонс.

— Но я буду очень сожалеть, если поддамся своему порыву. Глубоко сожалеть.

В тот вечер, не помню зачем, я зашел перед ужином в каюту судового казначея. Он сидел за письменным столом и надувал презерватив, пока тот не стал величиной с полицейскую дубинку. Завязав конец ленточкой, он вынул его изо рта. Стол был завален громадными раздутыми фаллосами и напоминал свиную бойню.

— Завтра на судне концерт, — объяснил он, — а у нас нет воздушных шаров. Мистер Джонс посоветовал, чтобы мы пустили в ход вот эти штуки. — Я увидел, что на некоторых презервативах цветными чернилами намалеваны смешные рожи. — У нас на борту только одна дама, и я не думаю, чтобы она догадалась, из чего они...

— Вы забываете, что она — женщина прогрессивная.

— Тогда она не рассердится. Эти штуки — символ прогресса.

— Хоть мы сами и страдаем от избытка кислотности, нам не следует передавать ее по наследству нашим детям.

Он захихикал и принялся разрисовывать цветным карандашом одну из чудовищных рож. Под его пальцами надутая пленка жалобно пищала.

— Как вы думаете, в котором часу мы придем в среду?

— Капитан рассчитывает причалить под вечер.

— Надеюсь, мы сойдем на берег до того, как выключат свет. Его, наверно, еще выключают?

— Да, вы сами увидите, там лучше не стало. Наоборот, еще хуже. Теперь нельзя выехать из города без разрешения полиции. На всех дорогах из Порт-о-Пренса заставы. Боюсь, что вам не добраться до вашей гостиницы без обыска. Мы предупредили команду, что если они пойдут в город, то только на свой страх и риск. Конечно, они все равно пойдут. У матушки Катрин всегда открыто.

— А что слышно новенького о Бароне? — Так для разнообразия иногда называли президента вместо Папы-Дока: мы оказывали честь этой нелепой, убогой особе, наградив его

титолом Барона Субботы — героя негритянских поверий, который бродит по кладбищам во фраке и цилиндре, дымя большой сигарой.

— Говорят, его не видно уже месяца три. Даже не подходит к дворцовым окнам поглазеть на оркестр. Кто знает, может, он давно умер. Если, конечно, он может умереть своей смертью, а не от серебряной пули. В прошлое и позапрошлое плавание нам пришлось отменить остановку в Кап-Аитьене. В городе военное положение. Он слишком близко к доминиканской границе, и нас туда не пускают. — Он набрал воздуха и стал надуть следующий презерватив. Кончик вздулся, как опухоль на черепе, и каюту наполнил больничный запах резины. — А что вас заставляет туда возвращаться?

— Не так-то просто бросить гостиницу, которая тебе принадлежит.

— Но вы ее бросили.

Я не собирался посвящать казначея в свои дела. Побуждения мои были слишком интимными и слишком серьезными, если можно назвать серьезной запутанную комедию нашей личной жизни. Он надул еще один *capote anglaise* [презерватив (фр.)], и я подумал: «Ей-богу, есть, наверно, какая-то сила, которая придает всему, что с нами происходит, унижительный характер». В детстве я верил в христианского бога. Жизнь под его сенью была делом нешуточным: я видел его карающую длань в каждой трагедии. Я видел его сквозь *lacrime rerum* [мировая скорбь (лат.)], и она так же искажала его очертания, как шотландские туманы превращают карликов в великанов. А теперь, когда жизнь подходила к концу, верить в него — да и то не всегда — мне позволяло только чувство юмора. Жизнь — это комедия, а вовсе не трагедия, к которой меня готовили, и мне казалось, что всех нас на этом судне с греческим названием (почему голландская компания дает своим судам греческие имена?) гонит к смешной развязке какой-то властный шутник. Как часто я слышал в толпе, выходящей из театра на Бродвее или Шэфтсбери-авеню: «Ну и смеялся же я... До слез!»

— Что вы думаете о мистере Джонсе? — спросил судовой казначей.

— О майоре Джонсе? Ну, эту заботу я предоставляю вам и капитану.

Было ясно, что с ним тоже советовались. Быть может, моя фамилия Браун заставляла меня острее воспринимать комедию, которая разыгрывалась вокруг Джонса.

Я взял огромную сосиску из рыбьего пузыря и спросил:

— А вы когда-нибудь пользуетесь этими штуками по прямому назначению?

Казначей вздохнул:

— Увы, нет. Я уже не в тех годах... Чуть что, в у меня начинается *crise de foie*. [приступ печени (фр.)] Стоит мне поволноваться.

Казначей сделал интимное признание и в ответ ожидал от меня того же, а может быть, капитану требовалось собрать сведения и о моей персоне и казначей решил, что ему представился случай их получить.

Он спросил:

— Как такой человек, как вы, мог вообще поселиться в Порт-о-Пренсе? Каким образом вы стали *hotelier*? Вы совсем не похожи на *hotelier*. Вы похожи на... на... — но тут у него не хватило воображения.

Я засмеялся. В вопросе его не было ничего нескромного, но ответ на него я предпочитал держать про себя.

На другой день капитан оказал нам честь с нами отужинать, его примеру последовал и главный механик. Мне кажется, между капитаном и главным механиком всегда существует соперничество — ведь они несут одинаковую ответственность за судно. И пока капитан столовался отдельно, главный механик тоже нас избегал. А сегодня они оба, как равные, сидели под сомнительными воздушными шарами — один во главе стола, другой в противоположном его конце. В знак прощания подали лишнее блюдо, и все пассажиры, за исключением Смитов, пили шампанское.

Казначей вел себя в присутствии начальства необычайно сдержанно (по-моему, ему очень хотелось уйти в темноту на мостик к первому помощнику и подышать на свободе свежим морским воздухом), а капитан и главный механик тоже были слегка подавлены торжественностью обстановки и словно священнодействовали. Миссис Смит сидела по правую руку от капитана, я — по левую, но присутствие Джонса мешало нам свободно разговаривать. Меню тоже не помогало веселью — по случаю торжества голландцы дали волю своему пристрастию к жирным мясным блюдам, и тарелка миссис Смит то и дело попрекала нас своей пустотой. Впрочем, Смиты навезли с собой из Соединенных Штатов множество каких-то бутылок и банок, которые всегда обозначали их места за столом, как буйки на реке. Очевидно, они считали, что поступаются своими принципами, когда пьют такую подозрительную смесь, как кока-кола, и сегодня, попросив горячей воды, готовили свои собственные напитки.

— Я слышал, что после ужина нас ждет какое-то представление, — уныло сказал капитан.

— Нас тут немного, — пояснил казначей, — но мы с майором Джонсом решили, что надо как-то отметить прощальный вечер. Конечно, наш кухонный оркестр что-нибудь сыграет, и мистер Бэкстер обещал нам кое-что изобразить...

Мы с миссис Смит обменялись недоуменным взглядом. Какой еще мистер Бэкстер? Неужели у нас на пароходе кто-то едет зайцем?

— Я попросил мистера Фернандеса поддержать нас, и он охотно согласился, — с жаром продолжал казначей. — А на прощание мы споем «Олд Лэнг Сайн» [шотландская песня на слова Р.Бернса (в переводе С.Маршака «Застольная» — «Забыть ли прежнюю любовь в дружбу прежних дней»)] в честь наших пассажиров англосаксонского происхождения.

Нас во второй раз обнесли жареной уткой, и Смиты, чтобы составить нам компанию, положили себе на тарелки что-то из своих баночек и скляночек.

— Простите, миссис Смит, — не выдержал капитан, — что вы пьете?

— Бармин с горячей водой, — сообщила ему миссис Смит. — Муж предпочитает по вечерам истрол. А иногда — векон! Ему кажется, что бармин действует на него возбуждающе.

Капитан кинул испуганный взгляд на тарелку миссис Смит и отрезал себе кусок утки. Я спросил:

— А что вы едите, миссис Смит? — Мне хотелось, чтобы капитан почувствовал комизм положения.

— Ну уж вам ли это не знать, мистер Браун! Вы же видели, я ем это каждый вечер, в одно и то же время. Питательную кашу из бересты, — пояснила она капитану.

Он положил нож и вилку, отодвинул от себя тарелку да так и остался сидеть, понурился. Сначала я подумал, что он произносит благодарственную молитву, но, по-видимому, он просто боролся с тошнотой.

— Я закушу орехолином, — сказала миссис Смит, — если у вас не найдется кефира.

Капитан хрипло откашлялся, отвел от нее глаза и оглядел стол; он содрогнулся, увидев мистера Смита, который ковырял вилкой сухие коричневые зерна, и перевел суровый взгляд на безобидного мистера Фернандеса, словно тот был за все это в ответе. Потом он объявил официальным тоном:

— Завтра во второй половине дня мы прибываем, надеюсь, к четырем часам мы уже будем на месте. Советую побыстрее пройти таможенный досмотр, в городе обычно выключают свет около половины седьмого.

— Почему? — спросила миссис Смит. — Наверно, это всем неудобно.

— Из соображений экономии, — сказал капитан и добавил: — Сегодня по радио передавали не очень веселые новости. Сообщают, что повстанцы перешли границу Доминиканской Республики. Правительство утверждает, будто в Порт-о-Пренсе спокойно, но

я советую тем из вас, кто там останется, поддерживать как можно более тесную связь со своими консульствами. Я получил приказ быстро ссадить пассажиров и сразу же плыть в Санто-Доминго. Задерживаться для приемки груза я не буду.

— Кажется, детка, нас там ждут беспорядки, — сказал мистер Смит со своего конца стола и проглотил еще ложку какого-то вещества, вероятно фромента — блюда, о котором он мне рассказывал за обедом.

— Нам не впервой, — с мрачным удовлетворением ответила миссис Смит.

Вошел матрос с каким-то сообщением для капитана; когда он открыл дверь, порыв ветра закачал в кают-компании презервативы; от трения друг о друга они издавали жалобный писк. Капитан сказал:

— Прошу меня извинить. Ничего не поделаешь, долг зовет. Желаю хорошо провести вечер.

Но я заподозрил, что эта сцена была заранее подготовлена: капитан — человек необщительный, и миссис Смит действовала ему на нервы. Вслед за ним, словно боясь оставить судно на попечение капитана, поднялся и старший механик.

Когда начальство удалилось, казначей, которого стесняло его присутствие, стал потчевать нас едой и питьем. (Даже Смиты — правда, после больших колебаний — «Я ведь совсем не лакомка», — заявила миссис Смит, — положили себе по второй порции орехолина.) Подали сладкий ликер, которым, как объяснил казначей, «угощало пароходное общество», и мысль о бесплатном ликере с новой силой пробудила у всех у нас — за исключением, конечно, Смитов — жажду, даже у фармацевта, хотя он и поглядывал на свою рюмку с тревогой, словно ее зеленый цвет был сигналом бедствия. Когда мы наконец перешли в салон, на каждом кресле лежала программа.

Казначей весело закричал:

— Выше голову! — и стал негромко похлопывать ладонями по своим пухлым коленкам. Вошел оркестр под управлением кока — тощего парня с румяными от жара плиты щеками, в поварском колпаке. Оркестранты несли кастрюли, сковородки, ложки и ножи; для того чтобы изображать скрежет, была мясорубка, а шеф-повар размахивал вместо дирижерской палочки вилкой для поджаривания гренок. Первый музыкальный номер назывался «Ноктюрн», за ним следовала «Chanson d'amour» [песня любви (фр.)], которую спел сам кок приятным и не очень верным голосом: «Automne, tendresse, feuilles mortes» [осень, нежность, увядшие листья (фр.)], — я уловил лишь несколько грустных слов, потому что остальные заглушали гулкие удары ложкой по кастрюле. Мистер и миссис Смит сидели на диване, держась за руки, колени ее были покрыты пледом; коммивояжер задумчиво наклонился вперед, глядя на тощего певца; может быть, в нем говорил профессиональный интерес, и он размышлял, какое из его лекарств могло тут помочь. Что касается мистера Фернандеса, он сидел отдельно от всех и время от времени что-то записывал в книжечку. Джонс торчал за спиной казначея, иногда к нему наклонялся и что-то шептал на ухо. Он сиял от удовольствия, будто все это он придумал, и, хлопая исполнителям, словно бы аплодировал самому себе. Поглядев на меня, он подмигнул, как бы говоря: «Погодите, то ли еще будет! Вы не знаете, какой я выдумщик! Потом пойдут номера почище!»

Я собирался, когда кончится песня, уйти к себе, но поведение Джонса пробудило во мне любопытство. Коммивояжер исчез, я вспомнил, что ему давно пора спать. Джонс подозвал дирижера оркестра на совещание; к ним подошел и главный ударник, держа под мышкой большую медную сковородку. Я взглянул на программу и прочел, что следующим номером должен быть драматический монолог в исполнении мистера Дж.Бэкстера.

— Очень интересное исполнение, — сказал мистер Смит. — Как ты находишь, детка?

— Во всяком случае, они нашли более достойное применение кастрюлькам, чем жарить в них эту несчастную утку, — сказала миссис Смит; видно, страсти в ней еще не улеглись, несмотря на строгую диету.

— Он хорошо пел, правда, мистер Фернандес?

— Да, — сказал мистер Фернандес и пососал кончик карандаша.

Вошел фармацевт в стальном шлеме — оказывается, он не лег спать, а переоделся в синие джинсы и сунул в рот свисток.

— Значит, это он — мистер Бэкстер, — с облегчением сказала миссис Смит. По-моему, она терпеть не могла таинственности; ей хотелось, чтобы на всех персонажах человеческой комедии были такие же четкие этикетки, как на снадобьях мистера Бэкстера или на бутылке бармина. Фармацевт, конечно, мог позаимствовать джинсы у любого матроса, но интересно, где он добыл стальной шлем?

Он дал свисток, требуя тишины, хотя разговаривала одна миссис Смит.

— Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», — объявил он.

К его явному неудовольствию, один из оркестрантов изобразил сигнал воздушной тревоги.

— Браво! — воскликнул Джонс.

— Вы должны были меня предупредить, — сказал Бэкстер. — А теперь я сбился.

Его снова прервал рокот отдаленной стрельбы, исполненный на сковороде.

— А что это, по-вашему, должно означать? — сердито спросил мистер Бэкстер.

— Орудия в устье Темзы.

— Вы мешаете мне произносить текст, мистер Джонс.

— Действуйте, — сказал Джонс. — Увертюра кончена. Атмосфера воссоздана. Лондон, 1940 год.

Мистер Бэкстер кинул на него грустный, обиженный взгляд и снова объявил:

— Драматический монолог «Патруль гражданской обороны», автор — боец гражданской обороны Икс. — И, прикрыв ладонью глаза, словно предохраняясь от осколков стекла, начал декламировать:

Прожектора осветили Юстон, Сент-Панкрас
И старую, любимую Тоттенхем-роуд тоже,
И показалось одинокому бойцу,
Что его тень на облако похожа.

Орудия били в Гайд-парке,
Когда взрыв первой бомбы раздался,
И боец погрозил кулаком небу,
Он над славой Гитлера насмеялся.

Лондон будет стоять, и собор святого Павла будет стоять,
И за каждую смерть, за любую утрату
Немцы будут проклятия посылать
Своему фюреру бесноватому.

Бомба попала в Мейплс, Гауар-стрит разбита в дым,
Пиккадилли горит, но все прекрасно!
Мы поджарим хлебный паек и гренки съедим,
Потому что блицкриг на Пэлл-Мэлл не удался.

Мистер Бэкстер засвистел в свой свисток, вытянулся по стойке смирно и произнес:

— Прозвучал отбой!

— И давно пора, — заметила миссис Смит.

Мистер Фернандес взволнованно воскликнул:

— Нет, нет. Ох, нет, сэр.

За исключением миссис Смит, все остальные явно считали, что любое выступление теперь может только испортить дело.

— Сейчас в самый раз выпить еще шампанского, — сказал Джонс. — Стюард!

Оркестр, за исключением дирижера, который остался по просьбе Джонса, отправился к себе в камбуз.

— Шампанским угощаю я, — заявил Джонс. — А вы заслужили свой бокал, как никто.

Мистер Бэкстер вдруг сел рядом со мной и задрожал всем телом. Рука его нервно постукивала по столу.

— Не обращайтесь на меня внимания, — сказал он, — со мной это всегда бывает. Сценическое волнение приходит потом. Как, по-вашему, меня хорошо принимали?

— Очень. А где вы добыли стальной шлем?

— Я всегда вожу его вместе с другими сувенирами в дорожном сундуке. Сам не знаю, почему не могу с ним расстаться. Наверно, и вы тоже... храните какие-то памятки. — Он был прав, и, хотя мои сувениры были куда портативнее стального шлема, они были так же бесполезны: фотографии, старая открытка, давняя квитанция на членский взнос в ночной клуб возле Риджент-стрит, разовый входной билет в казино Монте-Карло. У меня в бумажнике, наверно, нашлось бы с полдюжины таких сувениров. — А джинсы я одолжил у второго помощника, но, к сожалению, у них заграничный покррой.

— Дайте я вам налью. У вас еще дрожат руки.

— Вам в самом деле понравилось стихотворение?

— Очень живо описано.

— Тогда я открою вам то, что никому до сих пор не говорил. Я и есть тот самый боец противовоздушной обороны Икс. Я сам все это написал. После майского блица 1941 года.

— А вы вообще-то писали стихи?

— Никогда, сэр. Хотя нет, еще одно написал, о похоронах ребенка.

— А теперь, господа, — провозгласил казначей, — взгляните на ваши программы, и вы увидите, что нас сейчас ожидает оригинальный номер, обещанный нам мистером Фернандесом.

Номер и правда оказался оригинальным, потому что мистер Фернандес так же неожиданно разрыдался, как мистер Бэкстер стал дрожать. Может, он выпил слишком много шампанского? Или его взволновала декламация мистера Бэкстера? В этом я сомневался, так как он, по-видимому, не владел английским языком, если не считать «да» и «нет». Но сейчас он плакал, выпрямившись на стуле; он плакал с большим достоинством, и я подумал: «Никогда раньше не видел, как цветные плачут». Я видел, как они смеются, сердятся, боятся, но никогда не видел, чтобы их так одолевало горе, как этого человека. Мы молча глядели на него: никто из нас не мог ему помочь — мы не умели с ним общаться. Его тело содрогалось, словно в такт вибрации судовых двигателей, и я подумал, что нам в конце концов куда более подобает так въезжать в темную республику, чем с пением и музыкой. Всем нам найдется там что оплакивать.

И тогда я впервые увидел Смитов с самой лучшей их стороны. Мне было неприятно, как миссис Смит обрезала бедного Бэкстера — впрочем, все стихи о войне, вероятно, оскорбительны, — но она одна из всех нас кинулась на помощь мистеру Фернандесу, села возле него, не говоря ни слова, и взяла его руку в свою, а другой стала гладить его розовую ладонь. Она утешала его, как мать утешает своего ребенка среди чужих. Мистер Смит пошел за ней следом, сел по другую руку от мистера Фернандеса, и они втроем образовали отдельную группу. Миссис Смит тихонько прищелкивала языком, словно это и в самом деле было ее дитя, и мистер Фернандес так же внезапно перестал плакать, как и начал. Он встал, поднес старую, шершавую руку миссис Смит к губам и быстро вышел из салона.

— Господи! — воскликнул Бэкстер. — Как, по-вашему, почему...

— Странно, — сказал казначей. — В высшей степени странно.

— Жаль, испортил нам настроение, — посетовал Джонс.

Он поднял бутылку шампанского, но она была пуста, и ему пришлось поставить ее обратно. Дирижер взял свою вилку для поджаривания гренок и отправился на кухню.

— У бедняги, видно, какое-то горе, — сказала миссис Смит, других объяснений и не требовалось, и она посмотрела на свою руку, словно ожидала увидеть на коже отпечаток полных губ мистера Фернандеса.

— Да, настроение вконец испорчено, — повторил Джонс.

— Если нет возражений, — сказал мистер Смит, — я предложил бы закончить наш вечер пением «Олд Лэнг Сайн». Скоро полночь. Я бы не хотел, чтобы мистер Фернандес там, в одиночестве у себя внизу, подумал, что мы продолжаем... резвиться.

Я бы вряд ли определил этим словом то, чем мы до сих пор занимались, но в принципе я был с ним согласен. Оркестр ушел, и аккомпанировать нам было некому, но мистер Джонс сел за рояль и довольно верно подобрал эту ужасную мелодию. Мы как-то смущенно взялись за руки и запели. Без кока, Джонса и мистера Фернандеса хоровод наш был совсем невелик. Мы едва ли успели познать «дружбу прежних дней», а чаши у нас уже были пусты.

Полночь давно миновала, когда Джонс постучался ко мне в каюту. Я просматривал бумаги, чтобы уничтожить те, которые могли бы вызвать неудовольствие властей, — например, у меня хранилась переписка о продаже моей гостиницы, и там встречались опасные ссылки на политическое положение. Я был погружен в свои мысли и нервно вздрогнул, услышав его стук, словно я был уже там, в Гаити, и за дверью стоял какой-нибудь тонтон-макут.

— Я вас не разбудил? — спросил Джонс.

— Да нет, я еще не ложился.

— Мне обидно за сегодняшний вечер, он прошел не так, как мне хотелось бы. Конечно, возможности были ограниченные. Знаете, в прощальную ночь на море я испытываю всегда какое-то особое чувство — ведь, может, никогда больше не встретимся. Как в ночь под Новый год, когда хочешь получше проститься с непутевым стариком. Вы верите, что бывает счастливая смерть? Мне было не по себе, когда этот черномазый плакал. Словно он что-то увидел. Наперед. Я, конечно, человек неверующий. — Он испытующе на меня поглядел. — По-моему, и вы тоже.

У меня было впечатление, что он пришел ко мне неспроста — не только для того, чтобы выразить свое огорчение по поводу испорченного вечера, а, скорее всего, чтобы о чем-то попросить или задать какой-то вопрос. Если бы он мог мне угрожать, я бы даже заподозрил, что он пришел с этой целью. Он выставял напоказ свою неблагонадежность, как чересчур пестрый костюм, и, казалось, кичился ею, словно говоря: берите меня таким, какой я есть... Он продолжал:

— Казначей уверяет, будто у вас и в самом деле есть гостиница...

— А вы в этом сомневались?

— Как сказать? Но вам это как-то не идет. Мы ведь не всегда правильно указываем данные у себя в паспорте, — объяснил он ласковым, рассудительным тоном.

— А что написано в вашем паспорте?

— Директор акционерного общества. И это чистая правда, в каком-то смысле, — признался он.

— Весьма неопределенно.

— Ну, а что написано в вашем?

— Коммерсант.

— Это еще неопределеннее, — с торжеством отпарировал он.

Наши отношения в то недолгое время, пока они длились, были похожи на взаимный

еле-еле прикрытый допрос; мы придирались к мелким неточностям, хотя в главном делали вид, будто друг другу верим. Думаю, что те из нас, кто провел большую часть своей жизни в притворстве — все равно, перед женщиной, перед партнером, даже перед самим собой, — могут быстро вывести друг друга на чистую воду. Мы с Джонсом многое узнали друг про друга, пока не расстались, — ведь все же по мелочам говоришь правду, когда можно. Иногда это облегчает жизнь.

— Вы жили в Порт-о-Пренсе, — сказал он. — Значит, вы должны знать тамошнее начальство?

— Начальство приходит и уходит.

— Ну, хотя бы военных?

— Их там больше нет. Папа-Док не доверяет армии. Начальник штаба, как я слышал, прячется в посольстве Венесуэлы. Генерал в безопасности — убежал в Санто-Доминго. Несколько полковников скрываются в доминиканском посольстве, а три полковника и два майора — в тюрьме, если они еще живы. У вас к кому-нибудь из них рекомендательные письма?

— Не совсем, — сказал он, но вид у него был встревоженный.

— Лучше не предъявлять рекомендательных писем, пока не удостоверишься, что адресат еще жив.

— У меня записочка от генерального консула Гаити в Нью-Йорке с рекомендацией...

— Помните, что вы уже три дня в море. За это время многое могло случиться. Генеральный консул мог попросить политического убежища...

Он произнес тем же тоном, что и казначей:

— Не понимаю, что вас-то заставляет ехать обратно, если там такая обстановка.

Сказать правду было легче, чем соврать, да и час был уже поздний.

— Оказалось, что я скучаю по тем местам. Спокойное существование может надоесть не меньше, чем опасность.

— Да вот и я думал, что по горло сыт опасностями, пережитыми на войне.

— В какой вы были части?

Он ослабил: я слишком открыто показал свои карты.

— Я ведь и тогда был непоседой, — сказал он. — Переходил с места на место. Скажите, а наш посол — что он за птица?

— У нас его вообще нет. Выслали больше года назад.

— Ну, а поверенный в делах?

— Делает, что может. И когда может.

— Да, мы, видно, плывем в чудную страну.

Он подошел к иллюминатору, словно надеялся разглядеть эту страну сквозь последние двести миль морского простора, но там ничего не было видно, кроме света, падавшего из каюты; он лежал на поверхности темной воды, как желтое масло.

— Уже не тот рай для туристов, что раньше?

— Нет. Никакого рая там, в сущности, и не было.

— Но, может быть, там найдется какое-нибудь дело для человека с воображением?

— Это зависит...

— От чего?

— От того, есть ли у вас совесть.

— Совесть? — Он глядел в темноту ночи и как будто спокойно взвешивал мой вопрос. — Да как сказать... совесть обходится недешево... А как, по-вашему, отчего плакал этот негр?

— Понятия не имею.

— Странный был вечер. Надеюсь, в следующий раз все пойдет удачнее.

— В следующий раз?

— Я думал о встрече Нового года. Где бы мы в это время ни были. — Он отошел от иллюминатора. — Что ж, пора на боковую. А Смит, по-вашему, чего крутит?

— Чего же ему крутить?

— Может, вы и правы. Не обращайтесь внимания. Ну, я пошел. Плавание кончено. Никуда от этого не денешься. — И он добавил, взявшись за дверную ручку: — Я хотел вас всех повеселить, да не очень-то у меня это получилось. Ладно, пойду спать. Утро вечера мудренее. Так я считаю.

2

Я не питал чересчур радужных надежд, возвращаясь в страну, где царили страх и отчаяние, и все же, когда «Медя» входила в порт, вид знакомых мест меня обрадовал. Огромная махина Кенскоффа, навалившаяся на город, была, как всегда, наполовину в тени; новые здания возле порта, возведенные для международной выставки в так называемом современном стиле, поблескивали стеклами в лучах заходящего солнца. Прямо на меня смотрел каменный Колумб — здесь мы с Мартой назначали по ночам свидания, пока комендантский час не запирает нас в разных тюрьмах: меня в моей гостинице, ее в посольстве; мы не могли даже поговорить по телефону, — он не работал. Марта, бывало, сидела, в темноте в машине своего мужа и сигналила мне фарами, услышав шум мотора моего «хамбера». Интересно, нашла ли она за этот месяц — после того, как отменили комендантский час, — другое место свиданий и с кем? В том, что она нашла мне заместителя, я не сомневался. В наши дни на верность рассчитывать не приходится.

Я был поглощен таким множеством нелегких дум, что совсем забыл о своих спутниках. Никаких вестей для меня из английского посольства не было, и я мог надеяться, что пока все обстоит благополучно. В иммиграционном пункте и на таможне царила обычная неразбериха. В порт прибыло только наше судно, однако под навесом собралось много народу: носильщики, шоферы такси, у которых неделями не бывало пассажиров, полиция, случайно забредший тонтон-макут в черных очках и мягкой шляпе и нищие, толпы нищих. Они просачивались в любую щель, как вода во время дождей. Какой-то безногий сидел под таможенной стойкой, как кролик в клетке, и молча протягивал руку.

Ко мне сквозь толпу пробиралась знакомая фигура. Обычно он болтался на аэродроме, и я не ожидал встретить его здесь. Это был журналист, которого все звали Пьер Малыш, — метис в этой стране, где полукровки — аристократы, ожидающие своей очереди на гильотину. Кое-кто считал, что он связан с тонтонами, иначе как бы ему до сих пор удавалось избежать побоев, а то и чего-нибудь похуже? Однако в его светской хронике иногда попадались сатирические выпады — он все же был не лишен отваги, может быть, он рассчитывал, что полиция не читает между строк.

Он схватил меня за руки, словно мы были закадычными друзьями, и заговорил по-английски:

— Да это же мистер Браун, сам мистер Браун!

— Как поживаете, Пьер Малыш?

Он захихикал, стоя на носках остроносых туфель: Пьер был совсем маленького роста. Вот таким веселым я его и помнил, — он вечно смеялся. Его забавляло все, даже когда у него спрашивали, который час. Он был очень подвижен, и казалось, что он раскачивается от хохота, как мартышка на лиане. Я был уверен, что, когда настанет его час — а он должен был настать при том рискованном, вызывающем образе жизни, какой он вел, — Пьер Малыш засмеется в лицо палачу, как, говорят, смеются китайцы.

— Рад вас видеть, мистер Браун. Как там — сверкают огни Бродвея? Мэрилин Монро, разлитое море виски, кабачки?.. — Он слегка отстал от века, потому что уже тридцать лет не ездил никуда дальше Кингстона на Ямайке. — Дайте-ка мне ваш паспорт, мистер Браун. А

где багажные квитанции? — Он помахал ими над головой, продираясь сквозь толпу, и быстро уладил все формальности; он знал всех и каждого. Даже таможенник пропустил мой багаж, не открыв чемоданов. Пьер Малыш обменялся несколькими словами с тонтон-макутом у двери, и, когда я вышел, он уже подозвал такси. — Садитесь, садитесь, мистер Браун. Сейчас принесут ваш багаж.

— Как тут у вас дела? — спросил я.

— Как всегда. Тихо.

— Комендантского часа больше нет?

— А зачем нам комендантский час, мистер Браун?

— В газетах писали, будто на севере орудуют повстанцы.

— В каких газетах? В американских? Надеюсь, вы не верите тому, что пишут американские газеты? — Он сунул голову в дверь такси и сказал со своим странным смешком: — Вы себе и не представляете, мистер Браун, как я счастлив вас видеть!

И я ему чуть было не поверил.

— А почему? Разве я не здешний житель?

— Конечно, вы здешний житель, мистер Браун. Вы — верный друг Гаити. — Он снова хихикнул. — А все-таки многие наши верные друзья нас недавно покинули. — Он слегка понизил голос. — Правительство было вынуждено забрать несколько пустовавших отелей.

— Спасибо за предупреждение.

— Нельзя же было бросить имущество на произвол судьбы.

— Какая заботливость! А кто там теперь живет?

Он захихикал:

— Гости нашего правительства.

— Неужели оно принимает гостей?

— Была у нас польская миссия, но довольно быстро уехала. А вот и ваш багаж, мистер Браун.

— А я успею добраться до «Трианона», пока не выключат свет?

— Да, если поедете прямо.

— А куда мне заезжать?

Пьер Малыш хмыкнул.

— Давайте я поеду с вами, мистер Браун. На дороге между Порт-о-Пренсом и Петитонвилем много застав.

— Ладно. Садитесь. Все что угодно, лишь бы обойтись без осложнений.

— А что вы делали в Нью-Йорке, мистер Браун?

Я ответил ему откровенно:

— Пытался продать свою гостиницу.

— Не вышло?

— Не вышло.

— В такой огромной стране — и не нашлось предприимчивых людей?

— Вы же выслали их военную миссию. Заставили отозвать посла. После этого трудно рассчитывать на доверие. Господи, совсем забыл! Со мной приехал кандидат в президенты.

— Кандидат в президенты? Надо было меня предупредить.

— Не слишком удачливый кандидат.

— Все равно. Кандидат в президенты! А зачем он сюда приехал?

— У него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия.

— К доктору Филипо? Но доктор Филипо...

— С ним что-нибудь случилось?

— Сами знаете, что такое политика. Во всех странах одно и то же.

— Доктора Филипо сняли?

— Его не видели уже неделю. Говорят, он в отпуску. — Пьер Малыш тронул шофера

такси за плечо. — Остановись, mon ami [мой друг (фр.)]. — Мы еще не доехали даже до статуи Колумба, а на город быстро спускалась ночь. Он сказал: — Мистер Браун, я, пожалуй, вернусь и поищу его. Ведь и у вас в Англии не стоит попадать в ложное положение. Хорошо бы я был, приехав в Англию с рекомендательным письмом к мистеру Макмиллану. — Он помахал на прощанье рукой. — Скоро зайду к вам на стаканчик виски. Я ужасно рад, ужасно рад, что вы вернулись, мистер Браун. — И он отбыл с блаженным видом, никак не связавшимся с обстоятельствами.

Мы поехали дальше. Я спросил шофера, наверно агента тонтон-макутов:

— Доедем мы до «Трианона», прежде чем выключат свет?

Шофер только пожал плечами. В его обязанности не входило сообщать какие бы то ни было сведения. В здании выставки, которое занимал министр иностранных дел, еще горел свет, а у статуи Колумба стоял «пежо». Конечно, в Порт-о-Пренсе много машин «пежо», и я не мог поверить, что Марта так жестока или так лишена вкуса, чтобы назначать свидания на том же месте. И все же я сказал шоферу:

— Я выйду здесь. Отвезите вещи в «Трианон». Жозеф вам заплатит.

Я проявил большую неосторожность. Полковник, командующий тонтон-макутами, завтра же утром узнает, где я вышел из такси. Но я все же принял кое-какие меры: подождал, пока шофер действительно не уехал и свет его фар не скрылся из виду. А потом я пошел к стоявшей у Колумба машине. На номерном знаке сзади я увидел букву «Д». Это была машина Марты, и она сидела там одна.

Я смотрел на нее некоторое время из темноты. Мне пришло в голову, что я могу постоять здесь в двух шагах от машины, пока не увижу человека, которому она назначила свидание. Но тут Марта повернула голову и поглядела туда, где я стоял: она почувствовала, что на нее смотрят. Слегка опустив стекло, она резко крикнула по-французски, думая, что это один из бесчисленных портовых нищих:

— Кто там? Что вам надо? — и включила фары. — О господи! Ты все-таки вернулся... — сказала она таким тоном, словно речь шла о приступе малярии. Она отворила дверцу, и я сел рядом. В ее поцелуе я почувствовал страх и тревогу. — Почему ты вернулся?

— Видно, соскучился по тебе.

— Неужели для этого надо было сперва сбежать?

— Я надеялся, что, если уеду, что-нибудь изменится.

— Нет. Все по-старому.

— А что ты здесь делаешь?

— Тут, пожалуй, удобнее всего скучать по тебе.

— Ты никого не ждала?

— Нет. — Она схватила мой палец и больно его вывернула. — Знаешь, я могу быть sage [умницей (фр.)] хотя бы несколько месяцев. Правда, не во сне. Во сне я тебе изменяла.

— И я тебе был верен — по-своему.

— Можешь мне сейчас не объяснять, что такое «по-твоему». Помолчи. Посиди рядом.

Я послушался. Я был и счастлив и несчастен, потому что главное в нашей жизни явно не изменилось, кроме того, что теперь у меня нет машины и ей придется везти меня домой, рискуя, что ее заметят возле «Трианона». Мы не можем сегодня проститься возле Колумба. Но даже обнимая ее, я ей не доверял. Неужели у нее хватит дерзости отдаться мне, если она ждет на свидание другого? Но потом я сказал себе, что все равно ничего не узнаю — дерзости у нее хоть отбавляй. И отнюдь не отсутствие дерзости привязывает ее к мужу. Она застонала — я помнил этот стон — и зажала рот рукой. Тело ее обмякло, она, как усталый ребенок, свернулась у меня на коленях.

— Забыла поднять стекло, — сказала она.

— Нам, пожалуй, лучше добраться до «Трианона», пока не выключат свет.

— Ты нашел покупателя?

— Нет.

— Слава богу.

В городском парке чернел музыкальный фонтан — воды не было, и он молчал. Электрические лампочки, мигая, вещали в ночи: «Je suis la Drapeau Haitien, Uni et Indivisible. Francois Duvalier» [«Я — знамя Гаити, единое и неделимое. Франсуа Дювалье» (фр.)].

Мы проехали мимо обгорелых балок дома, сожженного тонтонами, и начали взбираться по холму к Петсионвиллю. На полдороге мы наткнулись на заставу. Человек в рваной рубашке, серых штанах и старой фетровой шляпе, очевидно найденной на помойке, подошел к дверям машины, волоча за дуло ружье. Он приказал нам выйти из машины.

— Я выйду, — сказал я, — но эта дама — из дипломатического корпуса.

— Не спорь с ним, дорогой, — сказала она. — Никаких привилегий больше не существует. — Она первая отошла на обочину дороги, подняла руки над головой и улыбнулась милиционеру ненавистной мне улыбкой.

— Разве вы не видите букву «Д» на машине? — спросил я.

— А разве ты не видишь, что он не умеет читать? — спросила она.

Он ощупал мои бедра и провел ладонями между ног. Потом осмотрел багажник машины. Обыск был не очень умелый и длился недолго. Нам открыли проезд и пропустили машину.

— Мне не хочется, чтобы ты ехала обратно одна, — сказал я. — Я пошлю с тобой слугу, если у меня остался хоть один слуга. — Проехав еще с километр, я вернулся к своим подозрениям. Если муж, как правило, слеп к неверности жены, любовник страдает противоположным пороком: он повсюду видит измену. — Ну, скажи, что ты там делала у памятника?

— Не будь хоть сегодня идиотом, — сказала она. — Мне так хорошо.

— Я же тебе не писал, что вернусь.

— На этом месте я могла вспоминать о тебе, вот и все.

— Какое странное совпадение, что именно сегодня...

— Ты думаешь, я вспоминала тебя только сегодня? — Она помолчала. — Муж как-то спросил меня, почему я перестала уходить по вечерам играть в рамс теперь, когда отменили комендантский час? Назавтра я опять взяла машину. Мне некуда было деваться, поэтому я поехала к памятнику.

— И Луис теперь доволен?

— Он всегда доволен.

Вокруг нас, над нами и под нами разом погасли огни. Только у гавани и над правительственными зданиями горело зарево.

— Надеюсь, Жозеф припас к моему приезду немного керосина, — сказал я. — Надеюсь, его мудрость не уступает его целомудрию.

— Разве он такой целомудренный?

— Ну да. Совершенно безгрешен. С тех пор, как его пытали тонтон-макуты.

Мы въехали на крутую аллею, обсаженную пальмами и бугенвилеей. Я так и не мог понять, почему бывший владелец назвал гостиницу «Трианом». Трудно было найти более неподходящее название! Его архитектура была и не классической — в стиле восемнадцатого века, и не чрезмерно пышной — в стиле двадцатого. Башенки, балконы и разные деревянные украшения придавали ему ночью сходство с творениями Чарльза Адамса в номерах журнала «Нью-Йоркер». Так и казалось, что дверь откроет ведьма или маньяк-дворецкий, а за его спиной с люстры будет свисать летучая мышь. Но при солнечном свете или вечерами, когда среди пальм горели фонари, здание казалось старинным, хрупким и трогательно нелепым, как иллюстрация к сказке. Я полюбил его и теперь, пожалуй, даже радовался, что не нашел на него покупателя. Мне верилось, что, если я удержу его еще хоть несколько лет, я почувствую, что и у меня есть дом. Нужно время, чтобы у тебя появилось такое чувство, так

же как и для того, чтобы любовница стала женой. Даже внезапная смерть моего компаньона не так уж сильно отравила мне радость обладания. Я бы повторил вслед за братом Лоренцо фразу из французского переложения «Ромео и Джульетты», которую у меня были свои причины запомнить:

Le remede au chaos
N'est pas dans le chaos

[Исцеленья для бедствия в отчаянии нет
(пер. — Д. Михаловский)]

Исцеление было в успехе, которым я отнюдь не был обязан своему компаньону; в голосах купальщиц, перекликавшихся в бассейне; в звоне льда, доносившемся из бара, где Жозеф готовил свой знаменитый ромовый пунш; в скоплении такси из города; в гаме голосов на веранде в обеденный час, а ночью — в бое барабана и шарканье танцующих ног; в фигуре Барона Субботы — комического персонажа из балета, изящно выступающего в своем цилиндре под освещенными пальмами. Недолгое время меня баловал этот успех.

Мы подъехали в темноте, и я снова поцеловал Марту; поцелуй все еще был продолжением допроса. Я сомневался, что можно три месяца в одиночестве хранить верность. А возможно, это предположение было мне приятнее, чем другое — что она снова сблизилась с мужем. Я прижал ее к себе и спросил:

— Как Луис?

— Так же, — сказала она. — Как всегда.

И все же она, видно, когда-то его любила. Вот одна из мук незаконной любви: даже самые страстные объятия любовницы только лишний раз показывают, что любовь непостоянна. Я увидел Луиса во второй раз на посольском приеме, где было человек тридцать гостей. Трудно было поверить, что посол, этот тучный мужчина лет пятидесяти, чьи волосы блестели, точно начищенный ботинок, не замечает, как часто мы издали обмениваемся взглядами, как, проходя мимо, она будто нечаянно касается меня рукой. Но лицо Луиса выражало уверенность и превосходство. Это было его посольство, это была его жена, это были его гости. На коробках спичек стояли его инициалы, они красовались даже на бумажных ленточках вокруг сигар. Я помню, как он поднял на свет бокал с коктейлем и показал мне изящно выгравированный рисунок головы быка.

— Я специально заказал эти бокалы в Париже, — сказал он.

У него было очень развито чувство собственности, но, может быть, он легко давал займы то, чем обладал?

— Луис утешал тебя, пока меня не было?

— Нет, — сказала она, и я мысленно обругал себя за трусость; ведь я поставил вопрос так, что она могла ответить двусмысленно. Она добавила: — Никто меня не утешал, — и я сразу стал перебирать в уме, какое значение слова «утешить» она могла выбрать, не солгав. А она не любила лгать.

— У тебя другие духи.

— Луис подарил мне их на день рождения. Твои уже кончились.

— На день рождения? Совсем о нем забыл...

— Ерунда.

— Как долго нет Жозефа. Он должен был слышать, как подошла машина.

Она сказала:

— Луис добрый. Это только ты меня пытаешь. Как тонтон-макуты — Жозефа.

— Почему ты так говоришь?

Ничего не изменилось. Не прошло десяти минут, как мы лежали друг у друга в

объятиях, а через полчаса уже начали ссориться. Я вышел из машины и в темноте поднялся по ступенькам. Наверху я чуть не споткнулся о свои чемоданы, которые, должно быть, поставил там шофер, и позвал: «Жозеф! Жозеф!» — но никто не откликался. По обе стороны от меня тянулась веранда, но ни один столик не был накрыт. Сквозь распахнутую дверь гостиницы мне был виден бар, освещенный керосиновой лампой, маленькой, как ночник в детской или у постели больного. Вот он, мой роскошный отель, — в пятне света едва проступали наполовину пустая бутылка рома, два табурета, сифон с содовой, нахохлившийся, как птица с длинным клювом. Я снова позвал: «Жозеф! Жозеф!» — и снова никто не ответил. Я спустился обратно к машине и сказал Марте:

— Обожди минутку.

— Что-нибудь случилось?

— Не могу найти Жозефа.

— Мне надо возвращаться.

— Тебе нельзя ехать одной. Чего ты спешишь? Луис может и потерпеть.

Я снова поднялся наверх в «Трианон». Центр интеллектуальной жизни Гаити. Гостиница люкс, обслуживает и гурманов, и любителей туземных обычаев. Пейте наши напитки, приготовленные из лучшего гаитянского рома, купайтесь в роскошном бассейне, слушайте гаитянский барабан и любуйтесь гаитянскими танцорами. Вы встретите здесь элиту местной интеллигенции — музыкантов, поэтов, художников, для которых гостиница «Трианон» стала излюбленным местом встреч... Рекламная брошюра для туристов была когда-то недалеко от истины.

Я пошарил под стойкой бара и нашел электрический фонарик. Потом я прошел через гостиную к себе в кабинет; стол был завален старыми счетами и квитанциями. Я не надеялся на постояльцев, но дома не было даже Жозефа. Нечего сказать, хорошо тебя встречают, подумал я, радушно встречают! Под окнами кабинета был бассейн для плавания. Примерно в этот час сюда съезжались из других гостиниц пить коктейли. В лучшие времена тут пили все, кроме тех, кто путешествовал по дешевым туристским путевкам. Американцы всегда пили сухое мартини. К полуночи кто-нибудь из них обязательно плавал в бассейне нагишом. Как-то раз в два часа утра я выглянул из окна. В небе стояла огромная желтая луна, и какая-то парочка занималась в бассейне любовью. Они не заметили, что я на них смотрю; они вообще ничего не замечали. В ту ночь, засыпая, я подумал: «Ну вот, я своего добился...»

В саду послышались шаги, неровные шаги хромого, — он шел от бассейна. Жозеф охромел после своей встречи с тонтон-макутами. Я сделал шаг ему навстречу, но в эту секунду снова взглянул на свой письменный стол. Там чего-то не доставало. Стол был завален счетами, скопившимися за мое отсутствие; однако куда девалось мое небольшое медное пресс-папье в виде гроба с выгравированными на нем буквами «R.I.P.» [начальные буквы латинских слов: «Покойся в мире»], которое я купил как-то на рождество в Майами? Грошова вещь, я заплатил за нее два доллара семьдесят пять центов, но она была моя, она забавляла меня, а теперь ее нет. Почему в наше отсутствие все меняется? Даже Марта и та переменяла духи. Чем неустойчивее наше существование, тем неприятнее мелкие перемены.

Я вышел на веранду встретить Жозефа. Свет его фонарика змеился по вьющейся от бассейна дорожке.

— Это вы, мсье Браун? — испуганно окликнул он меня снизу.

— Конечно, я. Где ты был, когда я приехал? Почему ты бросил мои чемоданы?..

Он стоял внизу, подняв ко мне свое черное страдальческое лицо.

— Меня подвезла мадам Пинеда. Проводи ее обратно в город. Вернешься на автобусе.

А где садовник?

— Он ушел.

— А повар?

— Он ушел.

— Где мое пресс-папье? Кто взял мое пресс-папье?
 Он смотрел на меня, словно не понимая вопроса.
 — Неужели с тех пор, как я уехал, не было ни одного постояльца?
 — Нет, мсье. Только...
 — Только что?
 — Четыре ночи назад приходил доктор Филипо. Он сказал, никому не говори.
 — Что ему было надо?
 — Я говорил, ему нельзя остаться. Я говорил, тонтон-макуты придут сюда его искать.
 — А он что?
 — Все равно остался. Тогда повар ушел и садовник ушел. Говорят, он уйдет — мы вернемся. Он очень больной... И он остался. Я говорю, иди в горы, а он говорит, не могу, не могу. У него ноги распухли. Я говорю, надо уходить, пока вы не вернулись.
 — В хорошенькую историю я попал с места в карьер, — сказал я. — Ладно, я с ним поговорю. В каком он номере?
 — Я слышу машину, кричу ему: тонтон, уходи, быстро! Он очень усталый. Не хочет уходить. Говорит, я — старый человек. А я говорю: мсье Брауну конец, если вас найдут здесь. Вам все равно, если тонтон вас найдут на дороге, но мсье Брауну конец, если вас поймают тут. Я говорю, я пойду и буду с ними говорить. Тогда он быстро-быстро побежал. А это был только этот дурак таксист с чемоданами... Тогда я тоже побежал, ему сказать.
 — Что же нам с ним делать, Жозеф?
 Доктор Филипо был не такой уж плохой человек для члена этого правительства. В первый год своего пребывания на министерском посту он даже сделал попытку улучшить условия жизни в лачугах на берегу; в конце улицы Дезэ построили водопроводную колонку и выбили его имя на чугунной дощечке, но воду так и не подключили, потому что подрядчику не дали взятки.
 — Я пошел к нему в номер, а его нет.
 — Ты думаешь, он сбежал в горы?
 — Нет, мсье Браун, не в горы, — сказал Жозеф. Он стоял внизу, понутив голову. — Я думаю, он делал очень нехорошо. — И тихо произнес то, что было написано на моем пресс-папье: «Requiescat In Pace», — Жозеф был хорошим католиком, но и не менее ревностным почитателем вуду [вероисповедание и тайный ночной религиозный ритуал негров Вест-Индии]. — Прошу вас, мсье Браун, пойдемте со мной.
 Я последовал за ним по дорожке к бассейну, где когда-то парочка занималась любовью — это было давно, в счастливые, незапамятные времена. Теперь бассейн был пуст. Луч моего фонарика осветил пересохшее дно, усыпанное опавшими листьями.
 — В другом конце, — сказал Жозеф, стоя как вкопанный и не делая больше ни шагу к бассейну. Доктор Филипо, видно, добрал до узкой полоски тени под трамплином и теперь лежал там скорчившись, подтянув к подбородку колени, словно пожилой зародыш, обряженный для погребения в новый серый костюм. Он сначала перерезал себе вены на руках, а потом, для верности, и горло. Над головой у него темнело отверстие водопроводной трубы. Нам оставалось только пустить воду, чтобы смыть кровь, — доктор Филипо позаботился о том, чтобы причинить как можно меньше хлопот. Он, по-видимому, умер всего несколько минут назад. Первая мысль, которая мелькнула у меня в голове, была чисто эгоистической: человек не виноват в том, что кто-то покончил самоубийством у него в бассейне. Сюда можно попасть прямо с дороги, минуя дом. Раньше сюда постоянно заходили нищие — продавать купающимся деревянные безделушки.
 Я спросил Жозефа:
 — А доктор Мажио еще в городе? — Жозеф утвердительно кивнул. — Ступай к мадам Пинеда — ее машина стоит внизу — и попроси ее подвезти тебя до его дома, это по дороге в посольство. Не говори, зачем он тебе нужен. Привези его сюда, если он согласится.

Доктор Мажио был, по-моему, единственным врачом в городе, который осмелится прийти к врагу Барона Субботы, хотя бы и к мертвому. Но прежде чем Жозеф успел сделать шаг, послышался стук каблуков и голос, незабываемый голос миссис Смит.

— Нью-йоркской таможне есть чему поучиться у здешних чиновников. Они были с нами так вежливы. Среди белых никогда не встретишь таких любезных людей, как цветные.

— Осторожно, детка, смотри, тут яма.

— Я отлично вижу. Сырая морковь замечательно укрепляет зрение, миссис...

— Пинеда.

— Миссис Пинеда.

Шествие заключала Марта с электрическим фонариком. Мистер Смит сказал:

— Мы нашли эту милую даму внизу в машине. Вокруг не было ни души.

— Ради бога, простите. Совсем забыл, что вы решили поселиться у меня.

— Я думал, что и мистер Джонс сюда поедет, но его задержал полицейский офицер. Надеюсь, у него не будет никаких неприятностей.

— Жозеф, приготовь номер люкс «Джон Барримор». И посмотри, чтобы там было достаточно лампочек. Прошу прощения за эту темь. С минуты на минуту включают свет.

— А нам это даже нравится, — сказал мистер Смит. — Такая таинственность.

Если душа еще некоторое время, как говорят люди, витает возле покинутого ею тела, каких только пошлостей ей не приходится слышать, а она ведь так отчаянно ждет, что кто-то выскажет глубокую мысль, произнесет фразу, способную возвысить только что покинутую ею жизнь. Я сказал миссис Смит:

— Вы не возражаете, если вам сегодня подадут только яйца? Завтра я все налажу. К несчастью, у меня вчера ушел повар.

— Не беспокойтесь, — сказал мистер Смит. — Говоря по правде, мы немножко догматики, когда дело касается яиц. Но у нас есть истрол.

— А у меня — бармин, — добавила миссис Смит.

— Нельзя ли попросить немного горячей воды? Мы с миссис Смит легко приспосабливаемся к любым условиям. Вы о нас не беспокойтесь. У вас тут прекрасный бассейн для плавания.

Желая показать, как он глубок, Марта направила свой фонарик на трамплин и более глубокую часть водоема. Я поспешно отнял у нее фонарик и направил его луч на ажурную башенку и нависший над пальмами балкон. Наверху уже горел свет — Жозеф убирал номер.

— Вон там ваши комнаты, — сказал я. — Номер люкс «Джон Барримор». Прекрасный вид на Порт-о-Пренс — гавань, дворец и собор.

— А Джон Барримор действительно там останавливался? — спросил мистер Смит. — В этих самых комнатах?

— Меня тогда еще здесь не было, но могу вам показать его счета на выпивку.

— Какой талант погиб! — печально заметил он.

Меня мучила мысль, что экономия электроэнергии скоро кончится и во всем Порт-о-Пренсе вспыхнут огни. Иногда свет выключали на три часа, иногда меньше чем на час, — порядка в этом не было. Уезжая, я сказал Жозефу, что во время моего отсутствия гостиницу надо вести, как всегда — кто его знает, а вдруг на несколько дней здесь остановится парочка журналистов написать репортаж, который они наверняка озаглавят «В Республике кошмаров». И может быть, для Жозефа «вести гостиницу, как всегда» означало по-прежнему зажигать фонари в саду и освещать бассейн... Мне не хотелось, чтобы кандидат в президенты увидел труп, свернувшийся калачиком под трамплином, — ну хотя бы не в первый же вечер? У меня свои представления о гостеприимстве. И потом, ведь он же говорил, что у него рекомендательное письмо к министру социального благоденствия!..

Наконец на дорожке появился Жозеф. Я сказал ему, чтобы он проводил Смитов в их комнаты, а потом отвез миссис Пинеда в город.

— Наши чемоданы на веранде, — сказала миссис Смит.

— Они уже у вас в номере. Обещаю, что этот мрак скоро кончится. Вы нас должны извинить, у нас очень бедная страна.

— Когда подумаешь, сколько света жгут зря на Бродвее! — воскликнула миссис Смит, и, к моей радости, они двинулись к дому. Жозеф освещал им путь. Я остался у мелкой части бассейна, и теперь, когда мои глаза привыкли к темноте, я, казалось, различал труп — его можно было принять за кучку земли.

Марта спросила:

— Что-нибудь не в порядке? — и посветила фонариком мне прямо в лицо.

— Я еще ничего не успел осмотреть. Дай мне на минуту фонарик.

— А почему тебя так долго не было?

Я направил свет фонаря на пальмы, подальше от бассейна, будто осматривая проводку.

— Я разговаривал с Жозефом. Давай пойдем наверх?

— И опять напоремся на Смитов? Нет, лучше побудем в саду. Смешно, что я никогда раньше не бывала здесь. У тебя дома.

— Да, мы всегда вели себя осмотрительно.

— Ты меня даже не спросил об Анхеле.

— Извини.

Анхел — ее сын, невыносимый ребенок — тоже был виноват в том, что мы жили врозь. Слишком толстый для своих лет, с отцовскими глазами, похожими на коричневые пуговицы, он сосал конфеты, замечал то, чего не следовало замечать, и постоянно предъявлял требования — он требовал от матери безраздельного внимания. Ее сын, казалось, высасывал из наших отношений с Мартой нежность так же, как он высасывал жидкую начинку из конфет — долго и с шумом причмокивая. Этот ребенок был чуть не главной темой наших разговоров. «Мне пора. Я обещала Анхелу почитать». «Сегодня вечером мы не увидимся. Анхел хочет пойти в кино». «Дорогой, я так сегодня устала — Анхел пригласил шесть товарищей к чаю».

— Ну, и как Анхел?

— Он болел. У него был грипп.

— Но сейчас он выздоровел?..

— О да, он выздоровел.

— Пошли.

— Луис меня так рано не ждет. Анхел тоже. Раз уж я здесь... Семь бед — один ответ.

Я взглянул на часы. Было почти половина девятого.

— Смиты... — пробормотал я.

— Они возятся со своими вещами. Милый, почему ты так волнуешься?

Я беспомощно пробурчал:

— У меня пропало пресс-папье...

— Такое ценное пресс-папье?

— Нет, но если оно пропало, мало ли что еще могло пропасть?

И вдруг повсюду засияли огни. Я взял ее под руку, круто повернул и повел вверх по дорожке. Мистер Смит вышел на свой балкон и крикнул нам:

— Нельзя ли получить для миссис Смит еще одно одеяло на случай, если станет прохладно?

— Я скажу, чтобы вам принесли одеяло, но прохладно не станет.

— А знаете, отсюда и правда прекрасный вид.

— Я сейчас погашу фонари в саду, тогда вам будет виднее.

Рубильник находился у меня в кабинете, и мы были уже у двери, когда до нас снова донесся голос мистера Смита.

— Мистер Браун, а у вас в бассейне кто-то спит.

— Наверно, нищий.

По-видимому, миссис Смит тоже вышла на балкон, потому что теперь я услышал ее голос:

— Где ты его видишь, голубчик?

— Вон там.

— Бедняга. Я, пожалуй, отнесу ему денег.

Меня так и подмывало им крикнуть: «Отнесите ему ваше рекомендательное письмо. Это министр социального благоденствия».

— Знаешь, не стоит, детка, ты только разбудишь беднягу.

— Странное место для ночлега он выбрал.

— Наверно, искал, где попрохладнее.

Дойдя до дверей кабинета, я выключил свет в саду и услышал, как мистер Смит говорит:

— Посмотри вон туда, детка, на тот белый дом с куполом. Это, должно быть, дворец.

Марта спросила:

— В бассейне спит нищий?

— Это бывает.

— А я его не заметила. Что ты ищешь?

— Мое пресс-папье. Кому могло понадобиться мое пресс-папье?

— Какое оно?

— Маленький гробик с буквами: «R.I.P.». Я клал под него не очень срочные бумаги.

Она засмеялась, крепко обняла меня и стала целовать. Я старался отвечать на ее поцелуи, но труп в бассейне придавал нашим утехам нечто комическое. Мертвое тело доктора Филипо выражало трагическую тему; мы с Мартой были лишь побочной линией сюжета, введенной для комедийной разрядки. Я услышал шаги Жозефа в баре и окликнул его:

— Что ты там делаешь?

Миссис Смит, оказывается, попросила его принести две чашки, две ложки и бутылку горячей воды.

— Дай им еще одеяло, — сказал я, — а потом поезжай в город.

— Когда я тебя увижу? — спросила Марта.

— На том же месте, в то же время.

— Ничего не изменилось, правда? — спросила она с беспокойством.

— Да нет же, ничего, — но голос мой прозвучал резко, и она это заметила.

— Прости, пожалуйста... Но ты все-таки вернулся!

Когда они с Жозефом наконец уехали, я снова пошел к бассейну и сел в темноте на край. Я боялся, что Смиты спустятся вниз и затеют со мной беседу, но не прошло и нескольких минут, как свет в «Джоне Барриморе» погас. Они, должно быть, поужинали истролом и бармином и теперь улеглись спать сном праведников. Вчера из-за прощального вечера они засиделись допоздна, а день сегодня был утомительный. Интересно, куда девался Джонс? Ведь он выразил желание поселиться в «Трианоне». Вспомнил я и о мистере Фернандесе и о его необъяснимых слезах. Словом, я предпочитал думать о чем угодно, только не о министре социального благоденствия, свернувшемся калачиком у меня под трамплином.

Далеко в горах за Кенскоффом бил барабан, — значит, там tonelle [шалаш (фр.)] колдуна. Теперь, в правление Папы-Дока, редко слышался бой барабана. Кто-то мягко прошмыгнул в темноте; посветив фонариком, я увидел у трамплина худую, замороженную собаку. Она глядела на меня слезящимися глазами и отчаянно махала хвостом, прося разрешения прыгнуть вниз илизать кровь. Я ее шуганул. Несколько лет назад я держал трех садовников, двух поваров, Жозефа, второго бармена, четырех лакеев, двух горничных, шофера, а в сезон — в это время сезон только подходил к концу — мне приходилось

нанимать еще нескольких слуг. Сегодня возле бассейна выступали бы певцы и танцоры, а в перерывах между музыкой издали доносился бы неумолчный гул города, гудевшего, как улей. А теперь, хотя комендантский час и отменили, не слышно ни звука, а в эту безлунную ночь не лают даже собаки. Казалось, что вот так же заглохло и все, чего я достиг. Мне недолго везло, но имею ли я право жаловаться? В гостинице «Трианон» двое постояльцев, я снова обрел свою любовницу — и в отличие от господина министра — я еще жив. Поэтому я уселся поудобнее на край бассейна и принялся терпеливо ждать доктора Мажио.

3

Мне не раз в жизни приходилось излагать свое *curriculum vitae* [жизнеописание (лат.)]. Обычно оно начиналось так: родился в 1906 году в Монте-Карло. Родители — англичане. Воспитывался в иезуитском колледже Пришествия святой девы Марии. Неоднократно получал премии за латинские стихи и сочинения. Рано занялся коммерцией... Подробности, конечно, варьировались в зависимости от того, кому предназначалась эта автобиография.

Но сколько подробностей было опущено или слегка изменено даже в этих начальных сведениях! Мать моя, безусловно, не была англичанкой, и я по сей день не знал, была ли она француженкой; а может быть, она и принадлежала к редкой породе уроженцев Монако. Человек, которого она выбрала мне в отцы, покинул Монте-Карло до моего рождения. Возможно, его и звали Брауном. В этой фамилии есть что-то достоверное — обычно псевдонимы моей матери не были такими скромными. В последний раз, когда я ее видел, на смертном одре в Порт-о-Пренсе, она звалась графиней де Ласко-Вилье. Она второпях покинула Монте-Карло (а попутно и своего сына) вскоре после перемирия 1918 года, не заплатив за меня святым отцам. Но Орден Иисуса привык к неоплаченным счетам; он упорно держится за обломки аристократии, где не оплаченные банком чеки — такое же обычное явление, как адюльтеры, и поэтому меня не выгнали. Я получал награды за учение и подавал надежды, что со временем у меня появится призвание к духовной профессии. Я даже сам в это верил; мысли о служении господа мучили меня, как болезнь с температурой ниже нормальной в трезвые утренние часы и лихорадочным жаром ночью, и из-за них существование мое становилось нереальным. В то время как другие мальчишки боролись с демонической тягой к онанизму, я боролся с верой в бога. Мне странно теперь вспоминать мои латинские стихи и сочинения в прозе — все мои познания исчезли так же бесследно, как мой отец. Только одна строчка упорно засела в голове; отзвук былых мечтаний и надежд: «*Exegi monumentum aere perennius...*» Я произнес про себя эту фразу почти сорок лет спустя, когда стоял в день смерти матери у бассейна гостиницы «Трианон» в Петитонвиле и любовался причудливой деревянной резьбой на фоне пальм и черных, грозových туч над Кенскоффом. Все это больше чем наполовину принадлежало мне, и я знал, что скоро будет принадлежать мне совсем. У меня появилась недвижимость, я стал человеком состоятельным. Помню, я тогда подумал: «Я сделаю „Трианон“ самой популярной гостиницей на Карибском побережье», — и, может, мне это и удалось бы, если бы к власти не пришел сумасшедший доктор и по ночам вместо джаза не раздавались бы душераздирающие крики его жертв.

Как я уже говорил, отцы-иезуиты готовили меня отнюдь не к карьере *hotelier*. Но их планы разрушила школьная постановка «Ромео и Джульетты» в чопорном французском переводе. Мне дали роль престарелого брата Лоренцо, и выученные тогда строки — сам не знаю почему — запомнились мне на всю жизнь. В них не было особой поэзии: «*Accorde moi de discuter sur ton etat*» [«Обсудим-ка с тобой твои дела...»], — у брата Лоренцо был талант лишать поэтичности даже трагедию обойденных судьбою сердец. «*J'apprends que tu dois, et rien ne peut le reculer, etre mariee a ce comte jeudi prochain*» [«Я слышал, ты в четверг должна венчаться: Ничем нельзя отсрочить этот брак...»] (пер. — Д. Михаловский)].

Роль показалась святым отцам подходящей — не особенно трудной и возбуждающей, — но, видно, борьба с моим предназначением была мною почти выиграна,

болезнь прошла, и нескончаемые репетиции, постоянное общение с влюбленными, чувственность их страсти, как ее ни приглушал французский переводчик, толкнули меня на побег из тюрьмы. Я выглядел много старше своих лет, и постановщик спектакля, хоть и не смог сделать меня артистом, неплохо обучил меня тайнам грима. Я позаимствовал у молодого преподавателя английской литературы из миран его паспорт и обманом пробрался после обеда в казино. И там на удивление быстро, меньше чем за час, благодаря небывалому совпадению цифр ноль и девятнадцать выиграл триста фунтов стерлингов и еще час спустя неожиданно и неумело потерял свою девственность в номере «Отель де Пари».

Моя просветительница была лет на пятнадцать меня старше, но в памяти моей она осталась такой же, как была, постарел только я. Мы познакомились в казино, где, заметив, что мне везет — а я делал ставки через ее плечо, — она стала ставить на те же номера. Если я в тот день выиграл около трехсот фунтов, она, видимо, выиграла около ста и посоветовала мне благоразумия ради прекратить игру. Я убежден, что у нее и в мыслях не было меня соблазнять. Правда, она пригласила меня к себе выпить чаю, но она-то оказалась проницательнее служащих казино и еще на лестнице шепнула с видом заговорщика:

— Как вы сюда попали?

В ту минуту я был для нее только предприимчивым мальчишкой, который ее забавлял.

Я не стал врать. Я показал ей чужой паспорт, и она в ванной помогла мне стереть грим, который в зимние сумерки при электрическом свете успешно имитировал морщины. Я видел, как в зеркале над полочкой, где стояли ее лосьоны, баночки с кремами и тушью для ресниц, постепенно, морщинка за морщинкой исчезает брат Лоренцо. Мы с ней были как два актера в общей уборной.

В колледже чай пили за длинными столами: на каждом конце стояло по большому чайнику. К длинным *baguettes* [батонам (фр.)] хлеба, по три на каждый стол, полагались скудные порции масла и джема; фарфор был грубый, чтобы он мог выдержать грубые лапы учеников, а чай — крепкий. В «Отель де Пари» меня поразила хрупкость чашек, серебряный чайник, треугольные, вкуснейшие сэндвичи, эклеры с кремом. Я забыл свою робость и рассказывал о матери, о латинских сочинениях, о «Ромео и Джульетте». Я без всяких задних мыслей цитировал Катутла, лишь бы блеснуть образованностью.

Теперь уж я не помню последовательности событий, которые привели к первому долговому, взрослому поцелую на кушетке. Я помню только, что, по ее словам, она была замужем за директором Индокитайского банка, и я представил себе человека, ссыпающего в ящик стола монеты медной лопаточкой. В то время он был в отъезде, в Сайгоне, где, как она подозревала, содержал любовницу-вьетнамку. Разговор длился недолго; вскоре я вернулся назад в приготовительный класс, получив первый урок любви в маленькой белой комнате на большой белой кровати с резными шишками. Как подробно я все это помню, несмотря на то, что прошло больше сорока лет! О писателях говорят, будто жизненный опыт они получают в первые двадцать лет своей жизни — остальные годы только умножают наблюдения. Но я думаю, что это верно и для нас, простых смертных.

Когда мы с ней лежали, произошла странная штука. Я был робок, неподатлив. Ее прикосновения так и не смогли меня расшевелить. И вдруг из порта у подножия холма в комнату влетела чайка. На мгновение мне почудилось, будто через комнату перекинули мост из белых крыльев. Женщина вскрикнула от страха и отпрянула — теперь испугалась она. Я обнял ее, чтобы успокоить. Птица уселась на комод под зеркалом в позолоченной раме и, стоя на длинных, как ходули, ногах, поглядывала на нас. Она чувствовала себя как дома, словно она была кошка, а не птица, и казалось, вот-вот примется чистить перышки. Моя новая приятельница вздрагивала от страха, и я вдруг почувствовал в себе решимость и овладел ею так легко и уверенно, словно мы давно были близки. Ни она, ни я и не заметили, как улетела чайка, хотя мне показалось, что я почувствовал спиной ветерок от крыльев, когда птица уносилась в порт, к заливу.

Вот и все, что тогда случилось: выигрыш в казино, несколько минут торжества в белой с золотом комнате — единственный роман в моей жизни, который обошелся без мук и сожалений. Ведь эта женщина даже не была виновата в моем уходе из колледжа; я проявил неосторожность — бросил в церковную кружку для пожертвования фишку в пять франков, которую забыл обменять. Я хотел проявить щедрость — обычно я давал двадцать су, но кто-то за мной подглядел и донес ректору. В разговоре с ним рассеялись последние надежды на мое духовное призвание. Мы вежливо распростились со святыми отцами; если они и почувствовали разочарование, то хотя бы в уважении они не могли мне отказать — моя выходка не посрамила честь колледжа. Мне удалось утаить мое маленькое состояние, спрятав его под матрасом, и, соврав, что мой дядя с отцовской стороны послал мне деньги на дорогу в Англию и обещает всяческую поддержку и место в своей фирме, я был отпущен святыми отцами без всяких сожалений. Я сказал им, что верну долг матери, как только заработаю денег (обещание, которое они приняли смущенно, явно сомневаясь, что оно будет выполнено), и заверил их, что непременно навещу на Фарм-стрит некоего отца Фому Каприоле, иезуита и старинного друга нашего ректора (обещание, которое, как им казалось, я мог бы и сдержать). Что же касается письма дяди, его нетрудно было сочинить. Если я сумел провести администрацию казино, то отцов св.Пришествия обмануть ничего не стоило — никому из них и не пришло в голову попросить меня показать конверт. Я выехал в Англию международным экспрессом — он останавливался на маленькой станции за казино — и в последний раз увидел башни в стиле барокко, под сенью которых прошло мое детство, ставшее символом моей зрелости, — дворец удачи, где все может случиться, как я это и доказал.

Я нарушил бы пропорции рассказа, если бы стал излагать все перипетии моей жизни от казино в Монте-Карло до другого казино в Порт-о-Пренсе, где я снова оказался при деньгах и влюбился, — такое же странное совпадение, как и встреча в Атлантическом океане троих людей с фамилиями Смит, Браун и Джонс.

Многие годы между этими двумя событиями я кое-как перебивался со дня на день, если не считать недолгого периода покоя и благополучия во время войны, и не обо всем, чем я занимался, можно рассказать в моей *curriculum vitae*. Первую работу, которая досталась мне благодаря хорошему знанию французского языка (латынь оказалась на редкость бесполезной), я получил в маленьком ресторанчике в Сохо, где полгода служил официантом. Я нигде об этом не поминал, так же как и о моем переходе в «Трокадеро», куда я попал благодаря поддельной рекомендации из парижского ресторана Фуке. После нескольких лет в «Трокадеро» я возвысился до поста консультанта в небольшой издательской фирме, которая выпускала общеобразовательную серию французских классиков с комментариями крайне облагораживающего характера. Эта деятельность нашла отражение в автобиографии. А вот то, что за ней последовало, — нет. Меня и вправду несколько развратила устойчивость моего положения во время войны — я служил в Отделе политической разведки министерства иностранных дел и редактировал наши листовки, распространявшиеся на территории правительства Виши; у меня даже секретаршей была писательница. Когда война кончилась, я решил, что хватит с меня постной жизни, и тем не менее еще несколько лет я кое-как перебивался, пока наконец меня не осенила блестящая идея. Она пришла ко мне недалеко от Пиккадилли, возле одной из тех художественных галерей, где можно увидеть сомнительную работу малоизвестного голландского художника семнадцатого века, а может, и перед какой-нибудь галереей рангом пониже, где невзыскательным вкусам потекают портретами жизнерадостных кардиналов, смачно уплетающих лососину в постный день. Пожилой человек в двубортном жилете с часовой цепочкой, как мне казалось, далекий от искусства, глазел на картины. Мне вдруг почудилось, что я читаю его мысли: «На аукционе у Сотби месяц назад одна картина была продана за сто тысяч фунтов. На картинах можно нажать

состояние, если понимать в этом толк или хотя бы не бояться риска...» И он уставился на коров, пасшихся на лугу, словно это был шарик рулетки. Правда, он все-таки смотрел на пасущихся коров, а не на кардиналов. Трудно себе представить, чтобы кардиналов продавали у Сотби.

Через неделю после этого озарения я рискнул всем, что мне удалось скопить больше чем за тридцать лет, и вложил свои деньги в автомобиль с прицепом и двадцать недорогих репродукций — вершиной этой коллекции был Анри Руссо, а наименее ценным — Джексон Поллок. Я развесил репродукции на стене фургона с указанием цен, за которые они были проданы на аукционах, и дат продажи. Потом я обзавелся молодым учеником школы живописи, который мог быстро снабжать меня довольно грубыми подделками, подписывая их каждый раз новой фамилией, — я часто сидел рядом с ним, пока он работал, и упражнялся в подделке подписей на листе бумаги. Несмотря на Поллока и Мура, доказывающих, что даже за английские фамилии иногда платят, большинство этих подписей было иностранными. Я запомнил одну из них — Мжлоз, потому что его работы упорно не продавались, и в конце концов нам пришлось замазать его подпись и заменить ее фамилией Вейль. Потом я понял, что покупатель желает по крайней мере уметь произнести фамилию художника, которого он купил. «На днях я приобрел новую работу Вейля». А фамилия Мжлоз к тому же слишком смахивала на «навоз».

Я переезжал из одного провинциального города в другой, таща за собой прицеп, и останавливался в богатых пригородах промышленных центров. Скоро я понял, что на ученых и женщинах мне денег не заработать: ученые слишком много знают, а домохозяйки, как правило, не любят рисковать без твердой уверенности в выигрыше. Мне нужны были игроки, ибо целью моей выставки было внушить: «Здесь на одной стене вы видите картины, за которые в последние десять лет были заплачены невероятные деньги. Могли бы вы угадать, что „Велосипедисты“ Леже или „Начальник станции“ Руссо стоят целое состояние? А тут — на другой стене — вы имеете возможность угадать их наследников в живописи и тоже заработать состояние. Если вы промахнетесь, вам будет по крайней мере чем похвастать перед соседями, вы приобретете репутацию человека просвещенного и покровителя изящных искусств, и это обойдется вам всего в...» Цены колебались от двадцати до пятидесяти фунтов, в зависимости от места действия и покупателя; как-то раз я даже продал двухголовую женщину — почти Пикассо — за целую сотню.

Мой молодой помощник скоро набил руку и выдавал по полдюжине разнообразных картин за одно утро, а я платил ему по два фунта десять шиллингов за штуку. Я никого не грабил; получая по пятнадцати фунтов за полдня работы, художник был доволен, я же помогал молодому дарованию и был уверен, что многие званные обеды в провинции проходят гораздо живее благодаря одной из моих пощечин общественному вкусу на стенке. Как-то раз я продал поддельного Поллока человеку, у которого в саду вокруг солнечных часов и вдоль аляповатой дорожки были врыты диснеевские гномы. Разве я его обездолил? Он мог себе позволить такую роскошь. У него был совершенно неуязвимый вид, хотя кто знает, какие изъязы в его личной или деловой жизни должны были возмещать диснеевские гномы.

Вскоре после выгодной сделки с владельцем гномов я услышал зов моей матери, если, конечно, это можно так назвать. Он настиг меня в виде цветной открытки, изображавшей развалины крепости императора Кристофа в Кап-Аитьене. На обороте она написала свою фамилию — она была мне незнакома, — адрес и две фразы: «И сама чувствую себя развалиной. Рада буду тебя видеть, если заглянешь в наши края». В скобках, после слова «Маман» [мать (фр.)], — не зная ее почерка, я довольно метко расшифровал его, как «Манон» [героиня романа аббата Прево «Манон Леско»], — она добавила: «Графиня де Ласко-Вилье». Эта открытка добиралась до меня несколько месяцев.

В последний раз я видел мать в 1934 году в Париже и ничего не слышал о ней во время войны. Думаю, что я не принял бы ее приглашения, если бы не два обстоятельства: первый

раз в жизни мать обратилась ко мне с чем-то вроде просьбы о помощи и мне давно было пора кончать аферу со странствующей галереей, потому что воскресная газета «Народ» пыталась выяснить, откуда я беру картины. В банке у меня было больше тысячи фунтов. Продав еще за пятьсот фунтов фургон, остаток картин и репродукций человеку, который никогда не читал «Народа», я вылетел в Кингстон, где безуспешно пытался найти какое-нибудь подходящее дело; тогда я сел на другой самолет и прилетел в Порт-о-Пренс.

Несколько лет назад Порт-о-Пренс был совсем другим. Продажности в нем, я думаю, было не меньше, а грязи еще больше; нищих было столько же, но нищие хотя бы могли на что-то надеяться: в страну приезжали туристы. Теперь, когда человек вам говорит: «Я подыхаю с голоду», вы ему верьте.

Интересно, думал я, что делает моя мать в гостинице «Трианон» — живет ли она там на деньги графа, если этот граф вообще существовал, или служит экономкой. В последний раз, когда я ее видел — в 1934 году, — она служила vendeuse [продащица (фр.)] у одного из не очень знаменитых couturiers [здесь: хозяин дома моделей (фр.)]. До войны считалось шикарным держать на службе англичанок, поэтому она именovala себя Мэгги Браун (а может, ее фамилия по мужу и в самом деле была Браун).

Из предосторожности я отвез свои чемоданы в роскошный американизированный отель «Эль Ранчо». Мне хотелось пожить пошарнее, пока у меня есть деньги, а в аэропорту никто ничего не знал о «Трианоне». Когда я подъезжал к нему по дороге, обсаженной пальмами, он мне показался довольно запущенным; бугенвилею надо было подстричь, а дорожка заросла травой так, что гравия не было видно. На веранде пили несколько человек, среди них Пьер Малыш, — правда, я довольно скоро узнал, что он платит за выпивку только своим пером. На ступеньках меня встретил молодой, хорошо одетый негр и спросил, нужна ли мне комната. Я сказал, что приехал навестить Madame la Comtesse — ее двойную фамилию мне трудно было запомнить, а открытку я забыл в «Эль Ранчо».

— Мадам, к сожалению, больна. Она вас ожидает?

Из бассейна появилась молодая американская пара. Оба были в купальных халатах. Мужчина обнимал женщину за плечи.

— Эй, Марсель, — сказал он, — парочку ваших особых.

— Жозеф! — крикнул негр. — Два ромовых пунша для мистера Нельсона.

И он снова вопросительно обернулся ко мне.

— Скажите ей, — сказал я, — что к ней мистер Браун.

— Мистер Браун?

— Да.

— Я посмотрю, проснулась ли она. — Он помялся: — Вы приехали из Англии?

— Да.

Из бара вышел Жозеф — он нес ромовые пунши. Тогда он еще не хромал.

— Мистер Браун из Англии? — переспросил Марсель.

— Да, мистер Браун из Англии.

Он нехотя пошел наверх. Сидевшие на веранде разглядывали меня с любопытством, за исключением молодых американцев — те самозабвенно передавали изо рта в рот вишни. Солнце собиралось садиться за огромным горбом Кенскоффа.

Пьер Малыш спросил:

— Вы приехали из Англии?

— Да.

— Из Лондона?

— Да.

— В Лондоне очень холодно?

Все это напоминало допрос в тайной полиции, но в те дни здесь не было тайной

полиции.

— Когда я уезжал, шел дождь.

— Как вам нравится здесь, мистер Браун?

— Я здесь всего два часа.

На следующий день мне стало понятно его любопытство: он поместил заметку обо мне в светской хронике местной газеты.

— Ты стала хорошо плавать на спине, — сказал своей спутнице американец.

— Ох, птенчик, правда?

— Честное слово, золотко.

На ступеньки веранды поднялся негр, протягивая две уродливые статуэтки из дерева. Никто не обращал на него внимания, и он молча стоял, предлагая свои изделия. Я даже не заметил, как он ушел.

— Жозеф, а что сегодня на ужин? — спросила молодая американка.

Какой-то человек прошелся по веранде с гитарой в руках. Он присел за столик недалеко от молодой пары и начал играть.

На него тоже никто не обращал внимания. Я почувствовал себя неловко. Я ожидал более теплого приема в материнском доме.

Высокий пожилой негр с римским профилем, почерневшим от сажи больших городов, и волосами, припудренными каменной пылью, спустился по лестнице в сопровождении Марселя. Он спросил:

— Вы мистер Браун?

— Да.

— Я доктор Мажио. Зайдемте, пожалуйста, на минуточку в бар.

Мы вошли в бар. Жозеф смешивал новую порцию ромовых пуншей для Пьера Малыша и его компании. В дверь просунулась голова повара в белом колпаке, но при виде доктора Мажио спряталась снова. Хорошенькая горничная-мулатка с кипой белых скатертей в руках перестала болтать с Жозефом и пошла на веранду накрывать столики.

— Вы сын *Madame la Comtesse*? — спросил доктор Мажио.

— Да.

Мне казалось, что, с тех пор как я приехал, я только и делаю, что отвечаю на вопросы.

— Вашей матери, конечно, не терпится вас увидеть, но я счел необходимым сначала кое о чем вас предупредить. Всякое волнение для нее пагубно. Прошу вас, когда вы с ней увидите, будьте очень осторожны. Не слишком проявляйте свои чувства.

Я улыбнулся.

— Мы никогда особенно не проявляли своих чувств. А что с ней, доктор?

— У нее был второй *crise cardiaque*. [сердечный приступ (фр.)] Удивительно, как она осталась жива. Она необыкновенная женщина!

— Быть может... стоило бы пригласить кого-нибудь еще...

— Не беспокойтесь, мистер Браун. Сердечные заболевания — моя специальность. Вы вряд ли найдете более знающего врача ближе, чем в Нью-Йорке. Сомневаюсь, что вы найдете его и там. — Он не хвастал, а просто объяснял положение дел; доктор, очевидно, привык, что белые ему не доверяют. — Я учился у Шардена в Париже, — сказал он.

— И надежды нет?

— Она вряд ли перенесет еще один приступ. Спокойной ночи, мистер Браун. Не сидите у нее слишком долго. Рад, что вы сумели приехать. Я боялся, что ей не за кем послать.

— Она, в общем, за мной и не посылала.

— Как-нибудь, надеюсь, мы с вами вместе поужинаем. Я ведь знаю вашу мать много лет. И глубоко ее уважаю... — Он отвесил мне легкий поклон, словно римский император, дающий понять, что аудиенция окончена. Но в его манере не было ни капли высокомерия. Он просто знал себе цену. — Спокойной ночи, Марсель.

Марселю он не поклонился. Я заметил, что даже Пьер Малыш дал ему спокойно пройти, не решаясь докучать ему вопросами. Мне стало стыдно, что я предложил такому значительному человеку пригласить консультанта.

— Прошу вас подняться наверх, мистер Браун, — сказал Марсель.

Я пошел за ним. Стены были увешаны картинами гаитянских художников: фигуры в деревянных позах на пронзительно ярком фоне; петушиный бой; местный религиозный обряд; черные тучи над Кенскоффом, банановые деревья в грозово-зеленой гамме, синие копыа сахарного тростника, золотой маис. Марсель отворил дверь, я вошел, и прежде всего мне бросились в глаза распущенные волосы матери на подушке — такого гаитянско-красного цвета, какого никогда не бывает в природе. Они пышно рассыпались по огромной двуспальной кровати.

— Милый, вот хорошо, что ты заглянул! — сказала мать, будто я заехал навестить ее из другой части города. Я поцеловал ее в широкий лоб, похожий на выбеленную стену, и немножко мела осталось у меня на губах. Я чувствовал на себе взгляд Марселя. — Ну, как там в Англии? — спросила она таким тоном, будто спрашивала о не очень любимой невестке.

— Когда я уезжал, шел дождь.

— Твой отец терпеть не мог свой родной климат, — заметила она.

Никто не дал бы ей даже пятидесяти, и я не заметил бы, что она больна, если бы не стянутая кожа вокруг рта; много лет спустя я увидел такой же впалый рот у коммивояжера на «Медее».

— Марсель, подай моему сыну стул.

Он нехотя пододвинул мне от стены стул, но, сев, я оказался так же далеко от матери, как и раньше, — уж очень широка была кровать, бесстыжая кровать, сделанная только для одной-единственной цели, с позолоченным подножием в вычурных завитушках; эта кровать больше подходила какой-нибудь куртизанке из исторического романа, чем умирающей старухе. Я ее спросил:

— Мама, а граф на самом деле существует?

Она заговорщически улыбнулась.

— Все в прошлом, — сказала она, и я так и не понял, хотела ли она этой фразой отдать ему посмертную дань. — Марсель, — продолжала она, — глупенький, ты можешь спокойно оставить нас вдвоем. Я же тебе говорила. Это мой сын. — Когда дверь за Марселем закрылась, она сказала с некоторым самодовольством: — Он до смешного ревнив.

— А кто он такой?

— Помогает мне управлять отелем.

— Это случайно не граф?

— *Mechant* [злюка (фр.)], — по привычке бросила она. Она и вправду переняла от этой кровати — а может быть, от графа? — небрежный, многоопытный тон кокетки восемнадцатого века.

— А с какой стати ему тебя ревновать?

— Может, он думает, что ты вовсе мне не сын?

— Ты хочешь сказать, что он твой любовник?

И я подумал, что бы сказал мой неведомый отец, чья фамилия — как мне говорили — была Браун, о своем черном преемнике.

— Чему ты смеешься, милый?

— Ты — замечательная женщина, мама.

— Под конец жизни мне немножко повезло.

— Это ты о Марселе?

— Да нет! Он славный мальчик, и все. Я говорю о гостинице. Ведь это — мое единственное имущество за всю жизнь. Она мне принадлежит целиком. И не заложена. Даже за мебель все выплачено.

— А картины?

— Они, конечно, висят для продажи. Я их беру на комиссию.

— Ты купила ее на деньги графа?..

— Да нет же, ничего подобного. От графа я не получила ничего, кроме титула, да и его я не проверяла по Готскому альманаху, так что не знаю, существует ли он вообще. Нет, тут мне просто-напросто привалило счастье. Некий мсье Дешо тут, в Порт-о-Пренсе, очень огорчился, что платит большие налоги, а так как я в то время работала у него секретаршей, я разрешила ему перевести гостиницу на мое имя. Конечно, мы составили завещание, где моим наследником на гостиницу я назвала его, а так как мне было за шестьдесят, а ему только тридцать пять, сделка казалась ему верной.

— Он тебе доверял?

— И правильно делал, милый. Но он зря вздумал гонять на спортивном «мерседесе» по здешним дорогам. Счастье еще, что больше не было жертв.

— И ты стала владелицей его имущества?

— Он был бы очень доволен, если бы это знал. Ах, милый, ты и не представляешь, как он ненавидел свою жену! Огромная, толстая, малограмотная негритянка! Разве она смогла бы вести дело? Конечно, после его смерти завещание пришлось переписать, — твой отец, если он еще жив, мог оказаться моим наследником. Кстати, я завещала святым отцам из твоего колледжа мои четки и молитвенник. Меня всегда мучила совесть, что я так с ними обошлась, но в то время я нуждалась в деньгах. Твой отец был порядочной свиньей, упокой господи его душу!

— Значит, он все-таки умер?

— Подозреваю, что да, но у меня нет никаких доказательств. Люди теперь живут так долго. Бедняга!

— Я разговаривал с твоим доктором.

— С доктором Мажио? Жаль, что я не встретила его, когда он был помоложе. Вот это мужчина, правда?

— Он говорит, если ты будешь спокойно лежать...

— Я и так лежу не вставая, — сказала она и улыбнулась понимающей и жалкой улыбкой. — Ну чем еще я могу ему угодить? Знаешь, этот славный человек спросил, не хочу ли я позвать священника. А я ему говорю: «Право же, доктор, исповедь меня чересчур разволновала бы — подумайте, чего только мне не придется вспоминать». Милый, если тебе не трудно, пойдя, пожалуйста, и приоткрой чуточку дверь.

Я выполнил ее просьбу. Коридор был пуст. Снизу донеслось звяканье вилок и ножей и голос: «Ох, птенчик, ты действительно думаешь, что у меня получится?»

— Спасибо, милый. Мне хотелось удостовериться... Раз ты все равно встал, подай мне, пожалуйста, щетку для волос. Еще раз спасибо. Большое спасибо. Хорошо, когда у старухи рядом сын... — Она помолчала, наверно, ждала, что я, как альфонс, буду уверять ее, что она совсем еще не старая. — Я хотела поговорить с тобой насчет моего завещания, — продолжала она с легкой обидой, приглаживая щеткой свои густые, неправдоподобные волосы.

— Может, тебе лучше отдохнуть? Доктор не велел мне долго у тебя сидеть.

— Надеюсь, тебе отвели хороший номер? В некоторых комнатах еще пустовато. Наличных на обстановку не хватает.

— Я остановился в «Эль Ранчо».

— Ах, милый, ты непременно должен жить здесь. Тебе не следует создавать рекламу этому американскому притону. В конце концов, я как раз и хотела тебе это сказать: гостиница когда-нибудь будет твоей. Мне только вот что хотелось тебе объяснить... Законы такие путанные, надо все предусмотреть... капитал гостиницы в акциях, и я завещала треть Марселю. Если ты с ним поладишь, он очень тебе пригодится, а мне надо что-то сделать для

мальчика, правда? Он ведь тут не только управляющий. Понимаешь? Ну, ты же мой сын, ты все понимаешь.

— Понимаю.

— Я так тебе рада. Боялась сделать промашку... Эти гаитянские юристы на завещаниях собаку съели... Я скажу Марселю, что ты сразу все возьмешь в свои руки. Только води себя потактивнее с ним, прошу тебя. Марсель такой обидчивый.

— А ты, мама, полежи тихонько. Отдохни. Если можешь, не думай больше о делах. Постарайся заснуть.

— Отдохнем в могиле. Нет, не желаю торопить смерть. Она и так длится очень долго.

Я снова приложился губами к выбеленной стене. Она томно закрыла глаза в знак любви, и я на цыпочках пошел к двери. Когда я неслышно ее отворял, чтобы не побеспокоить мать, она вдруг захихикала.

— Сразу видно, что ты мой сын, — сказала она. — Какую роль ты сейчас играешь?

Это были последние слова, которые я от нее услышал, и я по сей день не знаю, что она этим хотела сказать.

Я взял такси до «Эль Ранчо» и остался там ужинать. Ресторан был полон, в буфете возле бассейна для плавания подавали гаитянские блюда, специально рассчитанные на вкус американцев; костлявый человек в остроконечной шляпе лихо выбивал дробь на гаитянском барабане, и вот именно тогда, в первый же вечер, у меня родилась честолюбивая мечта превратить «Трианон» в первоклассное заведение. Пока что он явно был гостиницей второго сорта. Я понимал, что только мелкие туристские агентства посылали туда своих клиентов, и сомневался, чтобы его доходы могли удовлетворить наши с Марселем потребности. Я решил преуспеть, и преуспеть крупно; когда-нибудь я еще буду иметь удовольствие отсылать лишних постояльцев с моей рекомендацией в «Эль Ранчо». И как ни странно, мечта моя, хоть и ненадолго, сбылась. За три сезона я превратил обшарпанный «Трианон» в самую модную гостиницу Порт-о-Пренса, а потом еще три сезона наблюдал, как она снова приходит в упадок, пока наконец не докатился до того, что у меня остались только Смиты в номере люкс «Джон Барримор» да мертвый министр в бассейне.

В тот вечер я расплатился по счету, снова взял такси и, спустившись с холма, вступил в свои владения, где я уже ощущал себя полновластным хозяином. Завтра я проверю с Марселем счета, познакомлюсь с персоналом гостиницы и возьму бразды правления в свои руки. Я уже подумывал, как бы откупиться от Марселя, но с этим, конечно, придется обождать, пока моя мать на отойдет в мир иной. Мне предоставили большой номер на одной площадке с ней. Мебель, по ее словам, была оплачена, но полы надо было перестилать, они гнулись и скрипели под ногами, а единственной ценной вещью в комнате была кровать — хорошая, большая кровать с медными шишками, в стиле королевы Виктории — мать понимала толк в кроватях. Первый раз на моей памяти я ложился спать, зная, что мне не придется платить за ночлег и за утренний завтрак либо остаться в долгу, как в колледже св.Пришествия. Ощущение было на редкость приятное, я крепко заснул и проснулся, только когда меня разбудило отчаянное дребезжание старомодного звонка, а мне как раз снилось — бог знает почему — боксерское восстание.

Он звонил, звонил и теперь напомнил мне пожарный колокол. Я накинул халат и отворил дверь. В тот же миг на площадке отворилась другая дверь и оттуда появился Марсель; его плоское негритянское лицо было заспанным. На нем была ярко-алая шелковая пижама, и, пока он топтался у двери, я успел разглядеть над кармашком монограмму: «М», переплетенное с «И». Я не сразу сообразил, что означает это «И», пока не вспомнил, что мать зовут Иветтой. Что это было — дар любви? Вряд ли. Скорее всего, вызов общественному мнению. У матери был хороший вкус, а у Марселя — отличная фигура, которую стоило наряжать в алые шелка; мать была не такая женщина, чтобы заботиться, как на это посмотрят второсортные туристы.

Он заметил, что я на него гляжу, и сказал извиняющимся тоном:

— Она меня зовет.

Потом медленно и, казалось, неохотно направился к ее двери. Я обратил внимание, что он вошел без стука.

Когда я снова заснул, мне приснился странный сон — еще более странный, чем сон о боксерском восстании. Лунной ночью я гулял по берегу озера, одетый, как церковный служака; тихая, неподвижная гладь притягивала меня, с каждым шагом я все больше приближался к воде. И вот мои черные ботинки уже совсем погрузились в нее. Потом задул ветер и вода в озере поднялась, как небольшой девятый вал, но, вместо того чтобы захлестнуть меня, он высокой грядой пошел прочь, и вот мои ноги уже ступали по сухим камням, озеро превратилось в дальний отблеск в каменистой пустыне, а острая галька резала мне подошву сквозь дыру в башмаке. Я проснулся от суматохи, которая поднялась на всех этажах и на лестнице. Моя мать, *Madame la Comtesse*, умерла.

Я приехал налегке, мой европейский костюм был слишком теплым для здешнего климата, и мне пришлось явиться к покойнице в спортивной рубашке. Я купил ее на Ямайке; она была ярко-красная и украшена рисунками из книги восемнадцатого века о жизни острова. Мать уже прибрали — она лежала на спине в прозрачной розовой ночной рубашке, с двусмысленной улыбкой на губах, в которой светилось какое-то тайное и даже чувственное удовольствие. Но пудра на лице спеклась от жары, и я не мог себя заставить поцеловать эти окаменевшие хлопья. Марсель чинно стоял у кровати, одетый во все черное, и слезы скатывались по его лицу, словно вода с черной крыши во время ливня. До сих пор я смотрел на него как на последнюю материнскую причуду, но когда он сказал мне с мукой в голосе:

— Я не виноват, сэр. Я ведь ей все время говорил: не надо, вы еще не окрепли. Погодите немного. Будет лучше, если вы подождете... — я понял, что он не просто альфонс.

— А что она?

— Ничего. Просто откинула простыни. А когда я ее вижу, всегда этим кончается.

Он пошел из комнаты, трясая головой, словно хотел смахнуть с лица дождевые капли, но тут же вернулся, встал возле покойницы на колени и прижался губами к простыне в том месте, где ее приподнимала округлость живота. Он стоял на коленях и выглядел в своем черном костюме, как негритянский жрец, совершающий какой-то непристойный обряд. Ушел из комнаты не он, а я: это я пошел на кухню и распорядился, чтобы слуги снова принялись за дело и приготовили постояльцам завтрак (даже повар так плакал, что совсем выбыл из строя); это я позвонил доктору Мажио (телефон в те времена еще работал).

— Она была замечательная женщина, — сказал мне потом доктор Мажио, но я был в таком замешательстве, что только пробормотал:

— Да я ведь ее едва знал!

На следующий день в поисках завещания я просмотрел ее бумаги. Нельзя сказать, чтобы она была очень аккуратна; ящики бюро были битком набиты счетами и квитанциями, сложенными без всякой системы и даже не по годам. Порою в пачке квитанций из прачечной я наткался на то, что раньше принято было называть *billet doux* [любовной запиской (фр.)]. Одна из таких записочек, нацарапанная по-английски карандашом на оборотной стороне меню, гласила: «Иветта, приходи ко мне сегодня ночью. Я гибну. И жажду *coup-de-grace*» [здесь: чтобы ты меня доконала (фр.)]. Кто это писал — какой-нибудь постоялец? И почему мать сохранила листок — из-за меню или из-за самого послания? Меню было изысканное по случаю празднования 14 июля.

В другом ящике, где хранились главным образом тюбики клея, кнопки, заколки, вкладыши для ручки и скрепки, лежала фарфоровая копилка в виде свинки. Она была легкая, но в ней что-то брэнчало. Мне не хотелось ее разбивать, но глупо было ее выбрасывать вместе с другим мусором, даже не поглядев, что в ней. Разбив ее, я нашел пятифранковую фишку из казино в Монте-Карло, такую же, как та, что я бросил в церковную кружку

несколько десятилетий назад, и почерневшую медаль на ленточке. Я не мог разобраться, что это за медаль, но, когда я показал ее доктору Мажио, он сразу сказал:

— Это медаль за участие в Сопротивлении. — И вот тогда он добавил: — Ваша мать была замечательная женщина.

Медаль за участие в Сопротивлении... Я не поддерживал никакой связи с матерью в годы оккупации. Заслужила ли она эту медаль, стащила ее или получила на память от любовника? У доктора Мажио на этот счет не возникало сомнений, мне же трудно было представить себе мать героиней, хотя я был уверен, что она сумела бы сыграть и эту роль не хуже, чем роль *grande amoureuse* [великой любовницы (фр.)], которую играла для английского туриста. Она убедила отцов-иезуитов в своей добродетели даже в сомнительной атмосфере Монте-Карло. Я очень мало о ней знал, но вполне достаточно, чтобы признать умелую комедиантку.

Однако, несмотря на то, что в счетах царил беспорядок, завещание ее, напротив, было составлено точно, ясно, подписано графиней де Ласко-Вилье и засвидетельствовано доктором Мажио. Она превратила свой отель в акционерное общество и выделила одну именную акцию Марселю, другую доктору Мажио и третью своему поверенному, которого звали Александр Дюбуа. Сама она владела девяноста семью акциями и документами о передаче ей трех остальных акций, тщательно приколотыми к завещанию. Акционерное общество владело всем имуществом гостиницы, вплоть до последней ложки и вилки. Мне было завещано шестьдесят пять акций, а Марселю тридцать три. Следовательно, я становился хозяином «Трианона» и мог сразу приступить к осуществлению своей мечты или, вернее, с той маленькой оттяжкой, которая уйдет на поспешные похороны матери — здешний климат вынуждал нас торопиться.

Для этой процедуры доктор Мажио оказался незаменим. Мать в тот же день перенесли на маленькое кладбище в горной деревушке на Кенскоффе, где ее и закопали среди невысоких надгробий с подобающим католическим обрядом. Марсель плакал, не стеснясь посторонних, возле могилы, напоминавшей сточную канаву на городской мостовой, потому что вокруг стояли домики, которые гаитяне строят для своих покойников; в день поминовения усопших туда приносят хлеб и вино. Пока на гроб швыряли положенные комья земли, я обдумывал, как бы поскорее избавиться от Марселя. Мы стояли под мрачной сенью иссиня-черных туч, которые как всегда собирались в этот час над вершиной горы и под конец ринулись на нас яростным потоком; мы со священником во главе бросились к своим такси; могильщики бежали следом. Тогда я этого еще не знал, а теперь знаю, — могильщики вернулись на кладбище засыпать землей могилу моей матери только на рассвете; никто не станет работать ночью на кладбище, разве что какой-нибудь упырь, вышедший из могилы по приказу *houngan'a* [жрец (креол.)], чтобы во тьме свершить свое дело.

В тот вечер доктор Мажио пригласил меня к себе на ужин; вдобавок он дал мне множество мудрых советов, к которым я, глупец, не прислушался, подозревая, что он хочет приобрести отель для какого-нибудь клиента. Я отнесся к нему с недоверием из-за той единственной акции, которой он владел в акционерном обществе матери, хотя у меня хранился передаточный документ с его подписью.

Он жил на нижнем склоне Петионвиля в трехэтажном доме, похожем в миниатюре на мою гостиницу, с башенкой и резными балконами. В саду росла сухая пирамидальная сосна, похожая на иллюстрацию к роману конца девятнадцатого века, и единственным современным предметом в комнате, где мы сидели после ужина, был телефон. Он казался нелепым анахронизмом в музейной экспозиции. Тяжелые складки красных драпировок; шерстяные скатерти с бомбошками на столиках; фарфоровые статуэтки на камине, и среди них две собачки с такими же добрыми глазами, как у самого доктора; портреты родителей (цветные фотографии в овальных рамах, наклеенные на лиловый шелк); экран из плиссированной материи, закрывающий ненужный камин, беллетристика в застекленном книжном шкафу

(медицинские книги доктор держал во врачебном кабинете) в старинных переплетах из телячьей кожи. Все это принадлежало другой эпохе. Я посмотрел заголовки, когда он выходил «мыть руки», как он вежливо объяснил по-английски. Тут стояли «Отверженные» в трех томах, «Тайны Парижа» без последнего тома, несколько полицейских романов Габорио, «Жизнь Иисуса» Ренана и, как ни странно в таком соседстве, «Капитал» Маркса, переплетенный в такую же телячью кожу, как и «Отверженные», — издали эти книги и не различишь. Лампа под розовым стеклянным абажуром, стоявшая на столе, где сидел доктор Мажио, была — и весьма предусмотрительно — керосиновой, ибо даже тогда свет подавали с перебоями.

— Вы правда хотите взять гостиницу в свои руки? — спросил меня доктор Мажио.

— А почему бы и нет? У меня есть кое-какой опыт работы в ресторане. Я вижу, что здесь можно многое улучшить. Мать не обслуживала богатую клиентуру и не стремилась превратить «Трианон» в гостиницу-люкс.

— В гостиницу-люкс? — повторил доктор. — Ну, здесь вам вряд ли это удастся.

— Но такие гостиницы есть же и здесь.

— Хорошие времена будут продолжаться не вечно. Выборы не за горами...

— А разве это так важно, кто победит?

— Для бедноты — нет. А для туристов — кто знает?

Он поставил возле меня блюдечко в цветах — пепельница в этой комнате была бы неуместна, ведь в прежние времена здесь не принято было курить. Он держал блюдце бережно, словно оно было из бесценного фарфора. Доктор был человеком очень крупным и очень черным, но обладал необычайной деликатностью, он бы не смог, я уверен, дурно обойтись даже с неодушевленным предметом, даже с неподатливым стулом. Для человека профессии доктора Мажио на свете нет ничего бесцеремоннее телефона. Но когда он зазвонил во время нашего разговора, доктор так деликатно поднял трубку, словно взял руку больного, чтобы проверить пульс.

— Вы когда-нибудь слышали об императоре Кристофе? [один из вождей восстания негров на Гаити в начале XVIII в., объявивший себя впоследствии императором] — спросил меня доктор.

— Конечно.

— Те времена могут вернуться. И быть может, еще более жестокими и подлыми. Спаси нас бог от маленького Кристофа.

— Кто же себе позволит спугнуть американских туристов? Вам нужны доллары.

— Когда вы лучше нас узнаете, вы поймете, что мы здесь живем не на деньги, мы живем в долг. Всегда можно убить кредитора, но никто не убивает должников.

— Кого вы боитесь?

— Я боюсь маленького сельского врача. Вам его имя пока ничего не скажет. Надеюсь только, что вам не придется увидеть его имя написанным электрическими лампочками над городом. Если же этот день настанет, лично я, поверьте, спрячусь в первую попавшуюся нору.

Впервые пророчество доктора Мажио не сбылось. Он недооценил свое упрямство или свое мужество. В противном случае мне не пришлось бы дожидаться его возле высохшего бассейна, где бывший министр лежал неподвижно, как туша в лавке мясника.

— А Марсель? — спросил он. — Как вы думаете поступить с Марселем?

— Я еще не решил. Завтра с ним поговорю. Вы знаете, что ему принадлежит треть отеля?

— Вы забыли — я засвидетельствовал завещание.

— Мне кажется, он согласится продать свои акции. Наличных у меня нет, но я попытаюсь получить ссуду в банке.

Доктор положил крупные розовые ладони на колени своего черного парадного костюма и наклонился ко мне, словно хотел поведать какую-то тайну.

— Я советую вам поступить как раз наоборот, — сказал он. — Продайте ему ваши акции. Облегчите ему это дело, продайте их дешево. Он гаитянин и привык жить на гроши. Он выживет.

Но и тут доктор Мажио оказался плохим пророком. Он видел будущее своей родины яснее, чем судьбы своих сородичей.

Я улыбнулся:

— Ну нет! У меня своего рода слабость к этой гостинице. Вот увидите: я останусь и выживу.

Я переждал еще два дня, прежде чем заговорить с Марселем, но за это время съездил к директору банка. Последние два сезона были для Порт-о-Пренса очень удачными. Я изложил, как собираюсь поставить дело в отеле, и директор — он был европеец — не стал чинить препятствий и дал мне ссуду. Единственное, на чем он уперся, — это на сроке ее погашения.

— То есть вы требуете, чтобы я погасил ее за три года?

— Да.

— Почему?

— Видите ли, к этому времени пройдут выборы...

Я почти не видел Марселя после похорон. Бармен Жозеф приходил ко мне за распоряжениями, повар и садовник тоже обращались только ко мне; Марсель отрекся от престола без всякой борьбы, но, встречаясь с ним на лестнице, я замечал, что от него разит ромом, поэтому, позвав его для разговора, я заранее налил ему стаканчик. Он выслушал меня молча и принял все, что я предлагал, без единого слова. То, что я ему обещал, было, по гаитянским масштабам, большими деньгами, и я платил в долларах, а не в местной валюте, хотя сумма и составляла половину номинальной стоимости его акций. Для психологического эффекта я держал деньги наготове в стодолларовых купюрах.

— Вы их все-таки пересчитайте, — сказал я ему, но он сунул деньги в карман не глядя. — А теперь попрошу вас расписаться вот здесь. — И он подписал не читая.

Все обошлось как нельзя более просто. Без всяких сцен.

— Мне понадобится ваша комната, — сказал я. — С завтрашнего дня.

Может, я был с ним слишком жесток? Но отчасти это было вызвано тем, что я не совсем ловко себя чувствовал, вступая в сделку с любовником матери, и ему тоже, я думаю, было неприятно встречаться с ее сыном, человеком много старше себя. Он заговорил о ней уже перед самым уходом:

— Я сделал вид, будто не слышу звонка, но она все звонила и звонила. И я подумал — не надо ли ей чего-нибудь?

— А нужны ей были только вы?

Он сказал:

— Мне очень стыдно.

Я не мог с ним обсуждать силу плотских вожделений моей матери.

— Вы не допили ром, — сказал я.

Он осушил стакан.

— Когда она на меня сердилась, — сказал он, — или когда любила, она меня звала: «Ах ты, большой черный зверь». Вот и сейчас я кажусь себе большим черным зверем.

Он вышел из комнаты; одна ягодица у него сильно распухла от бумажек в сто долларов, а через час я увидел в окно, как он идет по дорожке со старым фибровым чемоданом в руке. У себя в комнате он оставил ярко-алую шелковую пижаму с монограммой: «М.И.»

Целую неделю после этого я ничего о нем не слышал. Я был очень занят в эти дни. Из слуг только Жозеф хорошо знал свое дело (позже он прославил мою гостиницу своими ромовыми пуншами), а наши постояльцы, слава богу, так привыкли дома к невкусной еде, что безропотно поглощали чудовищную стряпню нашего повара. Он подавал им пережаренные бифштексы и мороженое. Я питался чуть ли не одними грейпфрутами — их

трудно было испортить. Сезон подходил к концу, и я мечтал поскорее распрощаться с последним клиентом, чтобы уволить повара. Правда, где найти в Порт-о-Пренсе другого, я не знал, — хорошие повара на улице не валяются.

Как-то вечером мне захотелось отдохнуть от дел, и я отправился в казино. В те дни, до прихода к власти доктора Дювалье, туристов было столько, что в казино работали три рулетки. Из ночного кабаре внизу доносилась музыка, и время от времени, устав от танцев, какая-нибудь дама в вечернем туалете приводила своего партнера в игорный зал. На свете, по-моему, нет женщин красивее гаитянок — я видел такие лица и такие фигуры, которые в любой западной столице составили бы состояние своим обладательницам. И как всегда в казино, я чувствовал, что со мной может произойти любая неожиданность. «Невинность теряешь только раз в жизни», а я потерял свою в те зимние сумерки в Монте-Карло.

Я играл уже несколько минут, когда заметил, что за одним со мной столом сидит Марсель. Я бы перешел к другому столу, но тут я уже выиграл *en plein* [крупный выигрыш при ставке на один номер], а у меня есть примета, что если в эту ночь тебе везет за одним столом, нельзя пересаживаться, а сегодня мне явно везло — за двадцать минут я выиграл сто пятьдесят долларов. Я встретился взглядом с молодой европейской женщиной, сидевшей напротив. Она улыбнулась и стала ставить на мои номера, бросив несколько слов своему спутнику — толстяку с гигантской сигарой, который снабжал свою даму фишками, но ни разу не сыграл сам. Стол, за которым мне так везло, оказался несчастливый для Марселя. Иногда мы ставили наши фишки на один и тот же квадрат, и тогда я проигрывал. Я стал выжидать и делал ставку только после него. Женщина, заметив мой маневр, последовала моему примеру. Мы с ней словно танцевали в ногу, не дотрагиваясь друг до друга, как в малайском рон-роне. Я был доволен потому, что она казалась мне хорошенькой, и вспомнил Монте-Карло. Ну, а что касается толстяка — с этой помехой я уж как-нибудь справлюсь! Может быть, и он имеет отношение к Индокитайскому банку.

Марсель играл по какой-то нелепой системе, словно ему прискучила рулетка и он только думал, как бы ему поскорее все спустить и уйти. Заметив меня, он сгреб все оставшиеся у него фишки и поставил на нуль, который не выходил уже тридцать раз кряду. Конечно, он проиграл, как всегда проигрывают, делая последнюю, отчаянную ставку, и, отодвинув стул, встал из-за стола. Я перегнулся к нему и протянул фишку в десять долларов.

— Попытайте моего счастья, — сказал я.

Чего я хотел: унижить его, напомнить, что он был на содержании у моей матери? Теперь уже не помню, но если у меня и была такая цель, я просчитался. Он взял фишку и ответил чрезвычайно вежливо, старательно выговаривая французские слова:

— *Tout ce que j'ai eu de chance dans ma vie m'est venue de votre famille* [всем, в чем мне повезло в жизни, я обязан вашей семье (фр.)].

Он снова поставил на нуль и выпал нуль — я не последовал его примеру. Вернув мне фишку, он сказал:

— Простите. Я должен уйти. Мне очень хочется спать.

Я смотрел, как он выходит из *salle* [игорного зала (фр.)]. У него теперь фишек больше чем на триста долларов. Совесть моя чиста. И хотя он, безусловно, очень черный и очень большой, нехорошо, по-моему, было звать его зверем, как это делала мать.

Но почему-то, когда он ушел, атмосфера в *salle* стала беззаботнее. Все мы принялись играть по маленькой, для забавы, ничем не рискуя и выигрывая разве что на выпивку. Я довел свой выигрыш до трехсот пятидесяти долларов, а потом проиграл сто пятьдесят из них только для того, чтобы позлорадствовать, что проигрывается и толстяк с сигарой. После этого я бросил играть. Меняя фишки на деньги, я спросил кассира, кто эта молодая дама.

— Мадам Пинеда, — сказал он. — Она немка.

— Не люблю немцев, — разочарованно произнес я.

— Я тоже.

— А кто этот толстяк?

— Ее муж, посол. — Он назвал маленькое южноамериканское государство, но я тут же забыл какое. Когда-то я умел различать южноамериканские республики по почтовым маркам, но подарил свою коллекцию в колледже св.Пришествия мальчику, которого считал своим лучшим другом (и давно забыл, как его звали).

— Да и послы мне не очень-то нравятся, — сказал я кассиру.

— Они — неизбежное зло, — ответил он, отсчитывая мне доллары.

— Вы считаете, что зло неизбежно? Тогда вы — манихеец, как и я.

Наш богословский спор на этом закончился, потому что он не воспитывался, подобно мне, в иезуитском колледже, и к тому же нас прервал голос молодой женщины.

— Как и мужья.

— Что мужья?

— И мужья — неизбежное зло, — сказала она, кладя свои фишки на стойку.

Мы восхищаемся несвойственными нам добродетелями; меня поэтому всегда привлекала верность, и я чуть было сразу же не ушел от этой женщины навсегда. Не знаю, что меня удержало. Может быть, я угадал в ней по голосу другое качество, которое меня привлекает в людях, — отчаянность. Отчаянность и правда — родные сестры; исповеди, которую произносят с отчаяния, можно верить; и так же, как не всякому дано исповедоваться на смертном одре, отчаянные поступки могут совершать лишь немногие — вот я, например, на это не способен. А она могла — и это поднимало ее в моих глазах. Уж лучше бы я послушался своего инстинкта и ушел — тогда бы я ушел от множества терзаний. Вместо этого я подождал у дверей зала, пока она не получила своего выигрыша.

Она была одного возраста с той женщиной в Монте-Карло, но время изменило соотношение наших лет. Та женщина по годам могла быть моей матерью, теперь же я так постарел, что годился в отцы этой незнакомке. Она была смуглая, темноволосая, маленькая, нервная — я никогда бы не подумал, что это немка. Она подошла ко мне, пересчитывая деньги, чтобы скрыть смущение. Отчаянно закинув удочку, она теперь не знала, что делать с тем, что попало ей на крючок.

— Где ваш муж? — спросил я.

— В машине, — ответила она, и, выглянув за дверь, я впервые увидел «пежо» с дипломатическим номером. На переднем сиденье сидел тучный человек и курил длинную сигару. Плечи у него были широкие, квадратные. На таких плечах удобно носить плакаты. Спина была похожа на стену в конце тупика.

— Где я смогу вас увидеть?

— Здесь. Снаружи, на стоянке машин. Мне нельзя приехать к вам в гостиницу.

— Вы меня знаете?

— Я тоже умею наводить справки.

— Завтра вечером?

— В десять. Мне надо вернуться домой в час.

— Ну, а теперь он не захочет узнать, почему вы так задержались?

— У него необыкновенное терпение, — сказала она. — Без этого дипломату нельзя. Он высказывается, только если политическая ситуация для этого созрела.

— Почему же вам надо быть дома в час?

— У меня ребенок. Он всегда просыпается около часа и зовет меня. Такая у него привычка, дурная привычка, конечно. Его мучат кошмары. Мерещится, что в доме разбойники.

— У вас один ребенок?

— Да.

Она дотронулась до моего плеча, но в это время посол в машине правой рукой нажал на клаксон, дважды, но без особого нетерпения. Он даже не повернул головы, не то он бы нас

увидел.

— Вас требуют к себе, — сказал я и, впервые предъявив на нее права, обрек себя на это и дальше.

— Наверно, уже скоро час. — И она быстро заговорила: — Я знала вашу мать. Она мне нравилась. Вот это был человек. — Она пошла к машине. Муж, не поворачиваясь, открыл ей дверцу, и она села за руль; кончик его сигары светился возле ее щеки, как сигнальный фонарик на краю дороги, где идет ремонт.

Я вернулся в гостиницу; на ступеньках меня поджидал Жозеф. Он сказал, что полчаса назад явился Марсель и попросил дать ему комнату на ночь.

— Только на одну ночь?

— Он говорит, завтра уходит.

Марсель заплатил вперед — он знал цену, — велел принести в номер две бутылки рому и спросил, не могут ли ему предоставить комнату *Madame la Comtesse*.

— Надо было дать ему его прежнюю комнату. — Но тут я вспомнил, что она уже занята, туда вселился американский профессор.

Я не слишком обеспокоился. И даже был тронут. Мне было приятно, что мать так нравилась своему любовнику и женщине из казино, имя которой я забыл узнать. Может, она бы и мне понравилась, если дала бы мне для этого хоть малейшую возможность. А может, я тешил себя надеждой, что она передала мне вместе с двумя третями гостиницы и свое обаяние — это очень помогает в делах.

Я опоздал почти на полчаса, и машина с дипломатическим номером уже стояла возле казино. У меня были причины опоздать, и, по правде говоря, мне вовсе не хотелось сюда ехать. Я не обманывал себя, что влюблен в мадам Пинеда. Немного похоти и немного любопытства — вот и все, что я к ней испытывал; по дороге в город я вспомнил все, что имел против нее: она была немка; она первая завязала знакомство, она — жена посла. (В ее разговоре мне вечно будет слышаться позвякивание хрустальных подвесок люстры и бокалов.)

Она открыла мне дверцу машины:

— А я уже решила, что вы не придете.

— Простите, пожалуйста. Но за это время столько произошло...

— Раз вы пришли, нам, пожалуй, лучше отъехать подальше. Наши дипломаты съезжаются сюда ближе к полуночи, после своих банкетов.

Она дала задний ход, выбираясь со стоянки.

— Куда мы поедем? — спросил я.

— Не знаю.

— Почему вы вчера со мной заговорили?

— Не знаю.

— Вы решили воспользоваться моим везением?

— Да. Мне было интересно знать, что за сын у такой женщины, как ваша мать. Тут ведь страшная скука...

Впереди лежал порт, пока еще залитый светом прожекторов. Разгружались два грузовых судна. От них тянулась длинная цепочка фигур, согнувшихся под тяжестью мешков. Мадам Пинеда сделала полукруг и поставила машину в густую полосу тени возле белой статуи Колумба.

— Никто из наших ночью здесь не бывает, — сказала она. — А поэтому и нищие сюда не ходят.

— А как насчет полиции?

— Дипломатический номер имеет свои преимущества.

Интересно, кто из нас пользуется чужой слабостью? У меня несколько месяцев не было

женщины, а она — она явно зашла в тупик, как бывает в большинстве браков. Но меня парализовало то, что сегодня произошло, я жалел, что приехал, не мог забыть, что она немка, хотя она и была слишком молода, чтобы нести за что-нибудь вину. Нас обоих привело сюда только одно, но мы не дотрагивались друг до друга. Мы сидели, не двигаясь, и смотрели на статую, которая в свою очередь смотрела на Америку.

Я положил ей руку на колено, чтобы покончить с нелепой ситуацией. Кожа была холодная, она не носила чулок. Я спросил:

— Как вас зовут?

— Марта. — Отвечая, она повернула ко мне голову, и я неловко ее поцеловал, не дотянувшись до губ.

— Знаете, это ведь не обязательно, — сказала она. — Мы взрослые люди. — И вдруг я снова почувствовал себя в «Отель де Пари» и снова был ни на что не годен, но тут не было птицы с белыми крыльями, которая могла бы меня спасти.

— Мне просто хочется с вами поговорить, — деликатно солгала она.

— А я думал, что вам и так хватает разговоров в вашем посольстве.

— Вчера... все было бы хорошо, если бы я смогла поехать к вам в гостиницу?

— Слава богу, что вы этого не сделали. Там и так хватало неприятностей.

— Каких неприятностей?

— Лучше не спрашивайте.

И снова, чтобы скрыть свое равнодушие, я грубо ее обнял, вытащил из-за руля и посадил к себе на колени, ободрав ей ногу о радиоприемник так, что она даже вскрикнула.

— Простите.

— Ничего.

Она устроилась поудобнее, прижалась губами к моей шее, но я все равно ничего не почувствовал и спросил себя, как долго она еще будет скрывать свое разочарование, если, конечно, она его испытывает. Потом я надолго вообще о ней забыл. Я вспоминал, как в полдневную жару стучался в бывшую комнату моей матери, но никто мне не ответил. Я все стучал, думая, что Марсель мертвецки пьян и ничего не слышит.

— Расскажите, какие у вас там неприятности, — попросила она.

И вдруг меня прорвало. Я рассказал ей, как забеспокоился коридорный, а потом и Жозеф и как, не получив ответа на мой стук, я взял отмычку, но обнаружил, что дверь заперта на задвижку. Мне пришлось сорвать перегородку между двумя балконами и перелезть с одного на другой, — к счастью, постояльцы в это время отправились на пляж. Марсель повесился на люстре на своем собственном поясе; видно, у него была поистине железная воля, потому что стоило ему слегка качнуться, и он уперся бы носками в деревянные завитушки огромной кровати. Ром был выпит, только вторая бутылка не совсем до дна, а в конверт, адресованный мне, было вложено все, что осталось от трехсот долларов.

— Представляете, какая весь день была возня? И с полицией, и с постояльцами... Американский профессор вел себя прилично, но вот английская пара заявила, что пожалуется туристскому агентству. По-видимому, самоубийство сразу же снижает категорию отеля. Не слишком, как видите, удачное начало.

— Воображаю, как вас это потрясло!

— Я его не знал, и он мне был безразличен, но это меня потрясло, да, ужасно потрясло. Видимо, придется устроить в комнате молебен, позвать священника или houngan'a. Не знаю, кого лучше. И люстру придется разбить. Слуги на этом настаивают.

Разговорившись, я почувствовал облегчение, а вместе со словами проснулась и страсть. Затылок ее был прижат к моим губам, а нога закинута на радиоприемник. Она задрожала, рука ее дернулась, случайно упала на ободок руля и нажала на клаксон. Он выл, как раненый зверь или корабль, затерянный в тумане, пока дрожь у нее не прошла.

Мы сидели молча, неудобно скорчившись, словно две части механизма, которые

механик не сумел соединить. Вот тут бы нам проститься и разойтись; чем дольше мы оставались вдвоем, тем большие обязательства возлагало на нас будущее. В молчании рождается доверие, растет удовлетворение. Я вдруг понял, что ненадолго заснул, а когда проснулся, увидел, что она спит. Совместный сон чересчур связывает людей. Я взглянул на часы. До полуночи было еще далеко. Над торговыми судами грохотали подъемные краны, и длинная цепь грузчиков тянулась от парохода до складов, сторбившись под тяжестью мешков, — издали они напоминали монахов в капюшонах. У меня затекли ноги. Я пошевелился и разбудил Марту.

Она высвободилась и резко спросила:

— Который час?

— Без двадцати двенадцать.

— Мне снилось, что испортилась машина, а скоро уже час ночи.

Я почувствовал, что меня поставили на место — в промежуток времени между десятью и часом. Обидно, что так быстро просыпается ревность: я знаю Марту меньше суток, а уже злюсь, что другие имеют на нее права.

— Что случилось? — спросила она.

— Когда мы снова увидимся?

— Завтра, в то же время. Здесь. Чем это место хуже других, правда? Только бери каждый раз другое такси.

— Не могу сказать, что это идеальное ложе.

— Перейдем на заднее сиденье. Там будет хорошо, — сказала она с уверенностью, которая меня задела.

Вот так началась наша любовная связь, и так она продолжалась с небольшими изменениями: ну, например, через год она заменила свой «пежо» на более современную модель. Были случаи, когда нам удавалось обходиться без машины, — как-то ее мужа вызвали на совещание; в другой раз ее подруга помогла нам провести два дня в Кап-Аитьен, но потом подруга вернулась на родину. Иногда мне казалось, что мы больше заговорщики, связанные общим преступлением, чем любовники. И как всякие конспираторы, мы постоянно чуяли за спиной сыщиков. Одним из них был ее сын.

Я пошел на прием в посольство. В том, что меня пригласили, не было ничего удивительного — через полгода после нашего знакомства я стал полноправным членом иностранной колонии. Дела моего отеля шли довольно успешно. Правда, этот скромный успех меня не удовлетворял, я все еще мечтал о первоклассном поваре. Я познакомился с послом, когда он провожал одного из моих постояльцев — своего соотечественника — ко мне в гостиницу после приема. Он согласился выпить со мной и похвалил приготовленный Жозефом пунш — тень его длинной сигары некоторое время падала на мою веранду. Я никогда не встречал человека, который бы так злоупотреблял словом «мое». «Выкурите мою сигару», «Дайте, пожалуйста, моему шоферу что-нибудь выпить». Мы заговорили о будущих выборах. «По моему мнению, пройдет доктор. Его поддерживают американцы. Таковы мои сведения». Он пригласил меня на «мой следующий прием».

Почему он меня раздражал? Я не был влюблен в его жену. Я с ней просто жил. Или так по крайней мере я тогда думал. Уж не потому ли, что, узнав из разговора, что я воспитывался у отцов-иезуитов, он нашел во мне что-то родственное. «А я учился в колледже святого Игнатия!» — наверно, где-то в Парагвае или Уругвае, а впрочем, какая разница?

Позднее я узнал, что прием, на который меня в свое время пригласили, был второго ранга; на приемах первого ранга подавали икру, они считались сугубо дипломатическими, и туда приглашали только послов, министров и первых секретарей; на приемы третьего ранга приглашались только «по делу». Приглашение на прием второго ранга считалось лестным, потому что это было своего рода «развлечением». На них бывали богатые гаитяне с женами редкостной красоты. Для них еще не пришло время бежать из страны или с наступлением

темноты сидеть запершись дома.

Посол представил меня: «Моя жена» — снова это «моя», — и она повела меня в бар выпить.

— Завтра вечером? — спросил я, но она нахмурилась я сжала губы, показывая, чтобы я молчал, — за нами следили. Но боялась она не мужа. Он был занят, показывал «мою» коллекцию картин Ипполита одному из гостей, переходя от одного полотна к другому и давая объяснения, словно и сюжеты картин тоже принадлежали ему.

— Твой муж в этом гаме ничего не услышит.

— Разве ты не видишь, что он ловит каждое наше слово?

«Он» был не муж. Маленькое существо, не больше трех футов росту, с темными, настороженными глазами бесцеремонно пробиралось к нам, расталкивая колени гостей, словно это был его собственный подлесок. Я заметил, что он не сводит глаз со рта Марты, словно читает по губам.

— Мой сын Анхел, — представила она его; мне всегда казалось, что называть его так было богохульством.

Стоило ему к ней пробиться, он уже не отходил от нее ни на шаг и молча — он был слишком занят подслушиванием — сжимал ее руку маленькой стальной ручонкой, словно половинкой наручника. Вот тут я встретил своего настоящего соперника. Когда я ее увидел в следующий раз, она мне рассказала, что сын засыпал ее вопросами обо мне.

— Почуял что-то неладное?

— Ну что ты, он ведь маленький, ему еще нет пяти.

Прошел год, и мы научились его обманывать, но он без конца предъявлял на нее права. Я понял, что не могу без нее обойтись, но, когда я настаивал, чтобы она бросила мужа, ребенок мешал ей уйти. Она не может причинить ему горе. Она хоть сейчас уйдет от мужа, ну, как жить, если он отнимет у нее Анхела? А мне казалось, что с каждым месяцем сын все больше и больше становится похож на отца. У него появилась привычка говорить «моя» мама, и как-то раз я застал его с длинной шоколадной сигарой во рту; он все больше толстел. Отец будто создал маленького злого духа во своем образе и подобии для того, чтобы наша с Мартой связь не зашла слишком далеко, не перешла дозволенных границ.

Какое-то время мы снимали для наших свиданий комнату над лавкой одного сирийца. Лавочник — его звали Хамит — был человек надежный: это было почти сразу же после прихода Доктора к власти, и тень грядущего — зримая для всех — чернела, как туча, над Кенскоффом. Связь с иностранным посольством была выгодна для человека без подданства, — а вдруг понадобится попросить политического убежища? Тщательно осмотрев лавку, мы, к сожалению, не заметили, что в углу, за аптечными товарами, находилось несколько полок с более дорогими игрушками, чем продавали в других местах, а в бакалейном отделе — тогда еще кое-где торговали предметами роскоши — можно было найти коробку французского печенья, любимое лакомство Анхела между завтраком, обедом и ужином. Из-за него у нас произошла первая настоящая ссора.

Мы уже три раза встречались в комнате сирийца, где стояла медная кровать под лиловым шелковым покрывалом, четыре жестких стула вдоль стены и висело несколько раскрашенных семейных фотографий. Видимо, это была комната для гостей, которую держали наготове для какого-то почетного посетителя из Ливана, но он все не ехал, а теперь уже не приедет никогда. В четвертый раз я прождал Марту два часа, но она так и не появилась. Я вышел через лавку, и сириец доверительно мне сообщил:

— А мадам Пинета уже ушла. Она была со своим сынишкой.

— С сынишкой?

— Они купили игрушечный автомобиль и коробку французского печенья.

Позже Марта мне позвонила. Голос у нее был прерывистый, испуганный, и она очень торопилась.

— Я говорю с почты. Анхела оставила в машине.
— Он ест французское печенье?
— Французское печенье? Откуда ты знаешь? Дорогой, я никак не могла прийти. Когда я вошла в лавку, я застала там Анхела с нянькой. Мне пришлось сделать вид, будто я пришла покупать ему подарок за хорошее поведение.

— А он хорошо себя вел?
— Не очень. Нянька говорит, что они видели, как я выходила из лавки на прошлой неделе, — хорошо, что мы всегда выходим врозь! — Анхел захотел поглядеть, где я была, и нашел на полке свое любимое печенье.

— Французское?

— Да. Ох, он пришел за мной на почту! До вечера. На том же месте.

Послышались гудки.

И мы снова встретились у статуи Колумба в ее «пежо». В тот раз мы не обнимались. Мы ссорились. Я сказал, что Анхел избалованный мальчишка, и она это признала, но, когда я сказал, что он за ней шпионит, она разозлилась, а когда я сказал, что он становится таким же толстым, как отец, она чуть не дала мне пощечину. Я схватил ее за руку, и она закричала, что я ее ударил. Потом мы нервно расхохотались, но ссора продолжала медленно кипеть, как бульон для завтрашнего супа. Я пытался воздействовать логикой:

— Тебе надо сделать выбор. Так продолжаться не может.

— Значит, ты хочешь, чтобы мы расстались?

— Конечно, нет.

— Но я не могу жить без Анхела. Он не виноват, что я его избаловала. Я ему нужна. Я не могу калечить ему жизнь.

— Через десять лет ты ему не будешь нужна. Он начнет бегать к мамаше Катрин или спать с твоей горничной. Правда, тебя уже здесь не будет, ты переедешь куда-нибудь в Брюссель или в Люксембург, но публичные дома для него найдутся и там.

— Десять лет — долгий срок.

— И ты уже будешь пожилая женщина, а я совсем старик. Такой старик, что мне уже все будет безразлично. И ты останешься с двумя толстяками... Но зато с чистой совестью. Ее ты убережешь.

— А ты? Небось тебя разными способами будут утешать разные бабы.

В темноте, под статуей, голоса наши звучали все резче и резче. Как все подобные ссоры, эта кончилась ничем, оставив после себя только рану, которая, как всегда, быстро затянулась. В душе хватает места для множества ран, прежде чем почувствуешь, что там не осталось живого места. Я вылез из ее машины и пошел к своему «хамберу». Сев за руль, я стал выводить его на дорогу. Я говорил себе, что это — конец, игра не стоит свеч, пусть живет со своим гаденышем, у мамыши Катрин найдется много женщин покрасивее, да к тому же она немка. Проезжая мимо, я злобно крикнул, высунувшись из окошка: «Прощайте, фрау Пинеда!» И увидел, что она плачет, согнувшись над рулем. Мне надо было хоть раз с нею проститься, чтобы понять, что я без нее не могу жить.

Когда я снова сел рядом с ней, она уже успокоилась.

— Сегодня у нас ничего не выйдет, — сказала она.

— Наверно.

— Мы увидимся завтра?

— Да.

— Здесь? Как всегда?

— Да.

— Я тебе кое-что хотела сказать. У меня для тебя есть сюрприз. То, о чем ты давно мечтаешь.

На секунду я подумал, что она решила уступить я пообещает бросить мужа и ребенка. Я

обнял ее, чтобы поддержать в такой переломный момент жизни.

— Тебе ведь очень нужен хороший повар? — спросила она.

— Ну да... Да. В общем, да.

— У нас замечательный повар, а он уходит. Я нарочно устроила скандал, и его уволили. Так что бери его себе. Если хочешь. — Кажется, она снова обиделась, что я молчу. — Ну, видишь, как я тебя люблю? Муж будет в бешенстве. Он говорит, что Андре — единственный повар в Порт-о-Пренсе, который умеет готовить настоящее суфле.

Я едва удержался, чтобы не спросить: «А как же Анхел? Он ведь тоже любит поесть?» Вместо этого я сказал:

— Ты мне сделала царский подарок. Теперь я богач.

И это было недалеко от истины: суфле «Трианона» гремело в Порт-о-Пренсе, пока не начался террор, не уехала американская миссия, не выслали британского посла, а нунций не остался в Риме; пока комендантский чае не создал между мной и Мартой преграду непреодолимей всякой ссоры, и пока, наконец, и я не улетел на последнем самолете «Дельта» в Новый Орлеан. Жозеф ушел едва живой после допроса у тонтон-макутов, и я перепугался. Я был уверен, что они добираются до меня. Наверно, толстяк Грасиа — глава тонтон-макутов — хочет заграбастать мой отель. Даже Пьер Малыш больше не заглядывал ко мне угоститься ромовым пуншем. Целые недели я проводил в обществе изувеченного Жозефа, повара, горничной и садовника. Гостиница нуждалась в ремонте и покраске, но какой толк было тратиться без всякой надежды на постояльцев. Только в номере-люкс «Джон Барримор» поддерживался порядок, словно в семейном склепе.

Теперь наша любовная связь уже не спасала нас от страха и скуки. Телефон перестал работать, он стоял у меня на столе как памятник лучших времен. С установлением комендантского часа мы не могли больше видаться ночью, а днем постоянно мешал Анхел. Мне казалось, что я спасаюсь не только от политики, но и от любви, когда, прождав десять часов в полицейском участке, где пронзительно воняло мочой, а полицейские с довольной ухмылкой возвращались из камер, я наконец получил выездную визу. Я помню там священника в белой сутане, он просидел весь день, читая свой требник, с железным, невозмутимым терпением. Его так и не вызвали. Над его головой на бурой стене были приколоты снимки мертвого мятежника Барбо и его товарищей, которых месяц назад расстреляли из пулемета в хижине на краю города. Когда полицейский сержант выдал в конце концов мне визу, сунув ее через стойку, как корку хлеба нищему, священнику сказали, что участок закрывается до утра. Он, конечно, назавтра пришел снова. В участке можно было читать требник не хуже, чем в другом месте, — все равно никто не осмеливался к нему подойти после того, как архиепископа выслали, а президента отлучили от церкви.

Как приятно покинуть этот город, подумал я, глядя на него сквозь вольную прозрачную голубизну с самолета, нырявшего в грозовые тучи, которые, как всегда, покрывали вершину Кенскоффа. Порт казался крошечным по сравнению со складчатой пустыней, расстилавшейся за ним, и высохшими, необжитыми горами, которые в мареве тянулись к Кап-Аитьену и доминиканской границе и напоминали сломанный хребет какого-то ископаемого зверя.

Я верил, что непременно найду какого-нибудь готового рискнуть человека, он купит мой отель, и я снова буду свободен и независим, как в тот день, когда приехал в Петсионвиль и увидел мать в ее огромной бордельной кровати. «Как я счастлив, что уезжаю», — шептал я черным горам, крутившимся где-то внизу, и весело улыбался изящной американочке-стюардессе, которая подала мне виски, и пилоту, доложившему пассажирам о ходе самолета. Только через месяц я вдруг проснулся в своей нью-йоркской комнате с кондиционированным воздухом на Западной 44-й улице и почувствовал себя несчастным; мне приснилось сплетение рук и ног в машине «пежо» и статуя со взглядом, устремленным за море. Тогда я понял, что рано иди поздно, но я туда вернусь, пусть только кончится мое упрямство и не

выгорит затея с продажей гостиницы, — потому что корка хлеба, съеденная в страхе, все же лучше, чем ничего.

4

Доктор Мажио долго сидел на корточках над телом бывшего министра. В тени, отбрасываемой моим фонарем, он был похож на колдуна, заклинающего смерть. Я не решался прервать колдовство, но, боясь, что в башне проснутся Смиты, все же нарушил молчание:

— Неужели они скажут, что это не было самоубийством?

— Они могут сказать что угодно, — ответил он. — Не стоит себя обманывать. — Доктор стал освобождать левый карман министра, тот лежал на правом боку. — А ведь он был лучше других, — сказал доктор, тщательно просматривая каждый клочок бумаги, близко поднося их к глазам в больших выпуклых очках, которые надевал только для чтения, словно кассир, проверяющий, не всучили ли ему фальшивую купюру. — Мы вместе проходили в Париже курс анатомии. Но в те дни даже Папа-Док был приличным человеком. Я помню Дювалье в двадцатые годы во время тифозной эпидемии...

— Чего вы ищете?

— Всего, что может навести на ваш след. Про этот остров очень точно сказано в католической молитве: «Дьявол — как лев рыкающий, ищет, кого бы ему пожрать».

— Вас он не пожрал.

— Дайте срок. — Он положил в карман записную книжку. — У нас сейчас нет времени в этом разбираться. — Он перевернул тело на другой бок. Его трудно было ворочать даже доктору Мажио. — Я рад, что ваша мать умерла вовремя. Ей и так досталось в жизни. Человеку на его век хватит одного Гитлера. — Мы разговаривали шепотом, чтобы не разбудить Смитов. — Заячья лапка, — сказал он. — На счастье. — И сунул ее обратно в карман. — А вот что-то тяжелое. — Он вынул мое медное пресс-папье в виде гроба с надписью: «R.I.P.» — Не подозревал, что у него было чувство юмора.

— Это мое. Видно, он взял его у меня в кабинете.

— Положите его обратно.

— Послать Жозефа за полицией?

— Ни в коем случае. Тело нельзя оставить здесь.

— Вряд ли они могут обвинить меня в том, что он покончил с собой.

— Они могут обвинить вас в том, что он спрятался в вашем доме.

— Почему он это сделал? Я его совсем не знал. Как-то раз видел на приеме, только и всего.

— Посольства тщательно охраняются. Он, видимо, верил в вашу английскую поговорку: «Дом англичанина — его крепость». Надеяться ему было не на что, и он искал спасения в поговорке.

— Черт знает что — приезжаешь домой, и в первую же ночь такая напасть.

— Да, неприятно. Еще Чехов писал, что самоубийство — нежелательное явление.

Доктор Мажио поднялся и поглядел на труп. У цветных высоко развито умение вести себя как подобает в данных обстоятельствах; даже западное воспитание не сумело в них это вытравить — оно только видоизменило формы. И если прадед доктора Мажио громко причитал посреди двора, где жили рабы, обратив лицо к бессловесным звездам, доктор Мажио произнес короткую, выразительную речь над покойником.

— Как бы ни был велик страх перед жизнью, самоубийство — все равно мужественный поступок, продуманное действие математически мыслящего человека. Самоубийца все рассчитал по законам теории вероятности; он знает, сколько шансов за то, что жить будет мучительнее, чем умереть. Математический расчет у него сильнее чувства самосохранения. Но представьте себе, как взывает к нему это чувство самосохранения в последнюю минуту, какие отнюдь не научные доводы оно ему подсказывает!

— Мне казалось, что вы, католик, должны бы осудить...

— Вы напрасно подходите к этому самоубийству с точки зрения религии. Религия тут ни при чем. Бедняга нарушал все божеские законы. Ел в пятницу скоромное. Его чувство самосохранения не выдвинуло в качестве довода против самоубийства божественную заповедь. — Он помолчал. — Вам придется спуститься и взять его за ноги. Надо его отсюда убрать.

Лекция была окончена, надгробное слово произнесено.

У меня стало легче на душе, когда я почувствовал себя в больших, сильных руках доктора Мажио. Я, словно больной, который хочет выздороветь, безропотно подчинялся строгому режиму, предписанному врачом. Мы вытащили министра социального благоденствия из бассейна и вынесли его на дорогу, где стояла машина доктора Мажио с выключенными фарами.

— Когда вы вернетесь, — сказал он, — пустите воду, надо смыть кровь.

— Я, конечно, пушу, только пойдет ли вода...

Мы посадили министра на заднее сиденье. В детективных романах труп легко выдают за пьяного, но этот мертвец был явно мертв; кровь, правда, уже перестала течь, но стоило заглянуть в машину, и сразу бросалась в глаза ужасная рана. К счастью, никто не отважился выйти ночью на дорогу; в этот час орудовали одни упыри или тонтон-макуты. Те-то уж наверняка не сидели дома: мы услышали шум их машины — никто другой не решился бы так поздно ездить — прежде, чем успели свернуть на шоссе. Мы погасили фары и стали ждать. Их машина медленно шла из столицы в гору; нам была слышна громкая перебранка, заглушавшая скрежет коробки скоростей. На слух машина была старая и вряд ли могла взять крутой подъем к Петионвиллю. Что мы будем делать, если она выдохнется как раз у поворота к гостинице? Их люди, несмотря на поздний час, несомненно, заявятся к нам за помощью и бесплатной выпивкой. Нам показалось, что мы ждали очень долго, пока машина наконец не проехала мимо и шум не затих. Я спросил доктора:

— Куда мы его денем?

— Нам нельзя отъезжать слишком далеко ни вверх, ни вниз, — сказал он, — а то напоремся на заставу. Это дорога на север, и милиция тут не смеет спать, боится проверки. Тонтон-макуты скорее всего и поехали проверять посты. Если машина не сломается, они доберутся до заставы у Кенскоффа.

— Вам ведь тоже пришлось ехать сюда через заставу. Как же вы объяснили?..

— Сказал, что еду к больной, роженице. Случай обычный, и, если мне повезет, о нем вряд ли донесут начальству.

— А если все же донесут?

— Скажу, что не мог разыскать хижину.

Мы выехали на шоссе. Доктор Мажио снова включил фары.

— Если нас все-таки увидят, — сказал он, — то наверняка примут за тонтон-макутов.

Выбор у нас был ограниченный — что в ту, что в другую сторону дорогу перегораживали заставы. Мы проехали метров двести в гору.

— Это им покажет, что он миновал «Трианон», а значит, туда и не собирался... — сказал доктор Мажио, свернув во второй переулочек слева.

Кругом стояли небольшие домики и заброшенные сады. В прежние времена тут селились люди честолобивые, но не особенно зажиточные: они жили на дороге в Петионвиль, правда, так до него и не добравшись, — адвокат, не гнушавшийся сомнительными делами; астролог-неудачник; врач, у которого любовь к рому была сильнее интереса к пациентам. Доктор Мажио точно знал, кто из них еще живет здесь, а кто сбежал, чтобы не платить принудительных поборов, которые тонтон-макуты собирали по ночам на строительство нового города — Дювальевиля. Я сам пожертвовал сто гурдов. На мой взгляд, все эти домики и сады были одинаково неухоженными и нежилыми.

— Сюда, — распорядился доктор.

Он отъехал несколько метров от дороги. Мы не могли выключить фары, потому что руки были заняты и некому посветить фонариком. Свет упал на сломанную вывеску, где осталось только: «...пон. Ваше будущее...»

— Ага, значит, владелец уехал, — сказал я.

— Он умер.

— Естественной смертью?

— Насильственная смерть здесь стала естественной. Он пал жертвой своего окружения.

Мы вытащили труп доктора Филипо из машины и отнесли за разросшиеся кусты бугенвилеи, чтобы его не было видно с дороги. Доктор Мажио обернул правую руку носовым платком и вынул из кармана мертвеца небольшой кухонный нож. Он оказался зорче меня там, у бассейна. Он положил нож в нескольких сантиметрах от левой руки министра.

— Доктор Филипо был левша, — пояснил он.

— Откуда вы все знаете?

— Я же вам говорил, что мы вместе изучали анатомию. Не забудьте купить другой кухонный нож.

— У него была семья?

— Жена и мальчик лет шести. Он, видно, решил, что для них будет безопаснее, если он покончит самоубийством.

Мы сели в машину и опять выехали на шоссе. У поворота к гостинице я вылез.

— Теперь все зависит от слуг, — сказал я.

— Они побоятся болтать, — сказал доктор. — Свидетель тут может пострадать не меньше обвиняемого.

Мистер и миссис Смит спустились на веранду завтракать. Я чуть не в первый раз увидел его без перекинутого через руку пледа. Оба хорошо выспались и с аппетитом ели грейпфрут, гренки и джем; я боялся, что они потребуют какой-нибудь чудной напиток с названием, придуманным рекламной фирмой, но они согласились выпить кофе и даже похвалили его.

— Я только раз проснулся за всю ночь, — сказал мистер Смит, — и мне показалось, что я слышу голоса. Не приезжал ли мистер Джонс?

— Нет.

— Странно. На прощание он мне сказал в таможне: «До встречи вечером у мистера Брауна».

— Его, наверно, сманили в другой отель.

— Я мечтала окунуться до завтрака, — сказала миссис Смит, — но Жозеф убирал бассейн. Он у вас, я вижу, на все руки мастер.

— Да. Цены ему нет. Бассейн скоро будет в порядке, и вы до обеда сможете выкупаться.

— А где нищий? — спросил мистер Смит.

— Ну, он убрался еще до рассвета.

— Надеюсь, не на пустой желудок?

Он улыбнулся мне, словно говоря: «Я шучу. Ведь знаю, вы человек добрый».

— Жозеф, наверно, о нем позаботился.

Мистер Смит взял еще гренки.

— Я считаю, что нам с миссис Смит сегодня надо заехать в посольство.

— Вот это будет разумно.

— По-моему, этого требует просто вежливость. А потом я, пожалуй, завезу рекомендательное письмо министру социального благоденствия.

— На вашем месте я бы спросил в посольстве, не было ли тут каких-нибудь перемен. Если, конечно, письмо адресовано кому-то персонально.

— По-моему, некоему доктору Филипо.

— Тогда я непременно навел бы справки. Здесь то и дело перемены.

— Но его преемник, надеюсь, не откажется со мной побеседовать? Мне кажется, что мое предложение должно заинтересовать любого министра, который печется о здоровье своих граждан.

— Вы меня еще не посвятили в ваши замыслы...

— Я приехал сюда как представитель... — начал мистер Смит.

— Вегетарианцев Америки, — договорила миссис Смит. — Настоящих вегетарианцев.

— А разве есть ненастоящие?

— Конечно. Есть даже такие, которые едят насиженные яйца.

— На протяжении всей истории человечества еретики и сектанты всегда подрывали единство великих общественных движений, — грустно сказал мистер Смит.

— А что собираются предпринять здесь вегетарианцы?

— Не считая бесплатного распространения литературы — в переводе, конечно, на французский язык, — мы собираемся Открыть в самом сердце столицы вегетарианский центр.

— Сердце столицы — это ее трущобы.

— Ну, тогда в каком-нибудь другом подходящем месте. Мы хотим, чтобы президент и кое-кто из его министров присутствовали на торжественном открытии и попробовали первый вегетарианский обед, чтобы подать пример народу.

— Но президент боится высунуть нос из дворца.

Мистер Смит вежливо посмеялся над моими словами — они ему показались забавной гиперболой.

— Ну, от мистера Брауна ты поддержки не жди, — сказала миссис Смит. — Он ведь не из наших.

— Ладно, детка, не сердись. Мистер Браун просто пошутил. Пожалуй, после завтрака я все же позвоню в посольство.

— Телефон не работает. Но я могу послать Жозефа с запиской.

— Нет-нет, тогда мы возьмем такси. Если вы его для нас закажете.

— Я пошлю Жозефа, он приведет такси.

— Вот уж, верно, мастер на все руки, — сказала миссис Смит с осуждением, словно я был рабовладельцем с Юга.

Тут я заметил, что по аллее к нам направляется Пьер Малыш, и пошел ему навстречу.

— Приветствую вас, мистер Браун! — воскликнул он. — С добрым утром! — Он помахал местной газетой. — Посмотрите, что я о вас написал. Как ваши гости? Надеюсь, хорошо спали? — Он поднялся по ступенькам, поклонился сидевшим за столиком Смитам и глубоко вдохнул пропитанный душистым запахом цветов воздух Порт-о-Пренса, словно попал сюда впервые. — Ну что за вид! Деревья, цветы, бухта, дворец... — Он захихикал. — «Издавека все выглядит милей», как сказал Вильям Вордсворт!..

Я не сомневался, что Пьер Малыш явился сюда не ради красивого вида; он вряд ли пришел бы в такой ранний час и для того, чтобы его угостили ромом. Очевидно, он хотел выудить из нас какие-то сведения или, наоборот, сообщить их нам. Его веселый вид отнюдь не означал, что они были приятные. Пьер Малыш всегда был весел. Казалось, он бросил монетку и загадал, какую из двух жизненных позиций, возможных в Порт-о-Пренсе, ему выбрать: разумную или безрассудную, мрачную или веселую; выпала решка — голова Папы-Дока шмякнулась оземь, и Пьер Малыш был с тех пор отчаянно весел.

— Дайте взглянуть, что вы там написали, — сказал я.

Я развернул газету, нашел светскую хронику — она всегда помещалась на четвертой полосе — и прочел, что среди множества именитых гостей, прибывших вчера в нашу страну на пароходе «Медая», находился почтенный мистер Смит, чуть было не победивший мистера

Трумэна на президентских выборах в 1948 году. Его сопровождает приветливая, элегантная супруга, которая при более счастливых обстоятельствах стала бы первой дамой Америки и украшением Белого дома. Среди пассажиров был и пользующийся всеобщей любовью хозяин здешнего интеллектуального центра, отеля «Трианон», который вернулся из деловой поездки в Нью-Йорк... Потом я просмотрел первые полосы. Министр просвещения излагал шестилетний план ликвидации неграмотности на севере — почему именно на севере? Никаких подробностей не давалось. Быть может, он рассчитывал на ураган. В 1954 году ураган «Хэйзел» успешно ликвидировал неграмотность в глубине страны — число погибших так и не было обнародовано. В небольшой заметке сообщалось, что группа повстанцев перешла доминиканскую границу; их отогнали, взяв двух пленных, вооруженных американскими автоматами. Если бы президент не поссорился с американской миссией, оружие наверняка оказалось бы чешским или кубинским.

— Ходят слухи, что у нас новый министр социального благоденствия, — сказал я.

— Разве можно верить слухам? — ответил Пьер Малыш.

— Мистер Смит привез рекомендательное письмо к доктору Филипо. Я не хочу, чтобы он допустил оплошность.

— Пожалуй, ему лучше несколько дней обождать. Я слышал, что доктор Филипо в Кап-Аитьене или где-то на севере.

— Там, где идут бои?

— Сомневаюсь, чтобы где-нибудь шли серьезные бои.

— А что за личность этот доктор Филипо?

Меня разбирало любопытство, хотелось побольше узнать о человеке, с которым я теперь был вроде как в дальнем родстве, раз он умер у меня в бассейне.

— Очень невыдержанная личность, и в этом его беда, — сказал Пьер Малыш.

Я сложил газету и вернул ее.

— Я заметил, что вы не упомянули о приезде нашего друга Джонса.

— Ах да, Джонса! Кто он, в сущности, этот майор Джонс? — И тут я понял, что он пришел не за тем, чтобы сообщить нам сведения, а чтобы выудить их у нас.

— Наш попутчик. Вот и все, что я о нем знаю.

— Он утверждает, будто он — друг мистера Смита.

— Значит, так оно, наверно, и есть.

Пьер Малыш незаметно отвел меня за угол веранды, где нас не могли видеть Смиты. Его белые манжеты далеко высывались из рукавов пиджака, прикрывая черные руки.

— Если вы будете со мной откровенны, — сказал он, — я, пожалуй, смогу вам кое-чем помочь.

— Откровенен в чем?

— В отношении майора Джонса.

— Лучше не зовите его майором. Ему это как-то не подходит.

— Значит, вы думаете, что он скорее всего не...

— Я ничего о нем не знаю. Ровно ничего.

— Он хотел поселиться у вас в гостинице.

— По-видимому, он нашел другое место.

— Да. В полиции.

— Но за что?..

— По-моему, они обнаружили что-то недозволенное у него в багаже. Не знаю, что именно.

— А британское посольство об этом извещено?

— Нет. И не думаю, чтобы они могли ему помочь. В такие истории предпочитают не вмешиваться. Пока с ним обращаются прилично.

— Что вы посоветуете, Пьер Малыш?

— Возможно, тут какое-то недоразумение, однако, как всегда, это вопрос amour-propre [самолюбия (фр.)]. У начальника полиции болезненное amour-propre. Если бы мистер Смит поговорил с доктором Филипо, доктор Филипо, может, и согласился бы поговорить с министром внутренних дел. Тогда майор Джонс мог бы отделаться штрафом за нарушение каких-то формальностей.

— А что он нарушил?

— Ваш вопрос сам по себе чистая формальность.

— Но вы же только что мне сказали, что доктор Филипо уехал на север?

— Верно. А может, мистеру Смит лучше повидаться с министром иностранных дел. — Он гордо помахал газетой. — Министр теперь знает, какая мистер Смит персона, он наверняка читал мою статью.

— Я сейчас же поеду к нашему поверенному в делах.

— Неверный ход, — сказал Пьер Малыш. — Задеть национальную гордость опаснее, чем самолюбие начальника полиции. Правительство Гаити не признает протестов иностранных держав.

Почти тот же совет дал мне чуть попозже наш поверенный в делах. Это был человек с впалой грудью и тонкими чертами лица, при первом знакомстве он напомнил мне Роберта Луиса Стивенсона. Он говорил с запинкой и как бы посмеиваясь над своим невезением, но сделала его таким жизнь в Гаити, а отнюдь не происки туберкулеза. Он обладал иронией и мужеством человека, привыкшего к неудачам. Например, у него в кармане всегда лежали черные очки; он надевал их при виде тонтон-макутов, которые носили черные очки для устрашения, вместо мундира. Он собирал библиотеку по флоре Карибского побережья, но отсылал почти все книги, кроме самых обиходных, на родину, так же как отослал своих детей, зная, что посольство каждый день могут облить бензином и поджечь.

Он выслушал мой рассказ о злоключениях Джонса, не перебивая и не выказывая нетерпения. Я уверен, что он также не удивился бы, если б я ему рассказал о смерти министра социального благоденствия в моем бассейне для плавания и о том, как я распорядился его трупом, однако, мне кажется, в душе он был бы мне благодарен за то, что я не прибег к его помощи. Когда я кончил, он сказал:

— Я получил из Лондона телеграмму насчет Джонса.

— Капитан «Медеи» тоже получил запрос от владельцев пароходной компании из Филадельфии. Но в ней не было ничего определенного.

— Да и моя телеграмма, пожалуй, только предостережение. Мне советуют не оказывать ему особого содействия. Подозреваю, что он надул какое-то наше консульство.

— Тем не менее английский подданный — в тюрьме...

— О да, согласен, это уж чересчур. Не надо только забывать, что даже у этих сволочей могут быть свои причины... Официально я буду предпринимать шаги, но со всяческой осторожностью, как мне предложено в телеграмме. Прежде всего потребую произвести расследование по всем правилам. — Он протянул руку к письменному столу и рассмеялся. — Никак не отучусь хвататься за телефонную трубку.

Он был идеальный зритель — зритель, о котором каждый актер может только мечтать, умный, внимательный, насмешливый и в меру критический. Это была наука, которой он овладел, посмотрев множество хороших и плохих представлений заурядных пьес. Не знаю, почему я вспомнил вопрос, который задала мне перед смертью мать: «Какую роль ты сейчас играешь?» Наверно, я и сейчас играл роль — роль англичанина, озабоченного судьбой соотечественника, роль солидного дельца, который знает свой долг и пришел посоветоваться с представителем своего монарха. На это время я забыл сплетение тел в «пежо». Поверенный, безусловно, осудил бы меня за то, что я наставляю рога члену дипломатического корпуса. Подобные выходки относятся к жанру фарса.

— Мои запросы вряд ли принесут пользу, — сказал он. — Министр внутренних дел

заявит, что дело находится в руках полиции. И скорее всего, прочтет мне лекцию о разделении законодательных и исполнительных функций. Я вам когда-нибудь рассказывал про своего повара? Это было в ваше отсутствие. Я давал обед своим коллегам, и повар вдруг исчез. Он ничего не успел купить. Его схватили на улице, по дороге на рынок. Жене пришлось подать консервы, которые мы держим на аварийный случай. Вашему сеньору Пинеда не понравилось суфле из консервированной лосося. — Почему он сказал «вашему» сеньору Пинеда? — Позже я выяснил, что повар сидит в полиции. Его выпустили на следующий день, когда обед был уже позади. В полиции его допрашивали, кто ко мне ходит. Я, естественно, заявил протест министру внутренних дел, сказал, что надо было меня предупредить и я охотно отпустил бы повара в полицию в удобное для меня время. Министр на это ответил, что он гаитянин и поэтому может поступать с другим гаитянином, как ему заблагорассудится.

— Но Джонс — англичанин.

— Видимо, да, и все же я сомневаюсь, чтобы наше правительство в нынешнее время послало сюда фрегат для восстановления справедливости. Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, но, по-моему, Пьер Малыш дал вам резонный совет. Испробуйте прежде другие пути. Если у вас ничего не выйдет, завтра же утром я заявлю протест. Мне почему-то кажется, что майор Джонс не первый раз попадает в полицию. Не стоит преувеличивать этого события.

Я почувствовал себя как актер, играющий короля в сцене «мышеловки», которого Гамлет упрекает в том, что он переигрывает.

Когда я вернулся в отель, бассейн был полон; садовник с деловым видом вылавливал оттуда граблями опавшие листья; из кухни доносился голос повара — все было почти как раньше. У меня даже были постояльцы — в бассейне, стараясь увильнуть от граблей садовника, плавал мистер Смит в темно-серых нейлоновых трусах, которые пузырились сзади, напоминая гигантские окорока доисторического животного. Он медленно плавал брассом, ритмично выдыхая ртом воздух. Увидев меня, он встал в воде, как некое мифологическое существо. Грудь его покрывали длинные седые пряди.

Я сел возле бассейна и крикнул Жозефу, чтобы он подал нам ромовый пунш и кока-колу. Мне стало не по себе, когда мистер Смит поплыл в глубокую часть бассейна, — слишком уж близко он был от того места, где умер министр социального благоденствия. Я вспомнил Холируд и несмываемое пятно крови Риччио. Мистер Смит отряхнулся и сел со мной рядом. Миссис Смит появилась на балконе номера «Джон Барримор» и крикнула ему вниз:

— Оботрись, голубчик, хорошенько, как бы тебе не простудиться.

— Солнышко меня сразу высушит! — крикнул в ответ мистер Смит.

— Накинь полотенце на плечи, а то сторишь.

Мистер Смит покорно накинул полотенце.

— Мистера Джонса арестовали, — сказал я.

— Господи! Не может быть! Что же он такого сделал?

— А это вовсе не означает, что он что-то сделал.

— Он уже виделся с адвокатом?

— Тут это невозможно. Полиция не разрешит.

Мистер Смит смерил меня суровым взглядом.

— Полиция всюду одинакова. Такие вещи зачастую бывают и у нас на Юге, — пояснил он. — Цветных сажают в тюрьму, отказывают им в защитнике. Но от этого не легче.

— Я был в посольстве. Они думают, что вряд ли смогут помочь.

— Вот это уже безобразие! — воскликнул мистер Смит.

Его больше возмутило отношение посольства, чем самый арест Джонса.

— Пьер Малыш считает, что сейчас лучше всего вступить к вам и, может, даже обратиться к министру иностранных дел.

— Я сделаю для мистера Джонса все, что смогу. Тут явно произошла ошибка. Но почему он думает, что я могу оказать какое-то влияние?

— Вы — бывший кандидат в президенты, — сказал я, и тут Жозеф принес нам бокалы.

— Я сделаю все, что смогу, — повторил мистер Смит, невесело глядя в бокал с кока-колой. — Я очень расположен к мистеру Джонсу. (Не знаю почему, но я никак не могу заставить себя называть его майором — хотя ведь даже в армии бывают порядочные люди!) В нем, как мне кажется, заложены лучшие черты английского характера. Нет! Тут явно произошла глупейшая ошибка.

— Мне не хотелось бы навлекать на вас неприятности с властями.

— Я не боюсь неприятностей ни с какими властями, — заявил мистер Смит.

Министерство иностранных дел помещалось в одном из выставочных павильонов недалеко от порта и статуи Колумба. Мы проехали мимо музыкального фонтана, который теперь никогда не играл, мимо городского парка, над которым красовалось изречение, достойное Бурбонов; «Je suis le Drapeau Haitien, Uni et Indivisible. Francois Duvalier», — и затормозили возле длинного современного здания из стекла и бетона с широкой лестницей и большой приемной с удобными креслами, украшенной фресками гаитянских художников. Все это так же не имело никакого отношения к нищим на площади у почты и к трущобам, как и дворец Кристофа, — правда, из этого здания не выйдет таких живописных руин.

В приемной сидело десятка полтора тучных, зажиточных буржуа. Женщины в нарядных платьях ядовито-голубого и пронзительно-зеленого цвета оживленно болтали, словно за утренним кофе, настороженно оглядывая каждого нового посетителя. Даже просители и те держали себя с важностью в этой приемной, где слышался ленивый перестук пишущих машинок. Минут через десять после нашего приезда мимо нас с гордым сознанием своего дипломатического превосходства тяжелой поступью проследовал сеньор Пинеда. Он курил длинную сигару, глядя прямо перед собой, и, не спросив разрешения, вошел в одну из дверей, ведущих на внутреннюю террасу.

— Там кабинет министра, — объяснил я. — Южноамериканские послы пока еще *persona grata* [желательное лицо (лат.); дипломатический представитель, приемлемый для правительства данного государства]. Особенно Пинеда. У него в посольстве нет политических беженцев. Пока еще.

Мы прождали три четверти часа, но мистер Смит не проявлял нетерпения.

— Кажется, дело у них неплохо поставлено, — сказал он, когда после краткого разговора с чиновником двое просителей удалились. — Время министра надо беречь.

Наконец через приемную снова проследовал Пинеда, по-прежнему куря сигару, но уже новую. На ней красовалась бумажная ленточка — он их никогда не снимал, потому что там были обозначены его инициалы. На этот раз он удостоил меня поклоном, мне показалось, что он сейчас остановится и заговорит; его поклон привлек к нам внимание молодого человека, провожавшего его до лестницы; вернувшись, он любезно спросил, что нам угодно.

— Видеть министра, — сказал я.

— Министр очень занят, он совещается с иностранными послами. Ему надо обсудить ряд вопросов, он завтра летит на сессию ООН.

— Тем более он должен немедленно принять мистера Смита.

— Мистера Смита?

— Вы разве не читали сегодняшней газеты?

— Мы были очень заняты.

— Мистер Смит приехал вчера. Он — кандидат в президенты.

— Кандидат в президенты? — недоверчиво переспросил молодой человек. — В Гаити?

— У него здесь дела, но он может изложить их только самому президенту. А сейчас он хотел бы повидать министра до его отъезда в Нью-Йорк.

— Попрошу вас минуточку обождать. — Молодой человек прошел в одну из комнат, выходящих во внутренний двор, и сейчас же выбежал оттуда с газетой в руках. Постучав в дверь кабинета министра, он исчез за ней.

— Вы же знаете, мистер Браун, что я больше не кандидат в президенты. Мы бросили вызов в первый и последний раз.

— Не стоит объяснять всего этого здесь, мистер Смит. В конце концов, вы же вошли в историю! — Взглянув в его бледно-голубые честные глаза, я понял, что, пожалуй, далеко зашел. Тогда я добавил: — Вызов, брошенный вами, был адресован всем. — Я не стал уточнять, кому именно он был адресован. — Он не потерял своей силы и теперь.

Возле нас снова возник молодой чиновник, теперь уже без газеты.

— Если вам будет угодно, пройдемте со мной.

Министр иностранных дел приветливо сверкнул нам зубами. Я заметил, что на краю его стола лежит газета. Ладонь, которую он нам протянул, была большая, квадратная, розовая и влажная. Он объяснил на прекрасном английском языке, что его очень заинтересовало сообщение о приезде мистера Смита, но что он уже не надеялся иметь честь его видеть, поскольку завтра отбывает в Нью-Йорк... Американское посольство его не известило, не то он, конечно, перестроил бы свое расписание...

— Поскольку президент Соединенных Штатов, — сказал я, — счел нужным отозвать своего посла, мистер Смит предпочел нанести визит неофициально.

Министр сказал, что эти соображения ему понятны. И добавил, обращаясь к мистеру Смигу:

— Насколько мне известно, вы собираетесь посетить президента?..

— Мистер Смит еще не испрашивал у него аудиенции. Ему очень хотелось повидать сначала вас, до того как вы отбудете в Нью-Йорк.

— Я вынужден заявить протест в Организации Объединенных Наций, — гордо заявил министр. — Не желаете ли сигару, мистер Смит? — Он протянул кожаный портсигар, и мистер Смит взял сигару. Я заметил на бумажной ленточке инициалы сеньора Пинеда.

— Протест? — спросил мистер Смит.

— Против налетов из Доминиканской Республики. Мятежников снабжают американским оружием. У нас есть доказательства.

— Какие доказательства?

— Мы захватили двоих пленных с револьверами американского образца.

— Но ведь их, к сожалению, можно купить в любом месте земного шара.

— Мне обещана поддержка Ганы. И я надеюсь, что другие афро-азиатские страны...

— Мистер Смит пришел к вам совсем по другому вопросу, — прервал я обоих. — Его большой друг, который ехал вместе с ним, вчера был арестован полицией.

— Американец?

— Англичанин по фамилии Джонс.

— А британское посольство уже сделало запрос? Ведь, в сущности, это больше по ведомству министерства внутренних дел.

— Но одно слово вашего превосходительства...

— Я не могу вмешиваться в дела другого ведомства. От души сожалею, но мистер Смит должен меня понять.

Мистер Смит вторгся в наш диалог так резко, как я от него не ожидал:

— Но разве вы не можете выяснить, какое ему предъявлено обвинение?

— Обвинение?

— Да, обвинение.

— Ах, обвинение...

— Вот именно, — сказал мистер Смит. — Какое ему предъявлено обвинение?

— Но ему могут и не предъявить никакого обвинения. Зачем ожидать худшего?

— А зачем же тогда держать его в тюрьме?
— Я не в курсе этого дела. Вероятно, властям надо в чем-то разобраться.
— Тогда надо вызвать его в суд и отпустить на поруки. Я готов внести за него залог, если сумма будет приемлемой.

— На поруки? — переспросил министр. — На поруки... — Он обратился ко мне, умоляюще взмахнув сигарой. — А что такое — внести залог?

— Это своего рода ссуда государству на случай, если заключенный сбежит от суда. Сумма может быть довольно солидная, — пояснил я.

— Надеюсь, вы слышали о Habeas Corpus? [английский закон, предоставляющий заинтересованным лицам право просить о доставке в суд заключенного для проверки мотивов лишения свободы] — сказал мистер Смит.

— Да. Да. Конечно. Но я забыл латынь. Вергилий. Гомер. Увы, нет времени освежать свои знания.

Я сказал мистеру Смит:

— Считается, что в основу здешнего законодательства положен кодекс Наполеона.

— Кодекс Наполеона?

— В нем есть кое-какие отличия от англосаксонских законов. В частности...

— Но прежде чем арестовать человека, ему надо предъявить обвинение!

— Да. В свое время. — Я быстро заговорил с министром по-французски. Мистер Смит плохо понимал язык, хотя миссис Смит и одолела уже четвертый урок по самоучителю. — Мне кажется, что тут допущена политическая ошибка. Кандидат в президенты — личный друг этого Джонса. Зачем вам восстанавливать его против себя как раз перед поездкой в Нью-Йорк? Вы же знаете, что в демократических странах стараются ладить с оппозицией. Если дело это не имеет государственной важности, вам, по-моему, стоит устроить мистеру Смит свидание с его другом. В противном случае он, несомненно, заподозрит, что с мистером Джонсом... плохо обращаются.

— Мистер Смит говорит по-французски?

— Нет.

— Видите ли, полиция могла и превысить свои полномочия. Мне бы не хотелось, чтобы у мистера Смита создалось нелестное мнение о наших полицейских порядках.

— А вы не могли бы заранее послать надежного врача, чтобы он... навел порядок?

— Там, конечно, нечего скрывать! Но ведь бывают случаи, что заключенные плохо себя ведут... Я уверен, что даже в вашей стране...

— Значит, мы можем рассчитывать, что вы замолвите словечко вашему коллеге? И я бы посоветовал, чтобы мистер Смит передал через вас некоторую сумму — конечно, в долларах, а не в местной валюте — в возмещение за те увечья, которые мистер Джонс мог нанести полицейскому.

— Я сделаю все, что смогу. Если об этом деле еще не доложили президенту. Тогда мы бессильны...

— Понятно.

Над головой министра висел портрет Папы-Дока — портрет Барона Субботы. Облаченный в плотный черный фрак кладбищенского покроя, он щурился на нас сквозь толстые стекла очков близорукими, невыразительными глазами. Ходили слухи, будто он любит лично наблюдать, как умирают медленной смертью жертвы тонтон-макутов. Взгляд у него при этом был, наверно, такой же. Надо полагать, что интерес к смерти у него чисто медицинский.

— Дайте двести долларов, — сказал я мистеру Смит.

Он вынул две стодолларовые бумажки. В другом отделении бумажника я заметил фотографию его жены, укутанной в неизменный плед. Я положил деньги министру на стол; мне показалось, что он поглядел на них с пренебрежением, но, по-моему, Джонс большего не

стоил. В дверях я обернулся:

— Скажите, а доктор Филипо сейчас здесь? Я хотел обсудить с ним одно дело, мне надо привести в порядок канализацию в гостинице.

— По-моему, он на юге, в Ле-Ке, там проектируют постройку новой больницы.

Уж в чем, в чем, а в проектах на Гаити нет недостатка! Проект всегда сулит деньги проектировщику, пока он только проект.

— Значит, вы нам сообщите о результатах?

— Конечно. Конечно. Но я ничего не обещаю.

Он стал несколько суховат. Я часто замечал, что взятка (хотя, строго говоря, это не было взяткой) меняет отношения между тем, кто дает, и тем, кто берет. Дающий взятку жертвует своим достоинством; если взятку у него берут, он сразу чувствует себя униженным, как человек, который платит женщине за любовь. Может быть, я совершил ошибку. Может быть, Смигу лучше было и дальше представлять собой какую-то неясную угрозу. Шантажист всегда хозяин положения.

И тем не менее министр доказал, что он — человек слова. На следующий день нам разрешили свидание с заключенным.

В полиции самой важной персоной оказался сержант, куда более важной, чем сопровождавший нас секретарь министра. Секретарь тщетно пытался привлечь внимание этого великого человека, но ему пришлось дожидаться очереди у барьера вместе с другими ходатаями. Мистер Смит и я уселись под фотографиями мертвых повстанцев, которые жухли на стене уже долгие месяцы. Мистер Смит кинул на них взгляд, но сразу отвел глаза. В маленькой комнате прямо напротив нас сидел высокий, щеголеватый негр в штатском; он задрал ноги на стол и смотрел на нас в упор сквозь темные очки. Я, видно, нервничал, и поэтому лицо его казалось мне до омерзения жестоким.

— Он нас теперь запомнит, — сказал мистер Смит с улыбкой.

Негр понял, что мы говорим о нем. Он нажал кнопку звонка на столе, и в комнату вошел полицейский. Не снимая ног со стола и не сводя с нас глаз, он задал полицейскому какой-то вопрос; тот, поглядев на нас, ему ответил, после чего негр продолжал все так же пристально на нас глазеть. Я было отвернулся, но два черных круглых стекла притягивали мой взгляд. Казалось, что это бинокль, в который он наблюдает за повадками двух мизерных зверушек.

— Гнусный тип, — сказал я, поеживаясь.

Тут я заметил, что мистер Смит в свою очередь уставился на негра. Нам не было видно, моргает ли тот за своими темными стеклами, он ведь вообще мог прикрыть глаза и незаметно для нас дать им отдых, — и все же победу одержал непреклонный взгляд голубых глаз мистера Смита. Негр встал и закрыл дверь своей комнаты.

— Браво, — сказал я.

— Я его тоже запомню, — пообещал мистер Смит.

— Он, наверно, страдает от повышенной кислотности.

— Это весьма возможно, мистер Браун.

Мы просидели так не меньше получаса, прежде чем на секретаря министра иностранных дел обратили внимание. При диктатуре министры приходят и уходят; в Порт-о-Пренсе только начальник полиции, глава тонтон-макутов и командир дворцовой охраны не менялись, только они обеспечивали безопасность своим подчиненным. Сержант небрежно отпустил секретаря министра, словно мальчишку на побегушках, и полицейский капрал повел нас по длинному коридору, где воняло зверинцем и по обе стороны тянулись камеры.

Джонс сидел на перевернутом ведре у соломенного тюфяка. Лицо его перекрещивали полоски пластыря, а правая рука была прибинтована к туловищу. Его прибрали, как могли, и все же к левому глазу не мешало бы приложить сырое мясо. На двубортном жилете запеклось

небольшое пятно крови, и от этого он еще больше бросался в глаза.

— Ай-ай-ай! — приветствовал он нас радостной улыбкой. — Кого я вижу?

— Вы, видно, оказывали сопротивление при аресте? — спросил я.

— Пусть не рассказывают сказок, — весело отмахнулся он. — У вас есть покурить?

Я дал ему сигарету.

— А с фильтром нету?

— Нет.

— Что ж, дареному коню... Я с утра почувствовал, что дела мои пошли на поправку. В полдень мне дали бобов, а потом пришел доктор и немножко надо мной поработал.

— В чем вас обвиняют? — спросил мистер Смит.

— Обвиняют? — Его, по-моему, этот вопрос так же удивил, как и министра иностранных дел.

— В чем вы, по их словам, виноваты, мистер Джонс?

— Да у меня ведь и возможности не было провиниться. Мои вещи даже не успели обыскать на таможне.

— Но ведь должна быть какая-то причина! Может, вас с кем-то спутали?

— Они мне ничего толком не объяснили. — Он осторожно потрогал глаз. — Вид у меня неважнецкий, а?

— И вам приходится на этом спать? — с негодованием осведомился мистер Смит, показывая на тюфяк.

— Бывало и хуже.

— Где? Трудно себе представить...

Джонс ответил как-то неопределенно:

— Да, знаете ли, на войне... — и добавил: — По-моему, вся беда в том, что у меня были не те рекомендации. Знаю, знаю, вы меня предупреждали, но мне казалось, что и вы и судовой казначей сгущаете краски.

— Кто вам дал рекомендательное письмо? — спросил я.

— Один знакомый по Леопольдвилю.

— А что вы делали в Леопольдвиле?

— Да я там был больше года назад. Мне много приходится разъезжать.

У меня создалось впечатление, что ему не впервой сидеть в такой камере, что она — просто одна из бесчисленных посадочных площадок на его долгом пути.

— Мы вас выручим, — сказал мистер Смит. — Мистер Браун уже беседовал с вашим поверенным в делах. Мы оба виделись с министром иностранных дел. Предложили взять вас на поруки.

— На поруки? — Джонс лучше знал жизнь, чем мистер Смит. — Вот что вы могли бы для меня сделать, если вы не против. Конечно, я вам потом это возмещу. Дайте перед уходом двадцать долларов сержанту.

— С удовольствием, — сказал мистер Смит, — если, по-вашему, это поможет.

— Поможет, и еще как поможет! И вот что... мне надо уладить это дело с рекомендательным письмом. Есть у вас ручка и листок бумаги? — Мистер Смит снабдил его тем и другим, и Джонс принялся писать. — А конверта у вас нет?

— Увы, нет.

— Тогда мне, пожалуй, придется выразить это немножко иначе. — Он задумался и спросил меня; — Как по-французски фабрика?

— Usine.

— Я не очень способен к языкам, но по-французски научился немного.

— В Леопольдвиле?

— Отдайте это сержанту и попросите переслать кому следует.

— А читать он умеет?

— Думаю, что да. — Он встал и, возвращая ручку, сказал, вежливо намекая, что нам пора идти. — Очень мило, ребята, что вы ко мне зашли.

— Вы спешите на другое свидание? — с иронией спросил я.

— По правде говоря, бобы дают о себе знать. Так что спешу на свидание с парашей. Если у вас найдется еще клочок бумаги...

Мы собрали ему три старых конверта, оплаченный счет, листочек-другой из записной книжки мистера Смита и письмо, которое я забыл разорвать, от нью-йоркского агента по продаже недвижимостей, где он выражал сожаление, что в настоящее время у него нет желающих купить отель в Порт-о-Пренсе.

— Какое мужество! — воскликнул мистер Смит, выйдя в коридор. — Вот что позволило вашему народу вынести немецкие бомбежки. Я вызволю его отсюда, даже если мне придется пойти к самому президенту!

Я взглянул на бумажку, которую держал в руке, и узнал фамилию адресата. Это был один из видных тонтон-макутов.

— Не знаю, стоит ли нам вмешиваться в это дело, — сказал я.

— Мы уже в него вмешались, — гордо произнес мистер Смит, и я понял, что он мыслит такими высокими понятиями, которые мне недоступны: Человечество, Справедливость, Всеобщее благо... Нет, он недаром был кандидатом в президенты.

5

На другой день всевозможные заботы отвлекли меня от мыслей о судьбе Джонса, но я уверен, что мистер Смит не забывал о ней ни на минуту. В семь часов утра я увидел, как он барахтается в бассейне, но медленные заплывы — от мелкой до глубокой части водоема и обратно, — по-видимому, помогали ему думать. После завтрака он написал несколько писем, которые миссис Смит перепечатала на портативной машинке «Корона» двумя пальцами, и Жозеф развез их на такси — одно было адресовано в американское посольство, другое новому министру социального благоденствия, о его вступлении на этот пост утром сообщила газета Пьера Малыша. У мистера Смита была удивительная для пожилого человека энергия, и я уверен, что, размышляя о вегетарианской кухне, которая когда-нибудь избавит гаитян от кислотности и пагубных страстей, он ни на секунду не переставал думать о Джонсе, сидящем на опрокинутом ведре в своей камере. Одновременно он набрасывал в уме путевой очерк, который обещал написать для газеты своего родного города, — само собой разумеется, демократического направления, поддерживающей равноправие негров и вегетарианство. Накануне он попросил меня проглядеть его рукопись, нет ли там фактических ошибок.

— Я высказываю, конечно, свои личные взгляды, — добавил он с застенчивой улыбкой первооткрывателя.

Первая беда пришла совсем рано, прежде чем я успел подняться с постели, — Жозеф постучал ко мне и сообщил, что, как ни странно, тело доктора Филипо уже обнаружено, в результате чего несколько человек покинули свои дома и попросили убежища в посольстве Венесуэлы, и в их числе местный начальник полиции, помощник почтмейстера и школьный учитель (никто не знает, в каких отношениях они состояли с бывшим министром!). Ходят слухи, будто доктор Филипо покончил самоубийством, но никто, конечно, не знает, как власти изобразят его смерть, — может быть, как политическое убийство, состряпанное в Доминиканской Республике. Говорят, что президент в ярости. Ему хотелось самому зацапать доктора Филипо, который, как говорят, недавно, хлебнув лишнего рома, посмеялся над медицинскими познаниями Папы-Дока. Я послал Жозефа на базар, чтобы он там собрал все новости.

Вторая неприятность состояла в том, что маленький Анхел заболел свинкой, как писала Марта, и очень мучается (мне трудно было побороть в себе желание, чтобы он помучился еще больше). Марта боится уйти из посольства — ведь она может ему понадобиться, — и поэтому она не встретится со мной, как было условлено, вечером возле статуи Колумба.

Однако, писала она, после такого долгого отсутствия почему бы мне не нанести визит в посольство. Это будет только естественно. Сейчас, когда комендантский час отменен, многие знакомые заходят к ним поболтать, стараясь, конечно, не попадаться на глаза полицейскому у ворот, но в девять часов он обычно сидит на кухне и пьет ром. По мнению Марты, все их визитеры готовят почву на случай, если им понадобится политическое убежище. Она кончила свою записку фразой: «Луис будет тебе рад; ты его очень интересуешь», — что звучало довольно двусмысленно.

Жозеф зашел ко мне в кабинет после завтрака, когда я читал путевой очерк мистера Смита, и подробно рассказал, как был найден труп доктора Филипо, — об этом, если еще и не знала полиция, уже знали все рыночные торговцы. Полицию навел на след мертвеца, который, как мы с доктором Мажио надеялись, должен был долго пролежать в саду бывшего астролога, редчайший случай, такой поразительный случай, что он совсем отвлек меня от чтения рукописи мистера Смита. Одному из милиционеров с заставы приглянулась крестьянка, которая рано утром шла на большой базар в Кенскоффе. Он не разрешил ей пройти, утверждая, будто она что-то прячет под своими пышными юбками. Женщина предложила показать ему, что она там прячет, и они вдвоем отправились в заброшенный сад астролога. Крестьянке хотелось поскорее дойти до Кенскоффа, а дорога туда длинная, поэтому она быстро стала на четвереньки, задрала юбки и, нагнув голову, заглянула прямо в широко раскрытые, остекленевшие глаза бывшего министра социального благоденствия. Она его сразу узнала, потому что, когда он еще не занимал высокого поста, он принимал у ее дочери тяжелые роды.

Под окном работал садовник, поэтому я не стал проявлять излишнего интереса к рассказу Жозефа. Я даже перевернул страницу рукописи мистера Смита. «Мы с миссис Смит, — писал он, — с большим сожалением покидали Филадельфию, где нас принимала семья Генри С.Окса — многие мои читатели, несомненно, их помнят по тем гостеприимным приемам, которые они устраивали под Новый год, когда еще жили в доме 2041 на площади Деланси, — но печаль от разлуки с дорогими друзьями скоро прошла: я приобрел новых друзей на пароходе „Медей“...»

— А зачем они пошли в полицию? — спросил я. — Для этой пары после такой находки было бы гораздо естественнее удрать, не сказав никому ни слова.

— Она так громко кричала, что другой милиционер, он тоже приходил.

Я опустил парочку страниц машинописи миссис Смит и стал читать о прибытии «Медей» в Порт-о-Пренс. «Это черная республика, но черная республика со своей историей, своим искусством и литературой. Тут я словно вижу воочию будущее новых африканских государств, когда у них пройдут болезни роста». (Я уверен, что мистер Смит не хотел проявить пессимизм.) «Конечно, даже здесь еще многое надо сделать. Гаити испытало на себе монархию, демократический строй и диктатуру, но мы не должны судить диктатуру цветных с тех же позиций, что и диктатуру белых. История Гаити насчитывает всего несколько веков, и если мы через две тысячи лет все еще совершаем ошибки, разве не больше права имеет совершать их эта страна, и, может быть, она извлечет из них лучшие уроки, чем мы. Тут есть бедность, нищие на улицах, кое-какие признаки полицейского произвола (он не забыл мистера Джонса в тюремной камере), но я сомневаюсь, чтобы цветной, впервые приехав в Нью-Йорк, был бы принят так радушно и по-дружески, как приняли нас с миссис Смит в иммиграционном бюро Порт-о-Пренса». Нет, я, кажется, читал очерк о какой-то другой стране!

— А что они сделали с трупом? — спросил я Жозефа.

— Полиция, — сказал он, — не хотела его отдавать, но холодильник в морге не работает.

— Мадам Филипо уже знает?

— О да, она увезла его в похоронное бюро мсье Эркуля Дюпона. Теперь его быстро-

быстро похоронят.

Я все же чувствовал ответственность за судьбу останков доктора Филипо, как-никак он умер у меня в гостинице.

— Узнай, как решат с похоронами, — сказал я Жозефу и вернулся к путевым заметкам мистера Смита.

«То, что я, никому не известный иностранец, в первый же день моего пребывания в Порт-о-Пренсе был принят министром иностранных дел, лишней раз подчеркивает поразительную любезность, которую я встречаю здесь повсюду. Министр иностранных дел собирался лететь в Нью-Йорк на сессию Организации Объединенных Наций, но тем не менее уделил мне полчаса своего драгоценного времени, и благодаря его личному ходатайству перед министром внутренних дел я получил возможность посетить в тюрьме англичанина, моего спутника по „Медее“, который, на свою беду, из-за какой-то бюрократической неувязки, вполне возможной и в странах с гораздо более древней историей, чем Гаити, попал в немилость к властям. Я продолжаю хлопотать до этого делу и не сомневаюсь в успехе. Я убедился, что моим цветным друзьям, где бы они ни жили — в условиях относительной свободы в Нью-Йорке или ничем не прикрытого насилия на Миссисипи, — глубоко свойственны два качества: уважение к правосудию и чувство человеческого достоинства».

Читая произведения Черчилля, так и слышишь оратора, произносящего речь в освященной веками палате; читая мистера Смита, я слышал голос лектора на кафедре провинциального города. Я почувствовал себя в окружении благонамеренных пожилых дам в шляпках, которые внесли свои пять долларов на доброе дело.

«Я с нетерпением жду встречи с новым министром социального благоденствия, — продолжал мистер Смит, — чтобы обсудить с ним вопрос, который читатели этой газеты давно считают моим пунктиком: организацию вегетарианского центра. К сожалению, доктора Филипо, бывшего министра социального благоденствия, которому я хотел вручить рекомендательное письмо от одного гаитянского дипломата, аккредитованного при ООН, в настоящее время нет в Порт-о-Пренсе, но я заверяю моих читателей, что энтузиазм поможет мне преодолеть все преграды и дойти, если понадобится, до самого президента. Я надеюсь, что он благожелательно отнесется к моему проекту, потому что, прежде чем целиком посвятить себя политике, президент заслужил всеобщее признание как врач во время тифозной эпидемии, свирепствовавшей тут несколько лет назад. Как и мистер Кениата, премьер-министр Кении, он имеет определенные заслуги и в области антропологии».

(«Заслуга» — пожалуй, слишком мягко сказано: я вспомнил искалеченные ноги Жозефа.)

Несколько позже мистер Смит робко заглянул в кабинет, чтобы выслушать мое мнение о статье.

— Здешние власти останутся очень довольны, — сказал я.

— Они ее не прочтут. Газета имеет подписчиков только в Висконсине.

— Я бы не поручился, что ее не прочтут. Отсюда сейчас уходит мало писем за границу. Их легко пропустить через цензуру.

— Вы думаете, что письма вскрывают? — недоверчиво спросил он, но тут же поспешно добавил: — Ну, что ж, мы знаем, что произвол творится и в Штатах.

— На вашем месте осторожности ради я бы не стал упоминать о докторе Филипо.

— Но я же не сказал о нем ничего плохого!

— Им в данный момент даже упоминание о его персоне может быть неприятно. Видите ли, он покончил самоубийством!

— Ох, бедняга! — воскликнул мистер Смит. — Господи, что же его могло на это толкнуть?

— Страх.

— Он в чем-нибудь был виноват?

— А кто из нас тут не виноват? Он дурно отзывался о президенте.

Старые голубые глаза глядели в сторону. Мистер Смит решил не показывать своих сомнений постороннему, такому же белому, как он сам, представителю расы рабовладельцев.

— Я бы хотел повидать его вдову; может, я чем-нибудь смогу ей помочь. Мы с миссис Смит обязаны хотя бы послать венок.

Как бы мистер Смит ни любил черных, сам он жил среди белых, по их обычаям и других не знал.

— На вашем месте я бы этого не делал.

— Почему?

Я отчаялся что-либо ему объяснить, и в эту минуту, как назло, вошел Жозеф. Покойника уже вывезли из похоронного бюро мсье Дюпона; гроб отправили в Петионвиль, где его должны предать земле, но задержали на заставе, не доезжая нашей гостиницы.

— Они, видно, торопятся.

— У них душа неспокойна, — объяснил Жозеф.

— Но ведь теперь им не о чем беспокоиться, — сказал мистер Смит.

— Кроме жары, — добавил я.

— Я присоединюсь к похоронной процессии, — сказал мистер Смит.

— И думать не смейте.

Вдруг я увидел, как гневно могут сверкать эти голубые глаза.

— Мистер Браун, вы мне не сторож. Я сейчас позову миссис Смит, и мы оба...

— Не берите с собой хотя бы ее. Неужели вы не понимаете, как это опасно?..

И на слове «опасно» вошла миссис Смит.

— Что опасно? — спросила она.

— Детка, бедный доктор Филипо, к которому у нас рекомендательное письмо, покончил самоубийством.

— Из-за чего?

— Причины не совсем ясны. Его везут хоронить в Петионвиль. По-моему, мы должны присоединиться к процессии. Жозеф, пожалуйста, *s'il vous plait* [пожалуйста (фр.)], такси...

— О какой опасности вы говорили? — спросила миссис Смит.

— Неужели вы оба не понимаете, что это за страна? Тут все возможно.

— Дорогая, мистер Браун считает, что мне лучше пойти одному.

— Я считаю, что вы оба не должны идти, — сказал я. — Это просто безумие.

— Но разве мастер Смит вам не говорил, что у нас рекомендательное письмо к доктору Филипо? Он — друг нашего друга.

— Это будет воспринято как политическая демонстрация.

— Мы никогда не боялись политических демонстраций. Голубчик, я догадалась захватить черное платье, Обожди две минутки.

— Он не может ждать ни одной, — сказал я. — Слышите?

Голоса с холма доносились даже до моего кабинета, однако эти звуки не были похожи на обычные похороны. Не было слышно ни дикой музыки крестьянских *rompes funebres*, ни чинного аккомпанемента буржуазного погребения. Голоса не причитали, они спорили, они кричали. Над всем этим гамом поднялся женский вопль. Мистер и миссис Смит ринулись бежать по аллее, прежде чем я успел их удержать. Кандидат в президенты вырвался немножко вперед. По-видимому, дистанция соблюдалась больше из уважения, чем из спортивного преимущества, потому что бегала миссис Смит гораздо лучше. Я последовал за ними медленно, с неохотой.

«Трианон» служил убежищем доктору Филипо, и живому и мертвому, и мы все еще не могли от него отделаться: у самого въезда на аллею стоял катафалк. Шофер, по-видимому, хотел развернуться и поехать назад, в город. Голодная бездомная кошка — их много водилось в дальнем конце аллеи — со страху перед внезапным вторжением прыгнула на крышу катафалка и замерла там, выгнув спину и дрожа, словно в нее ударила молния. Никто не

пытался ее согнать — гаитяне, видимо, поверили, что в нее вселилась душа самого экс-министра.

Мадам Филипо — я познакомился с ней на одном из дипломатических приемов — стояла перед катафалком и не давала шоферу повернуть назад. Это была красивая женщина со смуглой кожей, моложе сорока, и стояла она, воздев руки, словно скверный патристический памятник какой-то давно забытой войне. Мистер Смит повторял: «В чем дело?» Шофер катафалка — черного, роскошного, разукрашенного эмблемами смерти — нажимал гудок, раньше я и не подозревал, что у катафалка бывает гудок. Его с обеих сторон ругали два человека в черном: они вылезли из старенького такси, стоявшего на аллее, а на шоссе в Петитонвиль ожидало еще одно такси. В нем, прижавшись лицом к стеклу, сидел мальчик. Вот и весь похоронный кортеж.

— Что здесь происходит? — снова закричал уже в отчаянии мистер Смит, и кошка зашипела на него со стеклянной крыши.

Мадам Филипо, обзвав шофера «salaud» [мерзавец (фр.)] и «cochon» [свинья (фр.)], метнула взгляд прекрасных, как два темных цветка, глаз на мистера Смита. Она понимала по-английски.

— Vous etes americain? [Вы американец? (фр.)]

Мистер Смит призвал на память все свои познания во французском языке.

— Oui [да (фр.)].

— Этот cochon, этот salaud, — сказала мадам Филипо, преграждая дорогу катафалку, — хочет вернуться в город.

— Но почему?

— На заставе нам не дают проехать.

— Но почему, почему? — растерянно повторял мистер Смит, и двое мужчин в черном, бросив свое такси, стали решительно спускаться с холма к городу. На ходу они надели цилиндры.

— Его убили, — сказала мадам Филипо, — а теперь не разрешают даже похоронить на кладбище, где у нас есть свое место.

— Тут, наверно, какое-то недоразумение, — сказал мистер Смит. — Не сомневаюсь.

— Я сказала этому salaud, чтобы он ехал прямо через заставу. Пусть стреляют. Пусть убивают и его жену, и сына. — И добавила с презрением и полным отсутствием логики. — Да у них, верно, и ружья не заряжены!

— Maman, maman [мама, мама (фр.)], — закричал из такси ребенок.

— Cheri? [Что, милый? (фр.)]

— Tu m'as promis une glace a la vanille [ты мне обещала ванильное мороженое (фр.)].

— Attends un petit peu, cheri [погоди немножко, милый (фр.)].

— Значит, первую заставу вы проехали благополучно? — спросил я.

— Ну да, да. Понимаете, мы дали немного денег.

— А там, выше, денег брать не хотят?

— У него приказ. Он боится.

— Тут явно какое-то недоразумение, — повторил я слова мистера Смита, но думал-то я о том, что полиция отказалась взять деньги.

— Вы ведь здесь живете. Неужели вы в это верите? — Она обернулась к шоферу. — Поезжай! Вверх по шоссе. Salaud.

Кошка, словно приняв оскорбление на свой счет, прыгнула на дерево, вцепилась когтями в кору и повисла. Злобно фыркнув еще раз на всех нас с голодной ненавистью через плечо, она свалилась в кусты бугенвилеи.

Двое в черном теперь медленно взбирались снова на холм. Вид у них был растерянный. Я успел разглядеть гроб — он был роскошный, под стать катафалку, но на нем лежал только один венок и одна визитная карточка, бывшему министру было суждено такое же одинокое

погребение, как и смерть. К нам подошли те двое в черном, они были похожи друг на друга, разве что один был на сантиметр выше, а может быть, дело было в цилиндре. Тот, что повыше, объяснил:

— Мы дошли до заставы внизу, мадам Филипо. Они говорят, что не пропустят гроб. Надо разрешение властей.

— Каких властей? — спросил я.

— Министра социального благоденствия.

Мы все, как сговорившись, поглядели на богатый гроб со сверкающими медными ручками.

— Так вот же он, министр социального благоденствия, — сказал я.

— С утра уже нет.

— Вы — мсье Эркюль Дюпон?

— Я — мсье Клеман Дюпон. А это — мсье Эркюль. — Мсье Эркюль снял цилиндр и отвесил поясной поклон.

— Что тут происходит? — спросил мистер Смит. Я ему рассказал.

— Но это же нелепость! — прервала меня миссис Смит. — Неужели гроб должен здесь стоять, пока не разъяснится какое-то дурацкое недоразумение?

— Боюсь, что тут нет никакого недоразумения.

— А что же еще это может быть?

— Месть. Им не удалось схватить его живым. — Я обернулся к мадам Филипо: — Они скоро приедут. Обязательно. Пошли бы вы лучше с ребенком в отель.

— И бросить мужа посреди дороги? Ни за что.

— Отошлите хотя бы ребенка, Жозеф даст ему ванильного мороженого.

Солнце стояло почти над головой; вокруг прыгали солнечные зайчики от стекол катафалка и медных украшений гроба. Шофер выключил мотор, и мы вдруг слышали, как далеко-далеко разлилась тишина, только где-то на самой окраине города выла собака.

Мадам Филипо отворила дверцу такси и поставила мальчика на землю. Он был чернее, чем она, и белки глаз у него были огромные, как яйца. Она сказала ему, чтобы он шел к Жозефу за мороженым, но он не хотел уходить и цеплялся за ее платье.

— Миссис Смит, — сказал я. — Отведите его в дом.

Она заколебалась.

— Если тут что-нибудь произойдет, мне, пожалуй, лучше побыть здесь, с мадам Фили... Фили... Лучше отведи его ты, голубчик.

— И оставить тебя одну, детка? — сказал мистер Смит. — Ну уж нет.

Раньше я не заметил шоферов такси, неподвижно сидевших в тени под деревьями. Теперь же они вдруг ожили, словно, пока мы спорили, они подали друг другу какой-то знак. Один вывел такси на шоссе, другой дал задний ход и развернулся. Со скрежетом включив скорость, они рванули на своих допотопных машинах вниз по склону к Порт-о-Пренсу, как заправские гонщики. Мы слышали, как они остановились у заставы, а потом снова тронулись и растаяли в тишине.

Мсье Эркюль Дюпон, кашлянув, сказал:

— Вы совершенно правы. Мы с мсье Клеманом отведем ребенка... — Каждый схватил мальчика за руку, но мальчик упирался.

— Ступай, *cheri*, — сказала мать, — тебе дадут ванильного мороженого.

— *Avec de la creme au chocolat?* [С шоколадным кремом? (фр.)]

— *Oui oui, bien sur, avec de la creme au chocolat* [да, да, конечно, с шоколадным кремом (фр.)].

Странно выглядела эта тройца, когда шла по пальмовой аллее к гостинице между кустами бугенвилеи — два пожилых близнеца в цилиндрах и между ними ребенок. «Трианон», правда, не был посольством, но братья Дюпон явно считали, что раз он

принадлежит иностранцу, то он лишь немногим хуже. Шофер катафалка, о котором мы все забыли, быстро слез со своего сиденья и побежал вдогонку. Мадам Филипо, Смиты и я остались наедине с гробом, мы тихо вслушивались в ту, другую тишину на дороге.

— Что теперь будет? — немного погодя спросил мистер Смит.

— Наше дело маленькое. Ждать — и все.

— Чего?

— Их.

Положение наше напоминало детский кошмар, когда снится, будто вот-вот что-то вылезет из шкафа. Никому из нас не хотелось смотреть другому в глаза, чтобы не увидеть там отражение этого кошмара, поэтому все мы глядели сквозь стеклянную стенку катафалка на новенький сияющий гроб с медными ручками — причину всех наших бед. Далеко-далеко, в той стороне, где лаяла собака, какая-то машина, тяжело пыхтя, брала подъем высокого холма.

— Едут, — сказал я.

Мадам Филипо прижалась лбом к стеклу катафалка, а машина медленно карабкалась все ближе и ближе.

— Уйдите-ка лучше в дом, — сказал я ей. — Да и нам всем полагалось бы уйти.

— Не понимаю, — сказал мистер Смит. Он взял руку жены и сжал ее.

Машина остановилась у заставы внизу — мы слышали, что мотор продолжает работать, — потом она медленно, на первой скорости двинулась дальше, и теперь ее стало видно: огромный «кадиллак», уцелевший со времен американской помощи неимущим Гаити. Машина остановилась около нас, и из нее вышли четверо. На них были мягкие шляпы и темные очки; сбоку у каждого висел револьвер, но только один не поленился вытащить оружие, да и то направил его не на нас. Он подошел к катафалку и начал методически разбивать рукояткой стекло. Мадам Филипо не двинулась с места и не произнесла ни слова, да и я ничем не мог тут помочь. Против четырех револьверов не пойдешь. Мы были свидетелями, но какой суд захочет выслушать наши показания? Стеклянная стенка катафалка была разбита, но тонтон продолжал отбивать револьвером неровные края. Спешить ему было некуда, и он не хотел, чтобы его люди поцарапали себе руки.

Миссис Смит вдруг ринулась вперед и схватила тонтон-макута за плечо. Он повернулся, и я его узнал: это был тот человек, с которым мистер Смит в полиции играл в гляделки. Он стряхнул с себя миссис Смит и спокойным и неторопливым движением затянутой в перчатку руки ткнул ее прямо в лицо. Она опрокинулась в кусты бугенвилеи. Мне пришлось силой удержать мистера Смита, чтобы он не кинулся на тонтон-макута.

— Как они смеют так обращаться с моей женой?! — закричал он через мое плечо.

— Ну, они все смеют.

— Пустите меня! — кричал он, вырываясь. Я никогда не видел, чтобы человек вдруг так переменялся. — Свинья! — вопил он.

Это было самое ругательное слово, какое он знал, но тонтон-макут не понимал по-английски. Мистер Смит чуть было не вывернулся у меня из рук. Он был сильный старик.

— Что толку, если вас застрелят? — сказал я.

Миссис Смит сидела в кустах; первый раз я видел, чтобы она растерялась.

Тонтоны вытащили из катафалка гроб и понесли его к своей машине. Они втолкнули гроб в багажник, но он высовывался из него чуть не наполовину, поэтому они накрепко, не торопясь, привязали гроб веревкой. Спешить им было некуда, им ничего не грозило, власть тут была их. Мадам Филипо подошла к катафалку и так униженно, что нам было стыдно, стала умолять, чтобы они взяли и ее. Впрочем, у нас не было выбора между унижением и борьбой, и только миссис Смит на что-то решилась. Говорила мадам Филипо слишком тихо, чтобы расслышать слова, но я понял, о чем она просит, по ее жестам. Быть может, она предлагала им деньги за своего покойника; при диктатуре у человека можно отнять все, даже мертвого мужа. Они хлопнули у нее перед носом дверцами и двинулись вверх по шоссе; гроб

торчал из багажника, словно ящик с фруктами, который везут на базар. Наконец они нашли удобное место, где можно было развернуться, и поехали обратно. Миссис Смит уже поднялась, и мы стояли кучкой, с виноватым видом. Невинная жертва почти всегда выглядит виноватой, как козел отпущения в пустыне. Машину остановили, и офицер — я думаю, что это был офицер, хотя форма у них у всех одинаковая: черные очки, мягкие шляпы и револьверы, — распахнул дверцу и поманил меня к себе. Я не герой. Я покорно пошел к нему через дорогу.

— Вы хозяин этой гостиницы?

— Я.

— Вы были вчера в полиции?

— Да.

— В другой раз не смейте так нахально на меня глазеть. Я не люблю, когда на меня глазеют. Кто этот старик?

— Кандидат в президенты.

— То есть как? Кандидат в какие президенты?

— В президенты Соединенных Штатов Америки.

— Бросьте эти шутки.

— Я не шучу. Вы, вижу, газет не читаете.

— Зачем он приехал?

— А я почему знаю? Вчера он был у министра иностранных дел. Может, ему он и сказал, зачем приехал. Он собирается посетить президента.

— В Соединенных Штатах сейчас нет выборов. Это я знаю.

— У них президента выбирают не пожизненно, как у вас тут. У них каждые четыре года выборы.

— А что он тут делал... с этой падалью в ящике?

— Он пришел на похороны своего друга, доктора Филиппо.

— У меня есть приказ, — сказал он уже не так решительно. — И я его выполняю.

Я теперь понял, почему эти субъекты носят темные очки: они тоже люди, но им нельзя показывать страх, не то конец террору. Остальные тонтон-макуты смотрели на меня из машины непроницаемо, как лупоглазые пугала.

— В Европе повесили немало людей, которые выполняли приказы. В Нюрнберге, — объяснил я.

— Мне не нравится, как вы со мной разговариваете. У вас что-то на уме. Так дело не пойдет. Вашего слугу зовут Жозеф, да?

— Да.

— Я его помню. Я с ним раз уже беседовал. — Он помолчал, чтобы я получше усвоил этот факт. — Это ваша гостиница. Она вас кормит.

— Уже нет.

— Старик скоро уедет, а вы останетесь.

— Вы сделали ошибку, ударив его жену, — сказал я. — Он вам этого не забудет.

Тонтон-макут захлопнул дверцу «кадиллака», и они поехали вниз по шоссе; мы видели торчащий кусок гроба, пока они не скрылись за поворотом. Снова наступила тишина; мы услышали, как машина затормозила у заставы, потом прибавила скорость и на всех парах понеслась к Порт-о-Пренсу. Куда они спешили? Кому нужен был труп бывшего министра? Ведь труп нельзя даже мучить, он не чувствует боли. Но бессмыслица порой устрашает сильнее, чем осмысленное зверство.

— Безобразие! Просто безобразие, — выговорил наконец мистер Смит. — Я позвоню президенту. Я этого так не оставляю...

— Телефон не работает.

— Он ударил мою жену.

— Мне это не впервой, голубчик, — сказала она. — И к тому же он меня просто толкнул. Вспомни, что было в Нашвилле. В Нашвилле было хуже.

— Нашвилль — это другое дело, — ответил он, и в голосе его звучали слезы. Он любил цветных за цвет их кожи, а его предали более жестоко, чем предают тех, кто ненавидит. Он добавил: — Прости, детка, что я позволил себе такие грубые выражения... — Он взял ее под руку, и мы с мадам Филипо пошли за ними домой. Дюпоны и мальчик сидели на веранде, ели мороженое с шоколадным кремом. Цилиндры стояли рядом, как дорогие пепельницы.

— Катафалк цел, — сказал я им. — Они разбили только стекло.

— Варвары! — воскликнул мсье Эркюль, а мсье Клеман профессиональным жестом погладил его по плечу. Мадам Филипо вела себя уже совсем спокойно и даже не плакала. Она села рядом с сынишкой и стала кормить его мороженым. Прошлое отошло в прошлое, а рядом с ней было будущее. Но я понял, что, когда настанет время — сколько бы лет до тех пор ни прошло, — мальчику ничего не позволят забыть. Она произнесла только одну фразу, прежде чем уехать на такси, которое привел Жозеф:

— Когда-нибудь и для него отольют серебряную пулю!

Дюпоны за неимением такси отбыли в собственном катафалке, и мы остались с Жозефом одни. Мистер Смит повел миссис Смит в номер люкс «Джон Барримор» прилечь. Он суетился возле нее, и она ему не препятствовала. Я спросил Жозефа:

— На что им сдался покойник в гробу? Бояться, что на его могилу стали бы носить цветы? Вряд ли. Он был неплохой человек, но не такой уж и хороший. Водопровод в трущобах ведь так и не провели; наверное, часть денег пошла к нему в карман.

— Люди очень пугаются, — сказал Жозеф, — когда узнают. Они пугаются, что президент схватит их тоже, когда они умрут.

— Ну и что из того? Все равно остается только кожа да кости. Да и зачем президенту мертвецы?

— Люди очень темные, — сказал Жозеф. — Думают, президент запрет доктора Филипо во дворце в погреб и заставит всю ночь на себя работать. Президент — большой колдун.

— Барон Суббота?

— Темные люди говорят — да.

— И ночью никто не сможет тронуть Барона, пока его охраняют все эти упыри? Они ведь сильнее всякой стражи, сильнее даже тонтон-макутов?

— Тонтон-макуты — сами упыри. Так говорят темные люди.

— А ты в это веришь, Жозеф?

— Я тоже темный человек, сэр.

Я пошел наверх, в номер люкс «Джон Барримор», и по дороге раздумывал, куда они бросят труп; вокруг много недорытых канав и котлованов, а на вонь в Порт-о-Пренсе никто не обращает внимания. Я постучал в дверь и услышал голос миссис Смит:

— Войдите.

Мистер Смит зажег на комодке маленькую походную керосинку и кипятил воду. Рядом стояли чашка с блюдцем и картонная коробка с надписью «Истрол».

— На этот раз я уговорил миссис Смит отказаться от бармина. Истрол лучше успокаивает нервы.

На стене висела большая фотография Джона Барримора, откуда он взирал на вас с напускным аристократизмом и еще высокомернее, чем всегда. Миссис Смит лежала на кровати.

— Как вы себя чувствуете, миссис Смит?

— Отлично, — решительно заявила она.

— На лице не осталось никаких следов, — с облегчением сообщил мистер Смит.

— Я же тебе говорю, он меня только толкнул.

— Женщин не толкают.

— По-моему, он даже не сообразил, что я женщина. И надо признаться, что я первая напала на него.

— Вы храбрая женщина, миссис Смит, — сказал я.

— Ерунда! Меня не проведешь такой дешевкой, как темные очки.

— Стоит ее разозлить, и она превращается в настоящую тигрицу, — сказал мистер Смит, помешивая истрол.

— А как вы опишете этот случай в вашей статье? — спросил я.

— Я как раз об этом думал. — Мистер Смит зачерпнул ложечку истрола, чтобы проверить, не слишком ли он горячий. — Еще минуточку, детка. Он не остыл. Да, насчет статьи. Было бы нечестно умолчать об этом совсем, однако трудно рассчитывать, что читатели воспримут подобный эпизод в надлежащем свете. Миссис Смит очень любят и почитают в Висконсине, но даже у нас найдутся люди, готовые использовать любой предлог для разжигания расовой вражды.

— Они и не подумали написать о белом полицейском в Нашвилле, — сказала миссис Смит. — А он мне поставил синяк под глазом...

— И поэтому, принимая во внимание все обстоятельства, — продолжал мистер Смит, — я решил разорвать статью. Что ж, нашим друзьям дома придется обождать вестей от нас. Может, потом я и упомяну об этом случае в одной из своих лекций, если миссис Смит будет сидеть со мной рядом в подтверждение того, что ничего ужасного с ней не произошло. — Он снова зачерпнул ложечку истрола. — Вот теперь, детка, уже остыло.

В тот вечер я с большой неохотой отправился в посольство. Мне было бы приятнее не знать, как обычно протекает жизнь Марты. Тогда, расставаясь со мной, она исчезала бы в пустоте, и мне легче было бы о ней забыть. Теперь же я точно знал, куда она уходит, когда ее машина отъезжает от статуи Колумба. Я знал переднюю, где лежала книга на цепочке, куда посетители вписывают свои имена; из нее Марта попадала в гостиную с мягкими креслами и диванами, сиянием люстр и большой фотографией генерала имярек, их сравнительно благодушного президента; из-за этого портрета каждое посещение, даже мое, приобретало официальный характер. Я был рад, что хотя бы не видал ее спальни.

Я приехал в половине десятого, посол был один; я еще никогда не заставал его в одиночестве, он мне показался совсем другим человеком. Он сидел на диване и перелистывал «Пари-матч», словно в приемной у зубного врача. Я тоже собрался молча сесть и взять «Жур де Франс», но он помешал этому намерению и поздоровался со мной. И сразу же стал предлагать мне выпить и выкурить сигару... Может быть, он просто одинок. Что он делает в то время, когда нет дипломатических приемов, а его жена уезжает ко мне на свидания? Марта говорила, будто я ему нравлюсь, это помогало мне видеть в нем человека. Вид у него был усталый и подавленный. Он медленно, словно тяжелый груз, передвигал свое тучное тело между столиком с напитками и диваном.

— Моя жена наверху, читает вслух моему сыну, — сказал он. — Скоро придет. Она говорила, что вы, может быть, зайдете.

— Я не решался прийти. Вы, должно быть, рады, когда удастся провести вечер одним.

— Я всегда рад видеть своих друзей, — сказал он и погрузился в молчание.

Меня интересовало, подозревает он о наших с Мартой отношениях или знает наверняка.

— Мне очень жаль, что ваш мальчик заболел свинкой.

— Да. Он еще в тяжелом состоянии. Ужасно, когда ребенок страдает, правда?

— Вероятно. У меня не было детей.

— А-а...

Я взглянул на портрет генерала. Мне, пожалуй, лучше было придумать предлог для этого визита, ну хотя бы какую-нибудь культурную миссию. На груди генерала сверкал ряд

орденов, руку он держал на эфесе шпаги.

— Какое впечатление на вас произвел Нью-Йорк?

— Да такое же, как всегда.

— Мне бы хотелось поглядеть Нью-Йорк. Я там был только в аэропорту.

— Может, когда-нибудь вас назначат послом в Вашингтон. — Это была не слишком удачная лесть; у него не было шансов на такое повышение в его возрасте — ему, на мой взгляд, было уже под пятьдесят и он слишком надолго застрял в Порт-о-Пренсе.

— Ну нет, — серьезно возразил он. — Туда мне никогда не попасть. Ведь моя жена немка.

— Знаю, но неужели и теперь...

Он сказал просто, как будто это было самой заурядной вещью в мире, где мы живем.

— Ее отца повесили в американской зоне. Во время оккупации.

— Ах так?

— Мать вывезла ее в Южную Америку. У них там нашлись родственники. Она тогда была совсем ребенком, конечно.

— А она знает?

— О да, знает. Какой же это секрет? Она вспоминает отца с нежностью, но у властей были веские основания...

Я подумал, будет ли еще когда-нибудь земля так безмятежно плыть в пространстве, как сто лет назад? И у викторианцев бывали в семьях подобные тайны, но кого сейчас испугаешь семейными тайнами? Гаити не было выродком в нормальном мире, оно было просто маленькой частицей целого, выхваченной наугад. Барон Суббота разгуливает по кладбищам всего мира. Я вспомнил фигуру висельника в гадальной колоде Тарот. Наверно, этому человеку не очень приятно, что деда его сына, которого зовут Анхелом, повесили. Интересно, как бы почувствовал себя на его месте я?.. Мы ведь не очень-то соблюдали предосторожность, легко могло случиться, что и мой ребенок... был бы внуком того самого карточного висельника.

— Дети, в конце концов, не виноваты! — сказал я. — Сын Мартина Бормана — священник в Конго.

Но зачем, спрашивал я себя, он рассказал мне такую вещь о Марте? Рано или поздно любому человеку может понадобиться оружие против своей любовницы; вот он сунул мне в рукав нож, которым я смогу воспользоваться против его жены в припадке гнева.

Слуга отворил дверь и впустил еще одного посетителя. Я не расслышал его имени, но, когда он, мягко ступая по ковру, подошел к нам, я узнал сирийца, у которого год назад мы снимали комнату. Он улыбнулся мне как сообщнику и сказал:

— Ну, разумеется, я давно знаком с мистером Брауном. Не знал, что вы вернулись. Как вам понравилось в Нью-Йорке?

— Что нового в городе, Хамит? — спросил посол.

— В посольстве Венесуэлы попросил убежища еще один человек.

— Подозреваю, что скоро все хлынут ко мне, — сказал посол. — Да, на миру и смерть красна.

— Утром случилась ужасная история, ваше превосходительство. Власти запретили похороны доктора Филипо и украли гроб.

— До меня дошли слухи. Но я не поверил.

— Нет, это верно, — сказал я. — Я там был. Я видел своими глазами...

— Мсье Анри Филипо, — объявил слуга, и в наступившей тишине к нам подошел молодой человек, он слегка прихрамывал — очевидно, последствия детского паралича. Я его узнал. Это был племянник покойного министра; я с ним познакомился в более счастливые времена, когда небольшая группа писателей и художников собиралась у меня в «Трианоне». Помню, он читал свои стихи — изысканные, мелодичные, слегка упадочные, *vieux jeu*

[старомодные (фр.)], под Бодлера. Как далеки теперь от нас эти дни! Все, что от них осталось, — это ромовые пунши Жозефа.

— Вот вам первый беженец, ваше превосходительство, — сказал Хамит. — Я так и думал, что вы появитесь, мсье Филипо.

— О нет! — сказал молодой человек. — Что вы! Пока нет. Насколько я знаю, когда просишь политического убежища, ты должен прекратить политическую деятельность.

— А какой политической деятельностью вы хотите заняться? — спросил я.

— Расплавляю старое фамильное серебро.

— Не понимаю, — сказал посол. — Возьмите мою сигару, Анри. Настоящая «гавана».

— Моя дорогая и прекрасная тетя мечтает о серебряной пуле. Но одна пуля может не попасть в цель. Нужно много пуль. К тому же нам придется иметь дело не с одним дьяволом, а с тремя: с Папой-Доком, главой тонтон-макутов и с начальником дворцовой охраны.

— Хорошо, что на американские кредиты они покупали оружие, а не микрофоны, — сказал посол.

— А где вы были утром? — спросил я.

— Я только что вернулся из Кап-Аитьена и опоздал на похороны. Может, это и к лучшему. Меня задерживали на каждой заставе. Очевидно, принимали мой вездеход за первый танк армии вторжения.

— А как обстоят дела там?

— Да никак. Все кишит тонтон-макутами. Если судить по количеству темных очков, можно подумать, что ты в Голливуде.

В это время вошла Марта, и я рассердился, что она раньше поглядела на него, хотя и понимал, что благоразумнее, если она не будет обращать на меня внимания. Она и поздоровалась с ним, по-моему, чуть-чуть теплее, чем надо.

— Анри! — сказала она. — Я так рада, что вы пришли. Я за вас очень боялась. Побудьте у нас хоть несколько дней.

— Я не могу оставить тетю одну, Марта.

— Приведите и ее сюда. С ребенком.

— Пока еще не время.

— Смотрите, как бы потом не было поздно. — Она обернулась ко мне с приятной, ничего не означавшей улыбкой, которой обычно одаривала вторых секретарей, и сказала: — Мы совсем заштатное посольство, пока у нас нет своих беженцев, правда?

— Как здоровье вашего сына? — спросил я.

Мне хотелось, чтобы вопрос так же ничего не значил, как и ее улыбка.

— Боли немножко утихли. Он очень хочет вас видеть.

— Неужели? Зачем я ему?

— Он очень любит видеть наших друзей. А то ему кажется, что о нем забыли.

— Эх, если бы у нас были белые наемники, как у Чомбе! — сказал Анри Филипо. — Мы, гаитяне, уже лет сорок деремся только ножами и битыми бутылками. Нам необходимо иметь хоть несколько человек, обладающих опытом партизанской войны. Горы у нас не ниже, чем на Кубе.

— Но у вас нет лесов, где можно прятаться, — сказал я. — Ваши крестьяне их вырубали.

— И все же мы долго не сдавались американской морской пехоте. — Он добавил с горечью: — Я говорю «мы», хоть и принадлежу к другому поколению. Наше поколение научилось живописи — знаете, картины Бенуа покупают для Музея современной живописи (конечно, они стоят много дешевле европейских примитивов). наших писателей издают в Париже, а теперь они и сами туда переселились.

— А как ваши стихи?

— Они были довольно звучные, правда? Но под их напев Доктор пришел к власти. Мы

все отрицали, а в результате утвердился этот черный дьявол. Даже я за него голосовал. Знаете, а я ведь понятия не имею, как стрелять из ручного пулемета. Вы умеете из него стрелять?

— Ну, это дело простое. За пять минут научитесь.

— Научите меня.

— Сначала надо раздобыть пулемет.

— Научите меня по чертежам и пустым спичечным коробкам, а потом я, может, и раздобуду пулемет.

— Я знаю человека, который куда больше годится вам в учителя, чем я, но пока что он сидит в тюрьме. — Я рассказал ему о «майоре» Джонсе.

— Они его избили? — спросил он со злорадством.

— Вот это здорово! Белые не любят, когда их бьют.

— Он как будто отнесся к побоям очень спокойно. Мне показалось, что он к этому привык.

— Вы считаете, что у него есть военный опыт?

— Он говорит, будто воевал в Бирме, но тут ему приходится верить на слово.

— А вы не верите?

— Что-то в нем есть недостоверное, или, точнее сказать, не совсем достоверное. Когда я с ним говорил, мне вспомнились дни моей молодости в Лондоне — я уговорил один ресторан взять меня на работу; я знал французский и наврал, будто служил официантом у Фуке. Я все время боялся, что меня выведут на чистую воду, но мне это сошло с рук. Я ловко себя запродавал, как бракованную вещь, где дефект заклеен ярлычком с ценой. Не очень давно я так же успешно выдавал себя за эксперта по живописи, и опять никто не вывел меня на чистую воду. Иногда мне кажется, что Джонс играет в ту же игру. Помню, я посмотрел на него как-то вечером после концерта на пароходе — мы плыли с ним из Америки — и подумал: а не комедианты ли мы, брат, с тобой оба?

— Это можно сказать о большинстве из нас. Разве я не был комедиантом, когда писал стихи, от которых так и несло «Цветами Зла» [цикл стихов Бодлера], и печатал их за свой счет на дорогой бумаге? Я отправлял их на рецензию в ведущие французские журналы. Это была ошибка. Меня вывели на чистую воду. Я ни разу не прочел о своих стихах ни единой критической заметки, не считая того, что писал Пьер Малыш. На потраченные деньги я, пожалуй, мог бы купить пулемет. (Слово «пулемет» казалось ему теперь магическим.)

— Ладно, не горюйте, давайте вместе играть комедию, — сказал посол. — Возьмите мою сигару. Налейте себе чего-нибудь в баре. У меня хорошее виски. Может, и Папа-Док тоже только комедиант.

— Ну нет, — сказал Филипо. — Он настоящий. Чудовища всегда настоящие.

Посол продолжал:

— И нечего так уж сетовать на то, что мы комедианты, это благородная профессия. Правда, если бы мы были хорошими комедиантами, тогда у людей по крайней мере выработался бы приличный вкус. Но мы провалили свои роли, вот беда... Мы плохие комедианты, хоть и вовсе не плохие люди.

— Избави господи! — сказала Марта по-английски, словно обращаясь прямо ко мне. — Я не комедиантка. — Мы о ней забыли. Она заколотила кулаками по спинке дивана и закричала им уже по-французски: — Вы слишком много болтаете. И несете такую чепуху! А у моего мальчика только что была рвота. Вот, у меня еще руки пахнут. Он плакал, так ему было больно. Вы говорите, что играете роли. А я не играю роль. Я занимаюсь делом. Я подаю ему тазик. Даю аспирин. Я вытираю ему рот. Я беру его к себе в постель.

Она заплакала, не выходя из-за дивана.

— Послушай, дорогая... — смущенно сказал посол.

Я даже не мог к ней подойти или как следует на нее посмотреть: Хамит следил за мной

с иронией и сочувствием. Я вспомнил, что мы спали на его простынях, — интересно, сам ли он их менял? Он знал не меньше интимных подробностей, чем собака проститутки.

— Вы нас всех пристыдили, — сказал Филипо.

Марта повернулась и вышла, но в дверях зацепилась каблуком за ковер, споткнулась и чуть не упала. Я пошел за ней и взял под руку. Я знал, что Хамит за мной следит, но посол, если что-нибудь и заметил, ловко это скрыл.

— Скажи Анхелу, что я поднимусь к нему попрощаться через полчаса, — сказал он.

Я притворил за собой дверь. Она сняла туфлю и стала прикреплять оторвавшийся каблук. Я взял у нее из рук туфлю.

— Тут ничего не сделаешь, — сказал я. — У тебя нет других?

— У меня их пар двадцать. Как ты думаешь, он знает?

— Может быть. Не уверен.

— А нам от этого будет легче?

— Не знаю.

— Может, тогда нам не придется играть комедию.

— Ты же сказала, что ты не играешь.

— Яхватила через край, да? Но весь этот разговор мне был противен. Все мы вдруг показались мелкими, никому не нужными нытиками. Может, мы и есть комедианты, но чему тут радоваться. Я по крайней мере что-то делаю, правда? Даже если это плохо. Я же не представлялась, будто не хочу тебя. И не представлялась, что люблю тебя, в первый вечер.

— А теперь ты меня любишь?

— Я люблю Анхела, — сказала она, словно защищаясь, и стала подниматься в одних чулках по широкой старомодной лестнице. Мы вошли в длинный коридор с нумерованными комнатами.

— У вас много комнат для беженцев.

— Да.

— Найди какую-нибудь комнату для нас. Сейчас.

— Слишком опасно.

— Не опаснее, чем в машине, и какое это имеет значение, если он знает...

— «В моем собственном доме», — скажет он, точно так, как ты сказал бы: «В нашем „пежо“». Для мужчин всегда важна степень измены. Тебе было бы легче, не правда ли, если бы это происходило в чужом „кадиллаке“?

— Мы зря теряем время. Он дал нам всего полчаса.

— Ты обещал зайти к Анхелу.

— А потом?..

— Может быть. Не знаю. Дай подумать.

Она отворила третью по коридору дверь, и я очутился в комнате, в которую так не хотел входить: в их супружеской спальне. Обе кровати были двуспальные; их покрывала словно застилали всю комнату розовым ковром. В простенке стояло трюмо, в которое он мог наблюдать, как она готовится ко сну. Теперь, когда я почувствовал к нему симпатию, я думал, почему бы ему не нравиться и Марте. Он был толстый, но есть женщины, которые любят толстяков; любят ведь и горбунов, и одноногих. Он был собственник, но ведь есть женщины, которым нравится рабство.

Анхел сидел прямо, опершись на две розовые подушки; свинка не очень заметно раздула и без того пухлые щеки. Я сказал: «Ау!» Я не умею разговаривать с детьми. У него были карие невыразительные глаза южанина, как у отца, а не голубые арийские, как у висельника. У Марты были такие глаза.

— А я болен, — сказал он с оттенком морального превосходства.

— Вижу.

— Я сплю здесь с мамой. Папа спит рядом. Пока у меня не упадет температура. У меня

сейчас...

— Во что это ты играешь? — перебил его я.

— В головоломки. — Он спросил Марту: — А внизу больше никого нет?

— Там мсье Хамит и Анри.

— Пусть они тоже придут...

— Может, у них еще не было свинки. Они побоятся заразы.

— А у мсье Брауна была свинка?

Марта замаялась, и он сразу ее на этом поймал, как следователь на перекрестном допросе. Я ответил за нее:

— Была.

— А мсье Браун играет в карты? — спросил он с видимой непоследовательностью.

— Нет. То есть не знаю, — сказала она, словно боясь подвоха.

— Я не люблю играть в карты, — сказал я.

— А вот моя мама раньше любила. Чуть не каждый вечер уходила играть в карты, пока вы не уехали.

— Нам надо идти, — сказала она. — Папа через полчаса зайдет попрощаться с тобой.

Анхел протянул мне головоломку:

— Ну-ка, попробуйте.

Это был четырехугольный ящичек со стеклянной крышкой, где находились картинка с изображением клоуна, у которого вместо глаз были впадины, и два шарика ртути. Тряся ящичек, надо было вогнать шарики в пустые глазницы. Я вертел игрушку и так и сяк. Едва мне удавалось поймать один шарик, как, встряхнув ящичком, чтобы загнать другой, я упускал первый. Мальчишка на меня поглядывал с презрением и очень недоброжелательно.

— Извини, но я не мастер на такие штуки. Ничего у меня не выходит.

— А вы постарайтесь, — сказал он. — Давайте еще!

Я чувствовал, что время, которое я мог пробыть вдвоем с Мартой, идет на убыль, как песок в песочных часах, и он, по-моему, тоже это понимал. Чертовы шарики гонялись Друг за другом по ящичку, перекачивались через глазницы и то и дело ныряли в углы. Я медленно катил их по слегка наклонной плоскости к глазам клоуна, но стоило чуть-чуть наклонить ящик, как они сразу же скатывались на дно. И все приходилось начинать сначала, — я теперь едва-едва двигал ящик, разве что кончиками нервов.

— Один попал.

— Этого мало, — непреклонно заявил Анхел.

Я швырнул ему ящичек:

— Ладно. Покажи ты, как это делается.

Он скривил губы в коварной, враждебной улыбке. Взяв ящичек и положив его на левую ладонь, он едва заметно его шевельнул. Мне показалось, что ртутный шарик даже пополз вверх по наклону, помешкал на краешке впадины и упал в нее.

— Раз, — сказал он.

Второй шарик двинулся к другой глазнице, срезал край, повернулся и угодил прямо в ямку.

— Два.

— А что у тебя в левой руке?

— Ничего.

— Тогда покажи мне это ничего.

Он разжал кулак и показал маленький магнит.

— Смотрите только никому не говорите, — потребовал он.

— А если скажу?

Мы вели себя как взрослые, которые ссорятся из-за того, что один из них сплутывал в карты. Он пообещал:

— Если вы не скажете, я тоже не скажу. — В его карих глазах ничего нельзя было прочесть.

— Ладно, — сказал я.

Марта поцеловала его, взбила подушки, уложила поудобнее и зажгла у кровати ночник.

— А ты скоро ляжешь? — спросил он.

— Когда уйдут гости.

— А когда они уйдут?

— Почему я знаю?

— Ты им скажи, что я болен. А что, если у меня опять будет рвота? Аспирин не помогает. Болит головка.

— А ты полежи тихонько. Закрой глазки. Скоро придет папа. Тогда, наверно, все уйдут, и я лягу спать.

— Вы не пожелали мне «спокойной ночи», — сердито сказал он мне.

— Спокойной ночи. — Я с притворной лаской положил ему руку на голову и поерошил жесткие сухие волосы. От руки потом еще долго пахло мышами. В коридоре я сказал Марте:

— Даже он, кажется, знает.

— Как он может знать?

— На что же он намекал, говоря, что никому не скажет?

— Обычная детская игра.

Но мне трудно было относиться к нему, как к ребенку.

— Он так намучился с этой болезнью. И смотри, как он хорошо себя ведет.

— Да. Очень хорошо.

— Совсем как взрослый.

— О да. Я как раз об этом подумал.

Я взял ее за руку и потащил по коридору.

— Кто спит в этой комнате?

— Никто.

Я открыл дверь и потянул ее за собой.

— Не надо! — сказала Марта. — Неужели ты не понимаешь, что это невозможно.

— Меня не было три месяца, а с тех пор мы были вместе всего один раз.

— Я тебя не заставляла ездить в Нью-Йорк. Неужели ты не понимаешь, что у меня нет настроения? Не надо сегодня!

— Ты же меня сама просила прийти.

— Я хотела тебя видеть. Вот и все. А не спать с тобой.

— Ты меня не любишь?

— Пожалуйста, не задавай таких вопросов.

— Почему?

— Потому, что я могу задать такой же вопрос тебе.

Я признал справедливость ее упрека, и это меня обозлило, а злость охладила желание.

— Интересно, сколько у тебя было любовников?

— Четверо, — без запинки сказала она.

— Я четвертый?

— Да. Если тебе нравится так это называть.

Несколько месяцев спустя, когда связь наша кончилась, я оценил ее прямооту. Она не играла никакой роли. Она точно ответила на мой вопрос. Она никогда не притворялась, будто ей нравится то, что ей не нравилось, или что она любит то, к чему равнодушна. Если я ее не понял, то лишь потому, что неправильно задавал ей вопросы. Она и правда не была комедианткой. Она сохранила душевную чистоту, и теперь я понимаю, за что я ее любил. В конечном счете единственное, что привлекает меня к женщине, кроме красоты, — это то неопределенное свойство, которое мы зовем «порядочностью». Женщина в Монте-Карло

изменила своему мужу со школьником, но побуждения у нее были самые благородные. Марта тоже изменяла мужу, но меня привлекала в ней не ее любовь ко мне, если она меня и любила, а ее слепая, жертвенная привязанность к ребенку. На порядочность всегда можно положиться; почему же мне мало было ее порядочности, почему я всегда задавал ей дурацкие вопросы?

— А что, если сделать хоть одну любовную связь постоянной? — сказал я, отпуская ее.

— Разве за себя поручишься?

Я вспомнил единственное письмо, которое я от нее получил, не считая записочек, где назначались свидания, написанных иносказательно, на случай если они попадут в чужие руки. Она написала мне это письмо, когда я был в Нью-Йорке, в ответ на мое — скупое, подозрительное, ревнивое. (Я сошелся с одной потаскушкой с Восточной 56-й улицы и, естественно, предполагал, что и Марта нашла мне замену.) Она писала мне нежно, без всякой обиды. Конечно, если у тебя повесили отца за чудовищные преступления, вряд ли ты станешь раздувать мелкие обиды! Она писала об Анхеле, о том, какие у него способности к математике, она много писала об Анхеле и о том, как его мучат по ночам кошмары: «Я теперь сижу возле него чуть не каждый вечер», и я сразу же стал воображать, что она делает, когда с ним не сидит, с кем она тогда проводит свои вечера. Напрасно я себя утешал, что она проводит их с мужем или в казино, где я с ней познакомился.

И вдруг, словно читая мои мысли, она написала мне приблизительно так: «Физическая близость, наверно, большое испытание. Если мы можем его выдержать, относясь к тому, кого любим, с милосердием, а к тем, кому изменяем, с нежностью, нам не надо мучиться, хорошо или плохо мы поступаем. Но ревность, недоверие, жестокость, мстительность и взаимные попреки губят все. А гибель отношений — это грех, даже если ты жертва, а не палач. И добродетель тут не оправдание».

В то время эти рассуждения показались мне претенциозными, неискренними. Я злился на себя и поэтому злился на нее. Я разорвал письмо, хотя оно было таким нежным и несмотря на то, что оно было единственным. Я подумал, что она читает мне мораль, потому что я в тот день провел два часа на Восточной 56-й улице, — хотя откуда ей было об этом знать? Вот почему, несмотря на мою страсть к сувенирам — рядом с пресс-папье из Майами, входным билетом в казино Монте-Карло, — у меня нет ни клочка, написанного ею. А я так ясно помню ее почерк: круглые детские буквы; а вот как звучал ее голос — забыл.

— Что ж, — сказал я, — раз так, пойдем вниз.

Комната, где мы стояли, была холодная и нежилая; картины на стенах, по-видимому, выбирали наемные декораторы.

— Иди. Я не хочу видеть этих людей.

— У статуи Колумба, когда Анхел поправится?

— У статуи Колумба.

И когда я уже больше ничего не ждал, она меня обняла.

— Бедняжка ты мой. Хорошо же тебя дома встретили!

— Ты не виновата.

Она сказала:

— Ну, давай! Давай быстро! — Она легла на край кровати и притянула меня к себе, но я услышал голос Анхела в глубине коридора: «Папа! Папа!»

— Не слушай, — сказала она. Она поджала колени, и это сразу напомнило мне мертвое тело доктора Филиппо под трамплином; рождаясь, умирая и любя, человек принимает почти одну и ту же позу. Я ничего к ней не чувствовал, ровно ничего, а белая птица не прилетела, чтобы спасти мое самолюбие. Вместо этого послышались шаги посла, поднимавшегося по лестнице.

— Не волнуйся, — сказала она. — Он сюда не придет. — Но пыл мой охладел не из-за посла. Я встал, и она сказала: — Ерунда. Это была дурацкая затея, не сердись.

— У статуи Колумба?

— Нет. Я придумаю что-нибудь получше. Честное слово!

Она вышла из комнаты и окликнула мужа:

— Луис!

— Да, дорогая? — он появился на пороге их спальни с головоломкой Анхела в руке.

— Я показываю мистеру Брауну верхние комнаты. Он говорит, что несколько беженцев нам не помешали бы.

В ее голосе не было ни одной фальшивой нотки; она вела себя абсолютно естественно, и я вспомнил, как ее рассердил наш разговор о комедиантах, а сейчас она показала себя лучшей комедианткой, чем все мы. Я играл свою роль хуже; у меня от волнения перехватило горло.

— Мне пора, — пробормотал я.

— Почему? Еще так рано, — запротестовала Марта. — Мы ведь давно вас не видели, правда, Луис?

— У меня свидание, которое я не могу пропустить, — сказал я, не подозревая, что говорю правду.

Долгий, долгий день еще не кончился; до полуночи оставался час, то есть целая вечность. Я сел в машину и поехал по берегу моря; дорога была вся в ямах. Навстречу попадалось мало людей; они либо еще не осознали, что комендантский час отменен, либо боялись попасться на провокацию. Направо тянулся длинный ряд деревянных хижин на огороженных участках земли величиною с блюдо, где росло по несколько пальм, а между ними поблескивали лужицы воды, как железки в куче хлама. Кое-где горела свеча, и вокруг сидели люди, склонившись над стаканами рома, как плакальщицы над гробом. Иногда доносились несмелые звуки музыки. Посреди дороги плясал какой-то старик, мне пришлось затормозить. Он подошел и захихикал сквозь стекло — в эту ночь в Порт-о-Пренсе все же нашелся человек, которому не было страшно. Я не разобрал, что он говорит на своем *patois* [местное наречие], и поехал дальше. Я уже больше двух лет не ездил к матушке Катрин, но сегодня я нуждался в ее услугах. Бессилие мучило меня, как проклятье, и мне нужна была ведьма, чтобы его снять. Я вспомнил девушку с Восточной 56-й улицы, а потом нехотя подумал о Марте, и это подогрело мою злость. Если бы она отдалась мне тогда, когда я хотел, ничего бы этого не понадобилось.

Как раз перед заведением матушки Катрин начинался развилок; асфальт, если его можно было так назвать, кончался (не хватило денег или кто-нибудь не получил свою мзду). Налево шло на юг главное шоссе, по которому не проедешь ни на чем, кроме вездехода. Я удивился, обнаружив в этом месте заставу, потому что с юга вторжения не ждали. Я стоял, пока меня обыскивали тщательнее обычного, под большим деревянным щитом, где значилось: «США — ГАИТИ. Совместный пятилетний план. Большое южное шоссе». Но американцы уехали, и от пятилетнего плана осталась только доска над стоячими лужами, над изрытой канавами дорогой, кучами щебня и остовом бульдозера, который никто не позаботился вытащить из грязи.

Когда меня отпустили, я свернул направо и подъехал к владениям матушки Катрин. Кругом стояла такая тишина, что я даже засомневался, стоит ли выходить из машины. Длинная низкая хижина, похожая на конюшню, разделенную на стойла, предназначалась для любовных утех. В главном здании, где матушка Катрин принимала гостей и угощала их напитками, горел свет, но ни музыки, ни танцев не было слышно. На минуту мной овладело искушение сохранить верность Марте, и я чуть было не уехал. Но я слишком долго волочил свою обиду по этим ухабам, чтобы теперь повернуть назад, и я осторожно зашагал по неосвещенному участку, испытывая отвращение к себе. По глупости я поставил машину фарами к стене хижины, поэтому шел в полной тьме и сразу же споткнулся о вездеход с

выключенными огнями. За рулем кто-то спал. Я снова чуть не повернул назад, потому что в Порт-о-Пренсе почти ни у кого не было «джипов», кроме тонтон-макутов, а если тонтон-макуты сегодня веселятся с девочками матушки Катрин, там не место посторонним.

Но отвращение к себе толкало меня, и я шел дальше. Матушка Катрин услышала, как я спотыкаюсь, и вышла на порог с керосиновой лампой в руке. У нее было лицо доброй кормилицы из фильма о жизни в южных штатах и крошечная, хрупкая фигурка, когда-то, очевидно, очень красивая. Ее лицо не обманывало — это была самая добрая женщина, какую я знал в Порт-о-Пренсе. Она делала вид, что ее девочки — из хороших семейств и она только помогает им зарабатывать на карманные расходы, — в это легко верили, потому что она научила их прекрасно себя вести. Ее клиенты, пока они не забирались в стойла, тоже должны были соблюдать декорум; глядя, как танцуют пары, можно было подумать, что это выпускной бал в монастырской школе. Как-то раз, года три назад, я видел, как она вступилась за девушку, которую обидел хам. Я пил ром и услышал крик из каморки, которую мы звали стойлом, но, прежде чем я успел вмешаться, матушка Катрин схватила в кухне топор и ринулась в бой. Ее противник — вдвое выше ее ростом — был вооружен ножом и к тому же пьян. (У него, видно, в заднем кармане была припрятана фляжка, потому что матушка Катрин ни за что не отпустила бы девушку с пьяным.) Когда она влетела в комнату, пьяный бросился бежать, а позже, уходя, я увидел через кухонное окно, как она сидит с девушкой на коленях и баюкает ее, напевая что-то на своем непонятном *ratois*, а та прижалась к ее худенькому плечу и спит.

Матушка Катрин шепотом предупредила меня:

— Здесь тонтон-макуты.

— Всех девушек разобрали?

— Нет, но та, которая вам нравится, занята.

Я не был здесь два года, но она это помнила. И что еще удивительнее, девушка все еще была у нее, а ведь ей сейчас уже лет восемнадцать. Я не ожидал ее здесь найти и все же почувствовал огорчение. На склоне лет предпочитаешь старых друзей даже в борделе.

— А как они сегодня, очень злые?

— По-моему, нет. Охраняют какую-то важную персону. Это он сейчас с Тин-Тин.

Я чуть было не ушел, но обида на Марту сидела во мне как заноза.

— Все равно зайду, — сказал я. — Пить хочется. Дайте мне рому с кока-колой.

— Кока-колы больше нет.

Я забыл, что американская помощь прекратилась.

— Ну, тогда рому с содовой.

— У меня осталось несколько бутылок «Семерки».

— Ладно. Давайте «Семерку».

У входа в зал на стуле спал один из тонтон-макутов, темные очки свалились с носа на колени, и вид у него был довольно мирный. Ширинка на серых фланелевых брюках зияла, оторвалась пуговица. В открытую дверь я увидел четырех девушек в белых батистовых платьях с юбками колоколом. Они молча тянули через соломинки оранжад. Одна, взяв пустой стакан, отошла, она двигалась, раскачивая свой батистовый колокол плавно, как бронзовая балерина Дега.

— А где же клиенты?

— Все разбежались, когда приехали тонтон-макуты.

Я увидел, что из-за столика у стены на меня уставился, словно с нашей первой встречи он так и не спускал с меня глаз, тот самый тонтон-макут, которого я встретил сначала в полиции, а потом на шоссе, где он разбивал стекло катафалка, чтобы вытащить гроб *ancien ministre* [бывшего министра (фр.)]. Его фетровая шляпа лежала на стуле, на шее был полосатый галстук бабочкой. Я ему поклонился и направился к другому столу. Он мне внушал страх, и я старался отгадать, какую же важную персону — еще более важную, чем

этот заносчивый офицер, — улаживает сейчас Тин-Тин. И надеялся ради нее, что тот человек хотя бы не хуже этого подлеца.

— Странно, что я вас повсюду встречаю, — сказал офицер.

— А я так стараюсь не попадаться на глаза.

— Чего вам здесь сегодня надо?

— Рому с «Семеркой».

Он сказал матушке Катрин, которая принесла мне на подносе бокал:

— Вы же говорили, что у вас больше нет «Семерки»!

Я заметил, что на подносе рядом с моим стаканом стоит пустая бутылка из-под содовой. Тонтон-макут взял мой стакан и отпил из него.

— Это «Семерка». Можете принести ему ром с содовой. Вся «Семерка», какая у вас осталась, мне нужна для моего друга.

— В баре темно. Наверно, перепутала бутылки.

— Вам надо научиться делать различие между важными клиентами... — Он запнулся и решил все-таки соблюсти вежливость — ...и менее важными. Можете сесть, — разрешил он мне.

Я было повернулся, чтобы уйти.

— Можете сесть здесь. Садитесь. — Я послушался. — Вас остановили на заставе, обыскали?

— Да.

— А здесь, у дверей? Вас задержали у дверей?

— Да, матушка Катрин.

— А мой человек?

— Он спал.

— Спал?

— Да.

Я донес ему об этом, не моргнув глазом. Пусть тонтон-макуты истребляют друг друга. Меня удивило, что он промолчал и не двинулся с места. Он только тупо глядел сквозь меня своими черными, непроницаемыми окулярами. Наверно, что-то решал, но не хотел меня в это посвящать. Матушка Катрин принесла мне рому. Я отпил глоток. Ром был снова разбавлен «Семеркой». Она была смелая женщина.

— Вы сегодня, я вижу, соблюдаете особые предосторожности, — сказал я.

— Мне поручена охрана очень важного иностранца. Надо принять все меры, чтобы обеспечить его безопасность. А он попросил, чтобы его привезли сюда.

— Думаете, его не опасно оставить с маленькой Тин-Тин? Или вы поставили охранника и в спальне, капитан? Простите, не знаю, какой у вас чин — капитан или майор?

— Меня зовут капитан Конкассер. У вас есть чувство юмора. Я это ценю. И люблю, когда шутят. Шутки имеют политическое значение. Это отдушина для трусливых и бессильных.

— Вы говорите, что привезли сюда важного иностранца, капитан. А утром мне показалось, что вы не любите иностранцев.

— Лично я крайне низкого мнения о всех белых. Скажу откровенно — меня оскорбляет цвет их кожи, он напоминает мне сухой навоз. Но кое-кого из вас мы терпим, если вы полезны нашему государству.

— Вы хотите сказать, Доктору?

Он процитировал с едва приметным оттенком иронии:

— Je suis le Drapeau Haltien, Uni et Indivisible. — Потом отпил рому. — Конечно, кое-кого из белых еще можно терпеть. У французов, например, хотя бы общая с нами культура. Я восхищаюсь Генералом. Президент написал ему письмо и предложил включить Гаити в Communaute de l'Europe [Европейский союз (фр.)].

— Он получил ответ?

— Такие вещи быстро не делаются. Надо еще обсудить условия. Мы понимаем, что такое дипломатия. Мы не делаем таких грубых промахов, как американцы... и англичане.

У меня навязчиво вертелась в мозгу фамилия Конкассер. Где-то я ее слышал. Что-то она мне напоминала.

— Гаити по праву примыкает к третьей силе, — сказал капитан Конкассер. — Мы нерушимый бастион против нашествия коммунистов. Тут никакому Кастро не победить. Наши крестьяне преданы режиму.

— Или запуганы до смерти. — Я выпил залпом ром, его разглагольствования легче было выносить на нетрезвую голову. — А ваша важная персона, видно, не торопится.

— Он мне сказал, что у него долго не было женщины. — Капитан рывкнул на матушку Катрин: — Я требую, чтобы меня обслуживали! Понятно? — и топнул ногой: — Почему никто не танцует?

— Бастион свободного мира, — сказал я.

Четыре девушки поднялись из-за столика; одна завела патефон, и они принялись вертеться друг с дружкой в медленном, грациозном, старомодном танце. Их широкие юбки раскачивались, как серебряные кадьницы, обнажая ноги, стройные и золотистые, как у молодых ланей; они ласково улыбались друг другу, слегка откинувшись назад. Эти девушки были красивы и неотличимы, как птицы одного полета. Трудно было себе представить, что они продажны. Как все остальные.

— Конечно, свободный мир лучше платит, — сказал я, — и к тому же в долларах.

Капитан Конкассер заметил, куда я смотрю: черные стекла не мешали ему быть бдительным.

— Хотите девочку? Угощаю. Вон той маленькой с цветком в волосах, Луизой. Она на нас не смотрит. Робеет, боится, что я приревную. Ревновать putain! [проститутку (фр.)] Какая чушь! Если я прикажу, она вас прекрасно обслужит.

— Мне не нужна женщина. — Его мнимое великодушие не могло меня обмануть. Он хотел кинуть putain белому, как кость собаке.

— Зачем же вы сюда пришли?

Вопрос был законный. Я пробормотал: «Мне расхотелось», — глядя, как кружатся девушки, достойные лучшей участи, чем этот сарай, простенький бар и старые рекламы кока-колы.

— А вы не боитесь коммунистов? — спросил я.

— Ну, они нам не опасны. А если опасность появится, американцы высадят морскую пехоту. Конечно, у нас в Порт-о-Пренсе тоже есть коммунисты. Мы знаем их имена. Но они не опасны. Собираются по несколько человек, изучают Маркса. А вы коммунист?

— Как же я могу быть коммунистом? Я — владелец отеля «Трианон». Зарабатываю на американских туристах. Я капиталист.

— Тогда вас можно считать нашим, — сказал он даже с неким подобием любезности. — Если бы, конечно, не ваш цвет кожи.

— Зачем же меня так оскорблять?

— Цвет кожи не выбирают, — сказал он.

— Нет, не причисляйте меня к своим. Когда капиталистическая страна становится чересчур гнусной, она может оттолкнуть даже капиталистов.

— Капиталист всегда поддержит, если ему дать двадцать пять процентов прибыли.

— И проявить хоть немножко человечности.

— Вы рассуждаете, как человек религиозный.

— Да, может быть. Как религиозный человек, потерявший веру. Но разве вы не боитесь, что и ваши капиталисты могут потерять веру?

— Они теряют жизнь, но не веру. Их вера — это деньги. Они сохраняют ее до

последнего вздоха и оставляют в наследство детям.

— А ваша важная персона, он преданный вам капиталист или правый политический деятель?

Пока Конкассер звякал в стакане кубиками льда, я, кажется, вспомнил, от кого я о нем слышал. О нем рассказывал Пьер Малыш, даже с каким-то суеверным страхом. Этот Конкассер отобрал у американской водопроводной фирмы, после того как ее служащие были эвакуированы и американцы отозвали своего посла, все насосы и землеройки и отправил на стройку в горной деревушке у Кенскоффа, которая велась по его проекту. Проект был дичайший, и строительство далеко не пошло — рабочие в конце месяца разбежались, потому что им не платили; говорят, что к тому же у Конкассера начались нелады с главой тонтон-макутов, который хотел получить свою долю. В память о его безумной затее на склоне Кенскоффа и по сей час стоят четыре бетонные колонны и цементный пол, уже потрескавшийся от солнца и дождей. Быть может, важная персона, которая сейчас забавлялась с Тин-Тин, — какой-нибудь банкир, пообещавший дать ему кредит? Но какой же банкир, если он в здравом уме, согласится дать заем на постройку искусственного катка на склоне Кенскоффа в стране, откуда сбежали все туристы?

— Нам нужны инженеры, пусть даже белые инженеры, — сказал Конкассер.

— Император Кристоф обходился без них.

— Мы люди более современные, чем Кристоф.

— И поэтому строите каток вместо замков?

— Мне надоело ваше нахальство, — сказал капитан Конкассер, и я понял, что зашел слишком далеко.

Я задел его за живое и сам испугался. Если бы мне больше повезло с Мартой, я бы не так провел этот вечер; теперь я уже давно спал бы в своей постели и меня ничуть не касалась бы ни политика, ни коррупция власть имущих. Капитан вынул из кобуры револьвер и положил его на стол рядом с пустым стаканом. Он уронил подбородок на рубашку в белую и синюю полоску и мрачно молчал, словно взвешивая все «за» и «против» выстрела прямо в лоб. На его месте я не видел бы никаких «против».

Но тут подошла матушка Катрин, встала за моей спиной и поставила на стол два стакана с ромом.

— Ваш приятель провел уже больше получаса с Тин-Тин, — сказала она. — Ему пора...

— Ему должно быть предоставлено столько времени, сколько понадобится, — заявил капитан. — Он — важное лицо. Очень важное лицо. — В уголках его рта собралась пузырями слюна, совсем как у гадюки. Он дотронулся кончиками пальцев до револьвера. — Искусственный каток — это очень современно. — Его пальцы так и бегали между ромом и револьвером. Я обрадовался, когда они схватили стакан. — Ледяной каток — это шикарно. Это последний крик.

— Вы заплатили за полчаса, — повторила матушка Катрин.

— По моим часам — еще не время, — ответил капитан. — А что вы теряете? Других посетителей ведь нет.

— А мсье Браун?

— Не сегодня, — сказал я. — Я не решусь идти по стопам такого важного гостя.

— Чего же вы здесь торчите? — спросил капитан.

— Пить хочу. И потом — из любопытства. Мы ведь в Гаити теперь не так часто видим знатных иностранцев. Он дает деньги на ваш каток? — Капитан бросил взгляд на револьвер, но минутная вспышка, которая грозила опасностью, тут же прошла. Остались только ее приметы, как следы болезни: кровавая жилка на желтом белке глаза да съехавший набок полосатый галстук. — Вряд ли удобно, чтобы ваш знатный иностранец, вернувшись, обнаружил здесь труп белого. Это может испортить вам все дело.

— Что же, время терпит... — мрачно констатировал он, и вдруг лицо его разверзла

улыбка, словно трещина в бетоне пресловутого катка. Улыбка любезная и даже заискивающая. Он вскочил; за моей спиной хлопнула дверь, я обернулся и увидел Тин-Тин, всю в белом, которая тоже улыбалась, скромно, как невеста у входа в храм. Но они с Конкассером улыбались не друг другу, а важному гостю, который вел ее под руку. Это был мистер Джонс.

— Джонс! — воскликнул я. Его лицо еще украшали боевые шрамы, но сейчас они были аккуратно заклеены липким пластырем.

— Кого я вижу! Браун! — сказал он и, подойдя, горячо пожал мне руку. — Приятно встретиться со старой гвардией, — сказал он, словно мы были ветеранами предпоследней войны и впервые с тех пор встретились на полковом сборе.

— Мы же виделись только вчера, — сказал я и заметил, что он несколько смущен.

Стоило Джонсу вывернуться из какого-нибудь неприятного положения, как он тут же об этом забывал. Он объяснил капитану Конкассеру:

— Мы с мистером Брауном вместе плыли на «Медее». А как поживает мистер Смит?

— Да так же, как вчера, когда он у вас был. Очень о вас беспокоится.

— Обо мне? Почему? — И сказал: — Извините. Я вас еще не представил моей юной подруге.

— Мы с Тин-Тин хорошо знакомы.

— Вот и чудесно, чудесно! Садитесь, дорогая, мы все вместе пропустим по маленькой. — Он пододвинул ей стул, а потом, взяв меня под руку, отвел чуть-чуть в сторонку и сказал, понизив голос: — Понимаете, вся та история — уже вчерашний день.

— Я рад, что вы так быстро выкарабкались.

Он туманно объяснил:

— Помогла моя записка. Я на это и рассчитывал. В общем, я не очень волновался. Обе стороны допустили ошибки. Но мне бы не хотелось, чтобы девочки это знали.

— Поверьте, они бы вам только посочувствовали. Но неужели он не знает?

— О да, но ему приказано держать язык за зубами. Завтра я бы непременно вам все рассказал, но сегодня мне просто позарез было нужно сюда... Значит, вы уже знакомы с Тин-Тин?

— Да.

— Прелестная девушка. Я рад, что ее выбрал. Капитан хотел, чтобы я взял ту, с цветком.

— Не думаю, чтобы вы заметили особую разницу. Матушка Катрин держит лакомый товар. А что у вас общего с ним?

— Мы тут вместе обстрипали одно дельце.

— Неужели искусственный каток?

— Нет. При чем тут каток?

— Будьте осторожны, Джонс. Это опасный субъект.

— Не беспокойтесь, — сказал Джонс. — Я не маленький.

Мимо нас прошла матушка Катрин с подносом, заставленным бутылками рома и, видимо, последними запасами «Семерки». Джонс схватил с подноса стакан.

— Завтра они подыщут для меня какую-нибудь колымагу. Я к вам заеду, как только ее получу. — Он помахал Тин-Тин, а капитану крикнул: — Salut [привет (фр.)]. Мне здесь нравится, — добавил он. — По-моему, фортуна наконец мне улыбнулась.

Я вышел из зала с приторным вкусом от выпитой «Семерки» во рту. Проходя мимо, я потряс за плечо стража у двери — надо ведь хоть кому-то оказать добрую услугу! Я ошупью обошел вездеход и добрался до своей машины; вдруг я услышал за спиной шаги и отпрянул в сторону, подумав, что капитан все-таки решил постоять за честь своего катка. Но это была всего-навсего Тин-Тин.

— Я им сказала, что пошла *faire pipi* [сделать пипи (фр.)], — сообщила она.
 — Как поживаешь, Тин-Тин?
 — Очень хорошо, а вы?
 — *Ça marche* [ничего (фр.)].
 — А вы не хотите немножко обождать в машине? Они скоро уедут. Англичанин уже *tout-a-fait épuisé* [совсем выбился из сил (фр.)].
 — Не сомневаюсь, но я устал. Мне надо домой. Скажи, Тин-Тин, он тебя не обижал?
 — О, нет. Он мне понравился. Очень понравился.
 — А что тебе в нем так уж понравилось?
 — Он меня насмешил, — сказала она.
 Эту же фразу, к вящему моему огорчению, я услышал снова, но уже при других обстоятельствах. За мою беспорядочную жизнь я научился многим фокусам, но смешить я так и не умею.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Джонс исчез на какое-то время так же бесследно, как труп министра социального благоденствия. Никто так и не узнал, куда делся труп, хотя кандидат в президенты предпринял попытку это выяснить. Он проник в канцелярию нового министра, где его приняли деловито и вежливо. Пьер Малыш не пожалел сил, чтобы раструбить о нем как о «сопернике Трумэна», а новый министр краем уха слышал о Трумэне.

Министр был маленький толстенький человечек; он неведомо почему щеголял значком американской студенческой корпорации, зубы у него были крупные, белые и редкие, словно надгробные плиты, заготовленные для куда более просторного кладбища. Через его письменный стол доносился странный запах, будто одну могилу забыли засыпать землей. Я сопровождал мистера Смита на случай, если понадобится переводчик, но новый министр свободно говорил по-английски, правда, с таким американским акцентом, что в какой-то мере оправдывал свой значок. (Потом я узнал, что министр некоторое время служил посыльным в американском посольстве. Его производство в министры было бы редким примером выдвижения из низов, если бы в промежутке он не подвизался у тонтон-макутов адъютантом по особым поручениям при полковнике Грасиа, известном под кличкой Толстяк Грасиа.)

Мистер Смит принес извинение в том, что его рекомендательное письмо адресовано доктору Филипо.

— Бедняга Филипо, — сказал министр, и я подумал, что мы услышим наконец официальную версию о его кончине.

— Что с ним случилось? — спросил мистер Смит с похвальной прямоотой.

— Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Он был человек угрюмый, со странностями, и, должен вам сказать, профессор, с финансами у него не все в порядке. Было там одно дельце с водопроводной колонкой на улице Дезэ...

— Вы намекаете, что он покончил самоубийством?

Я недооценил мистера Смита. Ради высокой идеи он мог и схитрить, сейчас он решил не открывать своих карт.

— Может, и так. А может, он стал жертвой народного гнева. Мы, гаитяне, привыкли расправляться с тиранами по-своему.

— Разве доктор Филипо был тираном?

— Люди с улицы Дезэ не простили ему этого надувательства с водой.

— А теперь водопровод пустят? — спросил я.

— Это будет одним из моих первых мероприятий, — взмахом руки он обвел папки на полках у себя за спиной, — но, как видите, забот у меня немало.

Я заметил, что остальные скрепки на многих из его «забот» заржавели от длинной

череды дождливых сезонов: видно, «заботам» этим еще долго суждено здесь лежать.

Мистер Смит умело возобновил атаку:

— Значит, о докторе Филипо все еще нет никаких известий?

— Как выражались у вас в военных сводках, «пропал без вести, есть опасения, что убит».

— Но я был на его похоронах, — сказал мистер Смит.

— Где?

— На его похоронах.

Я наблюдал за министром. Он ничуть не смутился. Издав отрывистый лай, который должен был обозначать смех (мне вспомнился французский бульдог), он заявил:

— Никаких похорон не было.

— Да, их прервали.

— Вы и представить себе не можете, профессор, как клеветают на нас наши враги.

— Я не профессор и видел гроб собственными глазами.

— Гроб был набит камнями, профессор... простите, мистер Смит.

— Камнями?

— Точнее говоря, кирпичами. Их привезли из Дювальевиля, где мы строим наш прекрасный новый город. Краденными кирпичами. Мне бы хотелось показать вам как-нибудь Дювальевиль, если вы выберете утром время. Это наш ответ на постройку города Бразилиа.

— Но при этом присутствовала его жена.

— Бедная женщина, она — надеюсь, помимо своей воли, — стала игрушкой в руках бессовестных людей. Владельцы похоронного бюро арестованы.

Я отдал должное его находчивости и воображению. Мистер Смит был на время усмирён.

— Когда их будут судить? — спросил я.

— Следствие займет некоторое время. Заговор широко раскинул свои щупальца.

— Значит, это вранье, будто труп доктора Филипо во дворце? Говорят, его превратили в упыря и заставляют работать по ночам?

— Все это только суеверия, мистер Браун. К счастью, наш президент избавил страну от суеверий.

— В таком случае ему удалось то, что не удалось иезуитам.

Мистер Смит нетерпеливо нас прервал. Он сделал все, что мог, для доктора Филипо, и теперь его внимание целиком занимала его миссия. Ему вовсе не хотелось настраивать против себя министра неуместными разговорами об упырях и суевериях. Министр весьма благосклонно слушал его, выводя карандашом какие-то каракули. Это не означало, что он не слушал, — я заметил, что он чертил больше знаки процентов и плюсы; минусов там не было.

Мистер Смит говорил о здании, где разместится ресторан, кухня, библиотека и лекционный зал. Следовало бы оставить место и для будущих пристроек. Со временем можно будет подумать даже о театре и кино; вегетарианское общество мистера Смита уже и теперь могло снабжать документальными фильмами, и он надеется, что вскоре — если им будут предоставлены возможности — появится школа вегетарианской драматургии.

— А пока, — заметил он, — мы всегда можем опереться на Бернарда Шоу.

— Грандиозный проект, — признал министр.

Мистер Смит жил в республике уже неделю. Он видел, как похищали труп доктора Филипо; я возил его на машине по самым нищим кварталам. Вопреки моему совету он в то утро сам пошел на почту за марками. Я сразу же потерял его в толпе, а когда нашел, оказалось, что он ни на шаг не продвинулся к guichet [окошко (фр.)]. Его взяли в оборот два одноруких и три одноногих калеки. Двое пытались всучить ему грязные, захватанные конверты с аннулированными гаитянскими марками; остальные откровенно попрошайничали. А какой-то безногий устроился у его колен и выдернул шнурки из ботинок,

чтобы их почистить. Увидев, что собралась толпа, пробовали протиснуться поближе и другие. Молодой парень с дырой вместо носа, опустив голову, пытался протаранить себе дорогу в самую гущу. Безрукий поднимал над толпой две розовые, словно полированные, кульги, демонстрируя иностранцу свои увечья. Это была обычная тут сцена, вот разве что иностранцы стали редкостью. Мне пришлось пустить в ход силу, чтобы пробиться к нему, и моя рука ненароком наткнулась на жесткую безжизненную кульгу, словно на резиновую дубинку. Я отвел ее в сторону и почувствовал к себе отвращение, словно оттолкнул страждущего. Я даже подумал, а что сказали бы обо мне отцы св. Пришествия? Так глубоко коренятся в нас привычки и верования нашего детства. Я потратил минут пять, чтобы вызволить мистера Смита, но шнурков своих он лишился. Прежде чем идти к министру социального благоденствия, нам пришлось зайти к Хамиту и купить другие шнурки.

Мистер Смит сказал министру:

— Конечно, наш центр не будет давать прибылей, но зато мы обеспечим работой библиотекаря, секретаря, бухгалтера, повара, официантов... а со временем, я надеюсь, и билетерш в кино... По меньшей мере человек двадцать. Киносеансы будут просветительные, бесплатно. Что касается театра... Что ж, не стоит так далеко заглядывать вперед. Все вегетарианские продукты будут поставляться по себестоимости, а книги — тоже бесплатно.

Я слушал его с изумлением. Он был по-прежнему во власти своей мечты. Действительность не могла ее поколебать. Даже сцена на почте ее не омрачила: гаитяне, избавленные от кислотности, нищеты и страстей, вскоре радостно примутся за ореховые котлеты.

— Новый город Дювальевиль, очевидно, нам подойдет, — продолжал мистер Смит. — Я не противник современной архитектуры, — вовсе нет. Новые идеи нуждаются в новых формах, а я хочу поделиться с вашей республикой новой идеей.

— Это, пожалуй, можно устроить, — сказал министр, — там есть свободные участки. — Он начертил на листе ряд маленьких крестиков: одни плюсы. — У вас, несомненно, большие средства.

— Я думал, что совместное предприятие, вместе с вашим правительством...

— Вы, конечно, понимаете, мистер Смит, что мы не социалистическое государство. Мы верим в свободное предпринимательство. Подряд на строительство будет дан с торгов.

— Резонно.

— Окончательное решение, конечно, за правительством. Дело ведь не только в том, кто предложит самую низкую смету. Надо принять во внимание и планировку города. Санитарные условия тоже имеют, как вы знаете, первейшее значение. Поэтому я думаю, что скорее всего вашим проектом займется министерство социального благоденствия.

— Отлично, — заметил мистер Смит. — В таком случае я буду иметь дело с вами.

— Позднее нам, конечно, придется посоветоваться с казначейством. И с таможенниками. Весь импорт проходит через таможню.

— Но ведь у вас не взимается пошлина с продуктов питания?

— А кинофильмы?..

— Просветительные фильмы?

— Знаете что, обсудим все это потом. Раньше всего надо выбрать участок. И определить его стоимость.

— А вы не думаете, что правительство могло бы выделить нам участок безвозмездно? Поскольку мы вложим деньги в строительные работы. Я полагаю, что земля здесь вряд ли особенно дорога.

— Земля принадлежит народу, а не правительству, мистер Смит, — заметил министр с мягкой укоризной. — А впрочем, вы увидите, что для нового Гаити нет ничего невозможного. Если хотите знать мое мнение, я бы со своей стороны предложил внести за участок сумму, равную стоимости строительства...

— Но это же ерунда, — сказал мистер Смит. — Одно к другому не имеет никакого отношения.

— ...которая будет возвращена по окончании работ.

— Значит, вы полагаете, что участок предоставят бесплатно?

— Совершенно бесплатно.

— Тогда я не понимаю, для чего нужен этот залог.

— Для обеспечения оплаты рабочих, мистер Смит. Многие иностранные предприятия неожиданно лопались, и в платежный день рабочий не получал ни гроша. Для бедной семьи это настоящая трагедия. А у нас в Гаити все еще много бедных семей.

— Может быть, гарантия банка...

— Наличные всегда лучше, мистер Смит. Гурды — устойчивая монета уже не один десяток лет, а вот у доллара положение напряженное...

— Мне придется написать домой, в мой комитет. Сомневаюсь...

— Напишите домой, мистер Смит, и скажите им, что наше правительство приветствует все прогрессивные начинания и сделает все, что в его силах.

Министр поднялся из-за стола, давая понять, что беседа окончена; его широкая зубастая улыбка показывала, что он считает разговор плодотворным для обеих заинтересованных сторон. Он даже обнял мистера Смита за плечи, подтверждая, что они теперь соратники в великом деле прогресса.

— А участок?

— У вас будет большой выбор, мистер Смит. Может, где-нибудь возле собора? Или колледжа? Или театра? Вы сможете выбрать любой, лишь бы это вписывалось в пейзаж Дювальевиля. Такой красивый город. Вот увидите. Я сам вам его покажу. Завтра я, к сожалению занят. Делегации одолевают. Ничего не поделаешь — демократия, но вот в четверг...

В машине мистер Смит сказал:

— Он, кажется, всерьез заинтересовался этим проектом.

— Будьте поосторожнее с залогом.

— Но ведь его возвратят?

— Только по окончании строительства.

— А что вы думаете насчет кирпичей в гробу? Как вам кажется, это правда?

— Нет.

— В конце концов, — сказал мистер Смит, — ведь никто не видел тела доктора Филиппо своими глазами. Не стоит судить чересчур поспешно.

С тех пор как я был в посольстве, прошло уже несколько дней, а я ничего не слышал о Марте, и это меня беспокоило. Я снова и снова мысленно разыгрывал ту сцену, стараясь припомнить, были ли произнесены роковые слова, но, по-моему, ничего такого сказано не было. Когда наконец от нее пришла короткая сухая записка, я вздохнул с облегчением. Хоть и не без досады: Анхелу стало лучше, боли прошли, она может встретиться со мной, если я захочу, у памятника. Я отправился на свидание и выяснил, что ничего не изменилось.

Но даже и то, что все было по-прежнему, даже ее нежность обижали меня. Ну да, теперь, когда ей удобно, она готова мне отдалиться...

— Мы не можем жить в машине, — сказал я.

— Я тоже много об этом думала. Мы совсем изведемся, если будем все время прятаться. Я готова поехать в «Трианон», лишь бы не попасться на глаза твоим постояльцам.

— Сейчас Смиты наверняка уже спят.

— Поедем на всякий случай в разных машинах... Я всегда могу сказать, что привезла тебе записку от мужа. Приглашение. Что-нибудь в этом роде. Ты поезжай вперед. Я выеду минут через пять.

Я ожидал, что мы будем препираться всю ночь, как вдруг дверь, в которую я так долго ломился, распахнулась. Я прошел в эту открытую дверь и почувствовал только разочарование. Она хитрее меня, подумал я. И опытнее, знает что к чему.

Смиты меня удивили. Когда я приехал в гостиницу, они еще не ложились спать: слышно было, как звякают ложки, консервные банки, доносились приглушенные голоса. Сегодня, как назло, они решили поужинать своим истролом и бармином на веранде. Я иногда гадал, о чем они говорят, когда остаются одни. Перебирают в памяти былые битвы? Я поставил машину и остановился внизу, прислушиваясь.

— Детка, ты уже положила две ложки, — раздался голос мистера Смита.

— Нет, что ты! И не думала.

— А ты сперва попробуй, сама увидишь.

Ее молчание подтвердило, что он оказался прав.

— Я часто задаю себе вопрос, — сказал мистер Смит, — куда девался тот бедняк, который спал в бассейне в ту ночь, когда мы приехали. Помнишь, детка?

— Конечно, помню. И очень жалею, что не спустилась к нему, — ответила миссис Смит. — На следующий день я спросила о нем Жозефа, но, по-моему, он мне наврал.

— Наврал, детка? Ну что ты, просто он тебя не понял.

Я поднялся по ступенькам, и они поздоровались со мной.

— Вы еще не спите? — задал я глупый вопрос.

— Мистер Смит запустил свою переписку, и нам пришлось покорпеть.

Я не знал, как поскорее спровадить их до приезда Марты.

— Зря вы так поздно засиживаетесь, — сказал я. — Ведь завтра утром министр повезет вас в Дювальевиль. Выедем рано.

— Ничего, — сказал мистер Смит. — Жена не поедет. Я не хочу, чтобы она тряслась по таким дорогам на солнцепеке.

— Раз ты можешь ехать, могу и я.

— Мне поневоле приходится ехать, детка. А тебе незачем. Ты сможешь подогнать свои занятия французским по самоучителю.

— Но и вам нужно выспаться, — вставил я.

— Я вообще мало сплю, мистер Браун. Помнишь, детка, вторую ночь в Нашвилле?..

Я заметил, что Нашвилл то и дело всплывает в их воспоминаниях — может быть, потому, что это была их самая славная битва.

— Знаете, кого я видел сегодня в городе? — спросил мистер Смит.

— Кого?

— Мистера Джонса. Он выходил из дворца с каким-то толстяком в военной форме. Часовой отдал им честь. Я, правда, не думаю, что он отдавал честь мистеру Джонсу.

— Ему видно, повезло, — заметил я. — Из тюрьмы прямо во дворец! Это даже лучше, чем из хижины — в Белый дом.

— Я всегда считал, что мистер Джонс — человек незаурядный. Очень рад, что он пошел в гору.

— Только бы не на чужом горбу...

Даже от такого легкого неодобрения по адресу ближнего лицо мистера Смита сразу окаменело. Он нервно помешивал свой истрол, у меня появилось сильное искушение рассказать ему о телеграмме, полученной капитаном «Медеи». Может быть, страстная вера в непорочность мира — все-таки признак слабости?

От искушения меня спас шум подъезжающей машины, и через минуту по ступеням поднялась Марта.

— Смотрите, это же очаровательная миссис Пинеда! — с облегчением воскликнул мистер Смит.

Он вскочил и принялся ее усаживать. Марта посмотрела на меня с отчаянием.

— Уже поздно, — сказала она. — Я только на минутку, привезла вам записку от мужа...

Она достала из сумочки конверт и сунула мне.

— Выпейте немножко виски, — сказал я.

— Нет, нет. Мне действительно нужно домой.

Миссис Смит заметила — по-моему, чуточку сухо, но, может быть, мне это только почудилось:

— Не торопитесь из-за нас, миссис Пинеда. Мы с мистером Смитом идем спать. Пошли, голубчик.

— Мне все равно пора домой. Понимаете, у моего сына свинка... — И чего вдруг она пустилась в объяснения?

— Свинка? — переспросила миссис Смит. — Да, это неприятно, миссис Пинеда. В таком случае вы, конечно, торопитесь поскорее домой.

— Я провожу вас до машины, — сказал я и увел Марту.

Мы проехали до конца аллеи и остановились.

— Что случилось? — спросила Марта.

— Зря ты дала мне письмо, адресованное тебе, да еще моим почерком.

— Я растерялась. Но у меня в сумке не было другого. Разве она могла заметить?

— Она все замечает. Не то что ее муж.

— Прости. Что же теперь делать?

— Подождем, пока они лягут.

— А потом крадучись поднимемся наверх и увидим, как дверь отворяется и миссис Смит...

— Они на другом этаже.

— Тогда мы наверняка встретим ее на площадке. Не могу.

— Еще одна встреча испорчена.

— Милый, в тот вечер, когда ты вернулся, у бассейна... Я так хотела...

— Они все еще живут в номере-люкс «Джон Барримор» над самым бассейном.

— Мы можем спрятаться под деревьями. Свет повсюду потушен. Сейчас темно. Даже миссис Смит в темноте ничего не увидит.

Непонятно почему, но мне вдруг расхотелось.

— Москиты... — начал я, пытаясь оправдать свою неохоту.

— Черт с ними, с москитами.

В прошлый раз мы поссорились потому, что заупрямилась она. Теперь наступил мой черед. Я подумал с досадой: ее дом нельзя осквернять, а чем мой хуже? Но потом я подумал: что можно здесь осквернить? Труп в бассейне?

Мы вышли из машины и направились к бассейну, стараясь как можно меньше шуметь. В номере-люкс «Барримор» еще горел свет, и тень одного из Смитов промелькнула на москитной сетке, которой было затянуто окно. Мы легли в неглубокий овражек под пальмами, словно трупы в братскую могилу, и я вспомнил еще одну смерть — Марсея, повесившегося на люстре. Ни я, ни она не умерли бы от любви. Мы погоревали бы, разошлись и нашли бы другую любовь. Наша стихия — комедия, а не трагедия. Среди деревьев носились светлячки и бросали дрожащий свет на мир, в котором мы были чужими. Мы — белые — были здесь слишком далеко от родного дома. Я лежал так же неподвижно, как Monsieur le Ministre [господин министр (фр.)].

— В чем дело, родной? Ты на меня за что-нибудь сердишься?

— Нет.

— Ты меня не хочешь, — покорно сказала она.

— Не здесь. Не сейчас.

— В прошлый раз я тебя рассердила. Но я хотела это загладить.

— Я так и не рассказал тебе, что произошло в ту ночь. Почему я отослал тебя с

Жозефом.

— Я думала, ты не хотел, чтобы меня видели Смиты.

— Доктор Филиппо лежал мертвый в бассейне, вон там, совсем рядом. Где сейчас лунный блик...

— Его убили?

— Он перерезал себе горло. Чтобы не попасть в руки тонтон-макутам.

Она слегка отстранилась.

— Понимаю. Боже мой, до чего ужасно все, что здесь происходит. Живешь точно в кошмаре.

— Только кошмары здесь стали реальностью. Гораздо большей реальностью, чем мистер Смит с его вегетарианским центром. Большей реальностью, чем мы с тобой.

Мы тихо лежали рядом в нашей могиле, и я любил ее так, как никогда не любил в «пежо» или в спальне над лавкой Хамита. Слова сблизили нас больше, чем любые прикосновения.

— Я завидую тебе и Луису, — сказала она. — Вы во что-то верите. Еще можете что-то объяснить себе.

— Ты думаешь? Ты думаешь, что я еще во что-то верю?

— Мой отец тоже верил, — сказала она (впервые в разговоре со мной она упомянула об отце).

— Во что? — спросил я.

— В лютеранского бога, — сказала она. — Он был лютеранином. Набожным лютеранином.

— Счастливый человек, если он во что-то верил.

— А люди в Германии тоже перерезали себе глотки, чтобы не попасть к нему в руки.

— Ничего тут нет странного. Так устроена жизнь. Жестокость — как прожектор. Она шарит, нащупывая жертву. Мы ускользаем от нее только на время. Сейчас мы с тобой прячемся от нее под пальмами.

— Вместо того чтобы действовать?

— Вместо того чтобы действовать.

Она сказала:

— Тогда я, кажется, предпочитаю отца.

— Ну уж нет.

— Ты о нем знаешь?

— Мне рассказал твой муж.

— Он по крайней мере не был дипломатом.

— Или хозяином гостиницы, который зависит от туристов?

— В этом нет ничего дурного.

— Капиталистом, который только и ждет, чтобы в страну опять потекли доллары...

— Ты говоришь, как коммунист.

— Иногда я жалею, что я не коммунист.

— Но ведь вы с Луисом католики...

— Да, нас обоих воспитали иезуиты, — сказал я. — Они научили нас размышлять, и мы по крайней мере знаем, какую играем сейчас роль.

— Сейчас?

Мы долго лежали, крепко обнявшись. Порой мне кажется, что это были наши самые счастливые минуты. Впервые мы доверили друг другу нечто большее, чем свои тела.

На следующий день мы отправились в Дювальевиль — мистер Смит, я и министр; за рулем сидел тонтон-макут — может быть, он должен был нас охранять, может быть, за нами шпионить, а может быть, помогать нам пробираться через заставы; это была дорога на север,

по которой, как надеялось большинство жителей Порт-о-Пренса, в один прекрасный день придут танки из Санто-Доминго. И я подумал: что толку тогда будет от трех захудалых милиционеров у дорожной заставы?

На рынок в столицу направлялись сотни женщин, они сидели, свесив ноги, на своих *bourtiqes* [осликах (фр.)] и смотрели по сторонам на поля, не обращая на нас никакого внимания: для них мы не существовали. Проносились автобусы, выкрашенные красными, желтыми и голубыми полосами. В стране могло не хватать еды, но зато красок было хоть отбавляй. Склоны гор одевали темно-синие тени, море отсвечивало золотом и зеленью. Зелень была повсюду, все ее оттенки: ядовитая бутылочная зелень сизаля, пересеченная черными полосами; бледная зелень банановых деревьев, желтевших на макушке под цвет песка на кромке тихого зеленого моря. В стране буйствовали краски.

По скверной дороге на бешеной скорости промчалась большая американская машина, обдав нас пылью, — и только пыль была бесцветной. Министр вытащил ярко-красный носовой платок и протер глаза.

— *Salauds!* — воскликнул он.

Мистер Смит пригнулся к моему уху и прошептал:

— Вы видели, кто проехал?

— Нет.

— По-моему, один из них был мистер Джонс. Но я мог и ошибиться. Они ехали так быстро.

— Ну, это маловероятно, — сказал я.

На плоской неприглядной равнине между горами и морем построили несколько белых однокомнатных коробок, цементированную спортивную площадку и огромную арену для петушиных боев — рядом с маленькими домишками она выглядела почти так же величественно, как Колизей. Все это было расположено во впадине, наполненной пылью, которая, когда мы вышли из машины, вихрем закружилась вокруг нас, поднятая порывом ветра, предвещавшим грозу; вечером пыль снова превратится в грязь. И, стоя в этой цементной пустыне, я удивлялся, откуда могли тут взяться кирпичи для гроба доктора Филипо.

— Это что, античный театр? — с интересом спросил мистер Смит.

— Нет. Здесь убивают петухов.

Рот у мистера Смита страдальчески передернулся, но он поборол свое чувство: ведь оно было бы тоже своего рода осуждением.

— Что-то здесь не видно людей, — сказал он.

Министр социального благоденствия с гордостью ответил:

— На этом месте проживало несколько сот человек. Ютились в убогих землянках. Необходимо было расчистить площадку. Это была операция крупного масштаба.

— Куда же они переселились?

— Некоторые, наверно, ушли в город. Другие — в горы. К своей родне.

— А они вернутся, когда город будет построен?

— Да видите ли, мы хотим поселить здесь людей поприличнее.

По ту сторону арены для петушиных боев стояли четыре дома с опущенными, как у мертвых бабочек, крыльями; они напоминали дома Бразилиа, если их разглядывать в перевернутый бинокль.

— А кто будет жить там? — спросил мистер Смит.

— Это дома для туристов.

— Для туристов? — переспросил мистер Смит.

Даже моря отсюда не было видно; кругом не было ничего, кроме гигантской арены для петушиных боев, цементной площадки, пыли и каменистого склона. У одной из белых коробок сидел на стуле седой негр; вывеска над его головой сообщала, что он — мировой

судья. Это было единственное тут человеческое существо; наверно, он обладал немалыми связями, чтобы так быстро здесь обосноваться. Нигде не было и признака рабочих, хотя на цементной площадке стоял бульдозер без одного колеса.

— Ну да, для посетителей, которые приезжают осматривать Дювальевиль, — разъяснил министр.

Он подвел нас поближе к одному из четырех домов, который ничем не отличался от прочих коробок, если не считать бесполезных крыльев — я представил себе, как они отвалятся в сезон проливных дождей.

— Один из этих домов — их проектировал наш лучший архитектор — вполне подойдет для вашего центра. И вам не придется начинать на голом месте.

— Мне казалось, что помещение должно быть побольше.

— А вы можете взять все четыре дома.

— Куда же тогда денутся ваши туристы? — спросил я.

— Мы построим другие дома вон там, — ответил он, махнув рукой в сторону иссохшей, невзрачной равнины.

— Глуховатое место, — мягко заметил мистер Смит.

— Мы поселим здесь пять тысяч человек. Для начала.

— Где они будут работать?

— Мы перебазирuem сюда промышленность. Наше правительство стоит за децентрализацию промышленности.

— А где же будет собор?

— Вон там, за бульдозером.

Из-за угла большой арены выползло, раскачиваясь, еще одно человеческое существо. Мировой судья, как видно, был не единственным обитателем нового города. Город имел уже и своего нищего. Он, верно, спал на солнышке, пока его не разбудили наши голоса. А может, ему померещилось, что мечта архитектора сбылась и в Дювальевиль нагрянули туристы. У него были очень длинные руки, но зато не было ног, и он приближался к нам рывками, как игрушечная лошадь-качалка. Увидев нашего водителя, его темные очки, револьвер, он замер на месте, потом что-то монотонно забормотал, вытащил из-под дырявой, как сито, рубахи маленькую деревянную статуэтку и протянул нам.

— Значит, здесь уже есть и нищие, — сказал я.

— Это не нищий, — объяснил министр, — это скульптор.

Он что-то сказал тонтон-макуту, тот пошел и принес статуэтку; это была фигурка полуголой девушки, ничем не отличавшаяся от десятков таких же фигурок в сирийских лавках, где они дожидались легковых туристов, которые больше не приезжали.

— Позвольте преподнести вам подарок, — сказал министр, вручая статуэтку мистеру Смиуту; тот смутился. — Образец гаитянского искусства.

— Я должен с ним расплатиться, — сказал мистер Смит.

— В этом нет никакой необходимости. О нем заботится правительство.

Министр повернул назад к машине, поддерживая мистера Смита под локоть, чтобы тот не оступился на разрытой площадке. Нищий раскачивался взад и вперед, издавая звуки, полные горечи и отчаяния. Слов нельзя было разобрать; кажется, у него была повреждена верхняя челюсть.

— Что он говорит? — спросил мистер Смит.

Министр сделал вид, что не слышит.

— Со временем, — сказал он, — мы здесь воздвигнем настоящий дворец искусств, где художники смогут жить, созерцая природу и черпая в ней вдохновение. Гаитянское искусство славится во всем мире. Многие американцы коллекционируют наши картины, кое-какие из них даже выставлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке.

Мистер Смит сказал:

— Что бы вы ни говорили, я заплачу этому человеку.

Он стряхнул с себя руку министра социального благоденствия, побежал обратно к калеке, вытащил пачку долларовых бумажек и протянул ему. Калекка смотрел на него со страхом и недоверием. Наш шофер двинулся было, чтобы вмешаться, но я преградил ему дорогу. Мистер Смит нагнулся к калекке и всунул деньги ему в руку. Нищий с огромным трудом закачался назад к арене. Может, у него там была какая-нибудь дыра, где он мог спрятать деньги...

Лицо шофера исказилось от бешенства — будто его ограбили. По-моему, он собирался вытащить револьвер (пальцы у него так и дернулись к поясу) и прикончить хотя бы одного художника, но мистер Смит возвращался, заслоняя ему мишень.

— Ну, вот, теперь он не прогадал, — с удовлетворением улыбнулся мистер Смит.

Мировой судья привстал около своей коробки, наблюдая за сделкой, — теперь, когда он поднялся на ноги, видно было, какой это гигант. Он прикрыл рукой глаза от яркого солнца. Мы заняли места в машине, и на мгновение воцарилось молчание. Потом министр спросил:

— Куда бы вы хотели поехать еще?

— Домой, — лаконично ответил мистер Смит.

— Я могу показать вам участок, который мы наметили для колледжа.

— На сегодня достаточно, — сказал мистер Смит. — Если вы не возражаете, я хотел бы поехать домой.

Я оглянулся. Мировой судья огромными прыжками мчался через спортивную площадку, а калекка, отчаянно раскачиваясь, уходил от него к петушиной арене; он напомнил мне краба, удирающего в свою нору. Ему оставалось всего каких-нибудь двадцать шагов, но дело его было гиблое. Когда минуту спустя я оглянулся, Дювальевиль скрылся в облаке пыли, поднятом нашей машиной. Я ничего не сказал мистеру Смит, он благодушно улыбался, совершив доброе дело; по-моему, он уже предвкушал, как расскажет эту историю миссис Смит — историю, которой она вместе с ним порадует.

Когда проехали несколько миль, министр заметил:

— Туристский участок, конечно, находится и в ведении министра общественных работ; придется также посоветоваться с министром по делам туризма, но он мой личный друг. Если бы вы договорились со мной, я позаботился бы, чтобы и остальные были удовлетворены.

— В каком смысле «удовлетворены»? — спросил мистер Смит.

Не так уж он был прост: хотя его веру и не поколебали нищие на почтамте, город Дювальевиль, по-моему, раскрыл ему глаза.

— Вы же вряд ли пожелаете участвовать в бесконечных совещаниях, — продолжал министр, доставая коробку сигар из-за спинки сиденья. — А я изложу вашу точку зрения моим коллегам. Возьмите, профессор, парочку сигар.

— Благодарю вас, я не курю.

Водитель курил. Увидев эту сцену в зеркальце, он перегнулся назад и перехватил две сигары. Одну он закурил, другую сунул в карман рубашки.

— Мою точку зрения? — сказал мистер Смит. — Что ж, если угодно, я ее изложу. Я не думаю, что ваш Дювальевиль станет подлинным центром прогресса. Он слишком далеко расположен.

— Вы бы предпочли участок в столице?

— Я начинаю подумывать о пересмотре всего проекта вообще, — сказал мистер Смит так решительно, что даже министр смущенно замолчал.

И все-таки мистер Смит медлил с отъездом. Может быть, когда он обсудил все события этих дней с миссис Смит, помощь, которую он оказал калекке, возродила в нем надежду — надежду, что он еще в состоянии помочь страждущему человечеству. Может быть, миссис Смит укрепила в нем веру и поборола его сомнения (она была более стойким бойцом, чем

он). Мы провели больше часа в мрачном молчании, но, когда мы подъезжали к «Трианону», мистер Смит уже явно начал смягчать свои суровые оценки. Его угнетала мысль, что вдруг он был несправедлив. Он холодно, но вежливо попрощался с министром социального благоденствия, поблагодарив его «за очень интересную экскурсию», но, уже стоя на ступеньках веранды, покался:

— Я, кажется, слишком резко напустился на него за эту фразу «все были удовлетворены». Она вывела меня из себя, но ведь английский — не родной для него язык. Может, он не имел в виду...

— Он имел в виду именно то, что вы думаете, хоть и не хотел высказываться так откровенно.

— Должен признаться, что это строительство не произвело на меня благоприятного впечатления, но, знаете, даже Бразилиа... а у них там сколько хотите специалистов... ведь к чему-то стремиться — уже похвально, даже если терпишь неудачу.

— Боюсь, что они здесь еще не созрели для вегетарианства.

— Мне тоже это приходило в голову, но, может быть...

— Наверно, им сперва надо вволю наесться мяса.

Он взглянул на меня с укором.

— Мы обсудим все это с миссис Смит.

Потом он оставил меня одного, вернее, так я думал, пока, зайдя к себе в кабинет, не застал там британского поверенного в делах. Жозеф успел поднести ему своего знаменитого ромового пунша.

— Какой красивый цвет, — сказал поверенный, подняв на свет бокал.

— Тут гренадин.

— Я еду в отпуск, — сказал он, — на будущей неделе. Пришел попрощаться.

— Небось будете счастливы, что выбрались отсюда.

— Почему, здесь интересно, — сказал он, — очень интересно. Бывают места и похуже.

— Разве что Конго. Но там люди умирают быстрее.

— А я все же рад, — продолжал поверенный, — что не оставляю в тюрьме соотечественника. Заступничество мистера Смита увенчалось успехом.

— Не знаю, помог ли тут мистер Смит. У меня создалось впечатление, что Джонс выбрался бы сам, так или иначе.

— Хотел бы я знать, в чем его сила. Не стану от вас скрывать, что я наводил справки...

— Он, как и мистер Смит, привез рекомендательное письмо, и я подозреваю, что оно, как и у мистера Смита, было адресовано не тому, кому надо. Вот почему, мне кажется, его и арестовали, когда обнаружили у него в порту письмо. Я думаю, что письмо было к одному из армейских офицеров.

— Он явился ко мне позавчера вечером, — сказал поверенный. — Я его не ждал. Было очень поздно. Я уже собирался спать.

— Я не виделся с ним с того вечера, когда его освободили. По-моему, его друг, капитан Конкассер, считает, что я не заслуживаю доверия. Ведь я присутствовал при том, как Конкассер сорвал похороны Филипо.

— Джонс дал мне понять, что работает над каким-то правительственным проектом.

— Где он живет?

— Его поселили на Вилле Креоль. Вы знаете, что правительство ее конфисковало? Когда уехали американцы, там поселили польскую миссию. Пока что других постояльцев у них не было. А поляки тоже вскоре сбежали. Джонсу дали машину и шофера. Шофер, конечно, одновременно может быть и его тюремщиком. Это тонтон-макут. Вам известно, что это за проект, над которым работает Джонс?

— Понятия не имею. Ему надо быть поосторожнее. Барону Субботе пальца в рот не клади, всю руку откусит.

— Я сказал ему примерно то же самое. Но, по-моему, он и сам это понимает, он далеко не дурак.

— Вы знали, что он был в Леопольдвиле?

— Это выяснилось случайно. Он был там во времена Лумумбы. Я навел справки в Лондоне. Судя по всему, ему помог выбраться из Леопольдвилля наш консул. Это еще ничего не значит, многим помогали выбираться из Конго. Консул дал ему билет до Лондона, но он сошел в Брюсселе. Это, конечно, тоже еще не преступление... Мне кажется, он пришел ко мне проверить, предоставляет ли британское посольство право убежища. На случай осложнений. Пришлось сказать, что нет. Юридически у нас нет такого права.

— У него уже неприятности?

— Нет. Но он присматривается, выясняет что к чему. Вроде Робинзона Крузо, тот тоже взбирался на самое высокое дерево, чтобы оглядеть окрестности. Но мне не очень-то понравился его Пятница.

— Вы это о ком?

— О его шофере. Такой же толстяк, как Грасиа, и полон рот золотых зубов. По-моему, он их коллекционирует. Наверно, у него есть для этого возможности. Хорошо было бы, чтобы ваш друг Мажио вырвал свой большой золотой клык и спрятал подальше в сейф. Золотые зубы всегда вызывают жадность.

Он допил свой ром.

В этот полдень у меня отбоя не было от посетителей. Едва я успел надеть купальные трусы и нырнуть в бассейн, как пришел еще один гость. Чтобы искупаться, мне пришлось побороть отвращение, однако оно снова меня охватило, когда я увидел молодого Филипо, который стоял у края бассейна, как раз над тем местом, где истек кровью его дядя, и смотрел на меня. Я плыл под водой и не слышал, как он подошел. Когда его голос донесся ко мне под воду, я вздрогнул.

— Мсье Браун!

— Ах, это вы, Филипо, я не знал, что вы тут.

— Я последовал вашему совету, мсье Браун. Сходил к Джонсу.

Я совершенно забыл тот разговор.

— Зачем?

— Неужели не помните... насчет пулемета?

Как видно, зря я отнесся к нему несерьезно. Я решил, что пулемет — это просто новый поэтический символ, вроде пилонов в стихах поэтов моей молодости: в конце концов, никто из тех поэтов ведь не стал архитектором.

— Он живет на Вилле Креоль с капитаном Конкассером. Вчера вечером я дождался, когда Конкассер ушел, но шофер Джонса оставался, сидел внизу на ступеньке. Тот самый, с золотыми зубами. Который изувечил Жозефа.

— Это его рук дело? Откуда вы знаете?

— Мы ведем летопись. В ней уже много имен. К стыду моему, в этом списке значился и мой дядя. Из-за водоразборной колонки на улице Дезэ.

— Не думаю, чтобы он один был в этом виноват.

— Я тоже. Теперь я их убедил внести его имя в другой список. В список жертв.

— Надеюсь, вы храните ваши списки в надежном месте.

— Во всяком случае, по ту сторону границы есть копии.

— Как вы все же добрались до Джонса?

— Влез в кухню через окно, а потом поднялся по черной лестнице. Постучался к нему в дверь. Сказал, будто у меня записка от Конкассера. Он лежал в кровати.

— Должно быть, он порядком перепугался.

— Мсье Браун, знаете, что эти двое затеяли?

— Нет. А вы?

— Не уверен. Думаю, что знаю, но не уверен.

— Что вы ему сказали?

— Я попросил его нам помочь. Сказал, что отряды, которые совершают налеты через границу, не в силах справиться с Доктором. Убьют несколько тонтон-макутов, а потом их самих убивают. У них нет подготовки. Нет пулеметов. Рассказал ему, как однажды семь человек захватили военные казармы потому, что у них были автоматы. «Зачем вы мне это рассказываете? — спросил он. — Вы часом не agent provocateur [провокаатор (фр.)], а?» Я сказал, что нет; я сказал, что, если бы мы не осторожничали так долго, Папа-Док не сидел бы сейчас во дворце. Тогда Джонс сказал: «Я виделся с президентом».

— Джонс виделся с Папой-Доком? — недоверчиво спросил я.

— Так он мне сказал, и я ему верю. Они что-то затевают, он и капитан Конкассер. Он сказал мне, что Папа-Док интересуется оружием и военной подготовкой не меньше, чем я. «Армии больше нет, — сказал Джонс, — впрочем, от нее и раньше не было никакого толку, а то американское оружие, которое не взяли тонтон-макуты, превратилось без присмотра в грудку ржавого железа. Поэтому, как видите, вы зря ко мне пришли, если только вы не можете сделать мне более выгодного предложения, чем президент».

— А он не сказал, что это за предложение?

— Я пробовал заглянуть в бумаги у него на столе — там было что-то вроде плана здания, — но он сказал: «Не трогайте этих бумаг. Они для меня очень важны». Потом он предложил мне выпить в знак того, что лично против меня ничего не имеет. И еще сказал: «Приходится зарабатывать на хлеб, как умеешь. А чем занимаетесь вы?» Я ответил: «Раньше писал стихи. Теперь мне нужен пулемет. И военная подготовка. Прежде всего подготовка». Он спросил меня: «А вас много?» И я ответил, что число не играет роли. Если бы у тех семерых было семь пулеметов...

— Пулемет — не волшебная палочка, — сказал я. — Иногда его механизм заедает. Но и серебряная пуля может не попасть в цель. Вы вернулись, мой друг, к вере ваших предков.

— А почему бы и нет? Может быть, нам сейчас как раз и нужны боги Дагомеи.

— Вы же католик. И вы верите в разум.

— Те, кто заклинает духов, тоже католики, и мы не живем в разумном мире. А вдруг только Огун Феррай и может научить нас драться?

— Больше вам Джонс ничего не сказал?

— Нет. Он еще сказал: «Ладно, старина, выпьем по стаканчику виски», — но я не стал пить. Я спустился по парадной лестнице, чтобы шофер меня видел. Я хотел, чтобы он меня видел.

— Если они станут допрашивать Джонса, это для вас может плохо кончиться.

— Раз у меня нет пулемета, недоверие — мое единственное оружие. Я подумал, что если они перестанут доверять Джонсу, из этого что-нибудь, может, и выйдет...

В голосе молодого Филипо слышались слезы — слезы поэта, который оплакивает потерянный мир, или слезы ребенка, которому не дают пулемета? Я поплыл к мелкому концу бассейна, чтобы не видеть, как он плачет. Мой потерянный мир были купальщицы в бассейне, а что потерял он? Я вспомнил вечер, когда он читал свои эпигонские стихи мне, Пьеру Малышу и молодому битнику романисту, который хотел стать гаитянским Керуаком; с нами был еще пожилой художник, днем он водил camion [грузовик (фр.)], а ночью писал своими мозолистыми руками картины в американском художественном центре, где ему давали краски и холст. Он прислонил к балюстраде веранды свою последнюю картину: коровы в поле — но не те коровы, которыми торгуют в переулках к югу от Пиккадилли, и свинья, просунувшая голову в обруч на фоне зеленых банановых листьев, темных от грозowych туч, вечно спускавшихся с вершины горы. Было в этой картине что-то такое, чего не смог бы написать мой молодой помощник.

Я дал время Филипо справиться со слезами и подошел к нему.

— Помните, — спросил я, — того молодого человека, который написал роман «La Route du Sud»? [«Дорога на юг» (фр.)]

— Он живет в Сан-Франциско, куда он всегда стремился уехать. Бежал после резни в Жакмеле.

— Я вспомнил тот вечер, когда вы читали нам...

— Я не жалею о тех временах. Та жизнь была какая-то ненастоящая. Туристы, танцы и человек, одетый Бароном Субботой. Барон Суббота — не развлечение для туристов.

— Они платили вам деньги.

— Кто видел эти деньги? Папа-Док научил нас одному: жить без денег.

— Приходите в субботу обедать, Филипо, я познакомлю вас с единственными нашими туристами.

— Нет, в субботу вечером я занят.

— Во всяком случае, будьте осторожны. Я бы предпочел, чтобы вы снова принялись за стихи.

На его лице сверкнула злая белозубая улыбка:

— Гаити воспето в стихах раз и навсегда. Вы их знаете, мсье Браун.

И он продекламировал:

Quelle est cette ile triste et noire? — C'est Cythere,
Nous dit-on, un pays fameux dans les chansons,
Eldorado banal de tous les vieux garçons.
Regardez, apres tout, c'est une pauvre terre.

[Что за остров, печальный и черный? Он в песнях воспет.
Он Киферою назван, легендами приукрашен.
Эльдорадо банальное всех чудаков. Приглядитесь к нему,
ведь такой нищеты больше нет. (пер. — В.Корнилов)]

Наверху отворилась дверь, и один из les vieux garçons [здесь: старых чудаков (фр.)] вышел на балкон номера-люкс «Джон Барримор». Мистер Смит взял с перил свои купальные трусы и выглянул в сад.

— Мистер Браун! — позвал он.

— Да?

— Я поговорил с миссис Смит. Она считает, что я немножко поторопился с выводами. Ей кажется, что надо проверить, не ошибся ли я насчет министра.

— Да?

— Поэтому мы еще здесь проживем и попытаемся что-то сделать.

Я пригласил доктора Мажио на субботу обедать, чтобы познакомить его со Смитам. Мне хотелось показать Смитам, что не все гаитяне — политические дельцы или палачи. К тому же я не видел доктора с той ночи, когда мы прятали труп, и не желал, чтобы он думал, будто я избегаю его из трусости. Доктор пришел как раз, когда выключили свет и Жозеф зажигал керосиновые лампы. Он слишком сильно выкрутил фитиль, и язык пламени, взметнувшийся в ламповом стекле, распростер тень доктора Мажио по веранде, словно черный ковер. Он и Смиты поздоровались со старомодной любезностью, и на миг мне почудилось, будто мы вернулись в девятнадцатый век, когда керосиновые лампы светили мягче, чем электрические, и наши страсти — как нам теперь кажется — тоже не были такими накаленными.

— Мне нравится кое-что во внутренней политике мистера Трумэна, — сказал доктор Мажио, — но вы уж меня извините, я не стану делать вид, будто я в восторге от войны в

Корее. Во всяком случае, для меня больша я честь познакомиться с его противником.

— Не слишком опасным противником, — сказал мистер Смит. — Мы с ним разошлись не только по вопросу о войне в Корее, хотя само собой разумеется, что я против всяких войн, какие бы оправдания для них ни находили политики. Я выставил против него свою кандидатуру, защищая идею вегетарианства.

— Я не знал, что вегетарианство играло роль в избирательной кампании, — заметил доктор Мажио.

— К сожалению, не играло, кроме разве что одного штата.

— Мы собрали десять тысяч голосов, — сказала миссис Смит. — Имя моего мужа было напечатано в избирательных бюллетенях.

Она открыла сумочку и, порывшись там, вытащила избирательный бюллетень. Как и большинство европейцев, я плохо знал американскую избирательную систему; у меня было смутное представление, что там выдвигается два или самое большее три кандидата и избиратели голосуют за одного из них. Я понятия не имел, что в бюллетенях большинства штатов фамилии кандидатов в президенты даже не значатся, а печатаются только фамилии выборщиков, за которых и подаются голоса. Однако в бюллетене штата Висконсин фамилия мистера Смита была четко напечатана под большим черным квадратом с эмблемой, которая должна была изображать кочан капусты. Меня удивило количество соперничающих партий: даже социалисты раскололись надвое, а мелкие должности тоже оспаривались либеральными и консервативными кандидатами. Я видел по выражению лица доктора Мажио, что он в таком же недоумении, как и я. Если английские выборы проще американских, то гаитянские еще примитивнее. В Гаити тот, кто берег свою шкуру, даже в относительно мирные времена предшественника доктора Дювалье в день выборов не высовывал носа на улицу.

Мы передали друг другу избирательный бюллетень под бдительным оком миссис Смит, которая стерегла его зорко, как столонную бумажку.

— Вегетарианство — идея любопытная, — сказал доктор Мажио. — Я не уверен, что оно на пользу всем млекопитающим. Сомневаюсь, например, что лев не отощал бы на одной зелени.

— У миссис Смит был однажды бульдог-вегетарианец, — с гордостью сообщил мистер Смит. — Конечно, для этого понадобилась некоторая тренировка.

— И сильная воля, — сказала миссис Смит, с вызовом взглянув на доктора Мажио.

Я рассказал доктору о вегетарианском центре и о нашем путешествии в Дювальевиль.

— Как-то раз у меня был пациент из Дювальевиля, — сказал доктор Мажио. — Он работал на строительстве — кажется, на постройке арены для петушиных боев — и был уволен потому, что одному из тонтон-макутов потребовалось это место для своего родственника. Мой пациент совершил глупейшую ошибку: он стал упрашивать этого тонтон-макута, ссылаясь на свою бедность, и тот всадил ему одну пулю в живот и другую в бедро. Я спас ему жизнь, но сейчас он парализован и нищенствует на почтамте. На вашем месте я не стал бы обосновываться в Дювальевиле. Там неподходящая *ambiance* [окружающая среда (фр.)] для вегетарианства.

— Разве в этой стране нет закона? — спросила миссис Смит.

— Здесь нет другого закона, кроме тонтон-макутов. Знаете, что в переводе значит тонтон-макуты? Оборотни.

— Разве здесь нет религии? — спросил, в свою очередь, мистер Смит.

— Что вы, мы очень религиозный народ. Государственной религией считается католичество — архиепископ в изгнании, папский нунций в Риме, а президент отлучен от церкви. Народ верит в воду, но эта религия обложена такими налогами, что почти вымерла. Президент был когда-то ревностным последователем народных верований, но, с тех пор как его отлучили от церкви, он больше не может участвовать в обрядах: чтобы принимать в них участие, нужно быть католиком и вовремя причащаться.

— Но это же язычество! — сказала миссис Смит.

— Мне ли об этом судить? Ведь я больше не верю ни в христианского бога, ни в богов Дагомеи. А здесь верят и в то, и в другое.

— Тогда во что же вы верите, доктор?

— Я верю в определенные экономические законы.

— «Религия — опиум для народа», — непочтительно процитировал я.

— Не знаю, где Маркс это написал, — недовольно сказал доктор Мажио, — если он это и написал вообще, но поскольку вы родились католиком, как и я, вам, наверно, доставит удовольствие прочитать в «Das Kapital» [«Капитал» (нем.)] то, что Маркс говорит о реформации. Он одобрительно отзывается о монастырях на той ступени развития общества. Религия может быть отличным лекарством от многих душевных недугов — от горя, от трусости. Не забудьте, что опиум применяется в медицине. Я не против опиума. И безусловно, я не против культа наших богов. Каким одиноким чувствовал бы себя мой народ, если бы Папа-Док был единственной силой в стране.

— Но ведь это же идолопоклонство! — настаивала миссис Смит.

— Как раз то лечение, в каком нуждаются гаитяне. Уничтожить культ вуду пыталась американская морская пехота. Пытались иезуиты. А обряды все равно совершаются, если только найдется богатый человек, чтобы заплатить жрецу и внести налог. Я бы не советовал вам ходить на эти церемонии.

— Ее не так-то легко испугать, — отозвался мистер Смит. — Видели бы вы ее в Нашвилле.

— Я не сомневаюсь в мужестве миссис Смит, но там есть такие обряды, которые для вегетарианца...

Миссис Смит строго спросила:

— Вы коммунист, доктор Мажио?

Этот вопрос мне не раз хотелось задать ему. Интересно, что он ответит.

— Я верю, мадам, в будущее коммунизма.

— Я спросила, коммунист вы или нет.

— Детка, — сказал мистер Смит, — мы же не имеем права... — Он попытался ее отвлечь. — Дай я налью тебе еще немного истролы.

— Здесь коммунисты, мадам, вне закона. Но с тех пор, как прекратилась американская помощь, нам разрешается изучать коммунизм. Коммунистическая пропаганда запрещена, труды Маркса и Ленина — нет; это очень тонкое различие. Поэтому я и говорю, что верю в будущее коммунизма; это чисто философская точка зрения.

Я слишком много выпил. Поэтому я сказал:

— Вы мне напоминаете молодого Филиппо, который верит в будущее пулемета.

Доктор Мажио возразил:

— Мучеников не переубедишь. Можно только сократить их число. Если бы я жил во времена Нерона и знал какого-нибудь христианина, я попытался бы спасти его от львов. Я сказал бы ему: «Живи со своей верой. Зачем с ней умирать?»

— Это малодушный совет, доктор, — сказала миссис Смит.

— Я с вами не согласен, миссис Смит. В западном полушарии — и в Гаити, и в других местах — мы живем под тенью вашей великой и богатой державы. Надо много мужества и терпения, чтобы не потерять голову. Я восхищаюсь кубинцами; но хотелось бы верить в то, что они не потеряют голову, и в их конечную победу.

2

Я не сказал им тогда за обедом, что богач нашелся и в эту ночь, где-то в горах за Кенскоффом должен состояться религиозный обряд. Мне рассказал это по секрету Жозеф, да

и то только потому, что попросил подвезти его туда на машине. Если бы я отказал, он, несомненно, потащился бы пешком в такую даль, невзирая на покалеченную ногу. Было уже за полночь; мы проехали что-то около двенадцати километров и, выйдя из машины на дорогу за Кенскоффом, услышали бой барабанов, тихий, как напряженное биение пульса. Казалось, сама жаркая ночь лежит там задыхаясь. Впереди мы увидели шалаш с кровлей из пальмовых листьев, открытый всем ветрам, мерцание свечей и белое пятно.

Это был первый и последний ритуальный обряд, который мне привелось видеть в жизни. За два года моего процветания мне по роду занятий не раз приходилось наблюдать пляски воду, исполнявшиеся для туристов. Мне, католику, они были так же отвратительны, как обряд причастия, поставленный в балете на Бродвее. Я приехал сюда только ради Жозефа и отчетливее всего запомнил не столько самый обряд, сколько лицо молодого Филипо по ту сторону *tonnelle*, — оно было светлее и моложе, чем лица окружавших его негров; закрыв глаза, он прислушивался к тихому, потаенному, настойчивому бою барабанов, в которые били девушки в белом. Между нами стоял столб молельни, торчавший, как антенна, — он должен был приманивать пролетающих богов. На столбе в память о вчерашнем рабстве висела плетень и — по требованию новых властей — увеличенная фотография Папы-Дока, как напоминание о нынешнем рабстве. Я вспомнил, что ответил на мой упрек молодой Филипо: «Может быть, нам как раз и нужны боги Дагомеи». Власти обманули его надежды, обманул их я, обманул и Джонс — он так и не получил своего пулемета, и вот теперь он стоял, слушая барабанный бой и надеясь почерпнуть в нем силу, мужество, решимость. На земляном полу вокруг небольшой жаровни были выведены пеплом знаки — призыв к богам. К кому обращался этот призыв — к веселому соблазнителю Легбе, к тихой деве Эрзули, воплощению чистоты и любви, к покровителю воинов Огун Ферраю или к Барону Субботе, облаченному в черный костюм и в черные очки тонтон-макутов и жаждущему поживиться мертвечиной? Жрец это знал; может, знал и тот, кто платил за обряд, знали, наверно, и посвященные, умевшие читать иероглифы из пепла.

Церемония продолжалась несколько часов, прежде чем достигла своего апогея; только лицо Филипо не давало мне заснуть под монотонное пение и бой барабанов. Среди молитв попадались и старые знакомые «*Libera nos a malo*» [«Избави нас от лукавого» (лат.)], «*Agnus dei*» [«Агнец божий» (лат.)], колыхались хоругви, посвященные разным святым, «*Panem nostrum quotidianum da nobis hodie*» [«Хлеб наш насущный даждь нам днесь» (лат.)]. Я взглянул на часы и в слабом свечении фосфора увидел, что стрелки приближаются к трем.

Из внутреннего покоя появился, размахивая кадилом, жрец, однако кадилом служил ему связанный петух, он махал им прямо перед нами, и маленькие осовелые глазки петуха заглядывали мне в глаза, а потом проплыла хоругвь св. Люции. Обойдя вокруг *tonnelle*, *houngan* сунул голову петуха себе в рот и разом откусил ее; крылья продолжали хлопать, а голова уже валялась на земляном полу, как часть сломанной игрушки. Жрец наклонился и выдавил из шеи, как из тюбика зубной пасты, кровь, окрасив в ржавый цвет пепельно-черные узоры на полу. Когда я захотел посмотреть, как Филипо, эта тонкая натура, воспринимает религиозный обряд своего народа, его уже не было. Я бы тоже ушел, но я не мог покинуть Жозефа, а Жозеф не мог покинуть эту церемонию.

Барабанщики били все отчаяннее. Они больше не пытались приглушать удары. Что-то происходило в *tonnelle*, где вокруг алтаря были составлены хоругви и под выжженной на доске молитвой стоял крест, пока наконец оттуда не вышла процессия. Они несли то, что я поначалу принял за труп, обернутый белой простыней, как саваном, — голова была скрыта, а одна черная рука безжизненно свисала вниз. Жрец опустился на колени возле тлеющих углей и раздул огонь. Труп положили рядом, жрец взял обнаженную руку и сунул ее в пламя. Тело дрогнуло, и я понял, что оно живое. Может быть, новообращенный вскрикнул — я ничего не слышал из-за барабанного боя и пения женщин, но я почувствовал запах паленого мяса. Тело вынесли, его место заняло другое, а потом третье. Жар ударял мне в лицо, когда порывы

ночного ветра обдували хижину. Последним, наверно, положили ребенка — тело было не более трех футов в длину, — и на этот раз houngan держал его руку несколько выше огня, он не был человеком жестоким. Когда я снова окинул взглядом шалаш, я увидел, что Филипо вернулся на свое место, и тут же вспомнил, что одна рука, которую совали в огонь, была светлой, как у мулата. Я твердил себе, что это никак не могла быть рука Филипо. Стихи Филипо вышли в изящном издании, небольшим тиражом, в переплете из телячьей кожи. Его, как и меня, воспитывали иезуиты; он учился в Сорбонне, я помню, как он цитировал мне у бассейна строки Бодлера. Если одним из новообращенных был Филипо — какая это победа для Папы-Дока, как далеко ему удалось повернуть свою страну вспять! Пламя озарило прибитую к столбу фотографию — очки в толстой оправе, глаза, опущенные в землю, словно уставившиеся на труп, приготовленный для вскрытия. Когда-то он был деревенским врачом и успешно боролся с тифом; он был одним из основателей этнологического общества. Меня воспитали иезуиты, и я умел произносить латинские тексты не хуже houngan'a, который призывал сейчас богов Дагомеи. «Corruptio optimi...» [«Погибель лучших...» (лат.)].

Нет, в ту ночь нам явилась не богиня любви Эрзули, хотя на минуту могло показаться, что дух ее вступил в хижину и снизошел на женщину, которая сидела подле Филипо; она поднялась, закрыла лицо руками и принялась тихонько раскачиваться. Жрец подошел к ней и отнял ее руки от лица. В сиянии свечей оно выражало нежность, но жрецу была не нужна нежность. Эрзули была здесь лишней. Мы собрались сегодня не для встречи с богиней любви. Он положил руки на плечи женщины и толкнул ее назад, на скамью. И не успел он отвернуться, как в круг вступил Жозеф.

Он пошел по кругу, закатив глаза так, что видны были одни белки, и вытянув руки, словно за подаянием. Припадая на больную ногу, он, казалось, вот-вот упадет. Люди вокруг напряженно наклонились вперед, словно ожидая знамения, что бог уже здесь. Барабаны смолкли, пение замерло; лишь houngan говорил на каком-то языке, более древнем, чем креольский, может быть, и более древнем, чем латынь, а Жозеф стоял и слушал, глядя куда-то поверх деревянного столба, поверх плети и лица Папы-Дока, на крышу, где шуршала соломой крыса.

Потом houngan подошел к Жозефу. В руках он нес красный шарф, и он накинул его на плечи Жозефу. Тут все поняли, что перед ними Огун Феррай. Кто-то вышел вперед и всунул в одеревеневшую руку Жозефа мачете, словно он был статуей, которую скульптор спешит закончить.

Статуя ожила. Она медленно подняла руку, потом взмахнула мачете, описав им широкую дугу, и все пригнулись, боясь, что нож полетит через tonnelle. Жозеф пустился бежать, а мачете сверкало и рассекало воздух; те, кто сидел в первом ряду, подались назад, и на миг воцарилась паника. Жозеф уже не был Жозефом. Лицо его с незрячим или пьяным взглядом обливало потом, он колот и размахивал мачете, и куда только девалась его хромота? Он ни разу не споткнулся. На миг, правда, он остановился, чтобы схватить бутылку, которую бросили на земляном полу бежавшие в ужасе люди, отпил большой глоток и снова побежал.

Я увидел, что Филипо остался один на скамье: все вокруг него отступили подальше. Он нагнулся вперед, следя за Жозефом, и Жозеф бросился к нему, размахивая мачете. Он схватил Филипо за волосы, и я подумал, что он его зарубит. Но он откинул назад голову Филипо и влил ему в глотку спирт. У Филипо хлынуло изо рта, как из водосточной трубы. Бутылка упала к их ногам. Жозеф сделал два оборота вокруг себя и свалился. Барабаны били, девушки пели, Огун Феррай пришел и ушел.

Трое мужчин — один из них был Филипо — понесли Жозефа в каморку за tonnelle, но с меня было довольно. Я вышел в душную ночь и глубоко вдохнул воздух, пропитанный запахом костра и дождем. Я сказал себе, что бросил иезуитов не для того, чтобы попасть в лапы африканскому богу. В tonnelle колыхались хоругви, обряд повторялся снова и снова, я

вернулся к машине и стал ждать Жозефа — хотя, раз он мог так проворно бегать по хижине, он сумел бы и домой добраться без моей помощи.

Скоро пошел дождь. Я поднял стекла и продолжал сидеть, несмотря на удушающую жару, а ливень падал на tonnelle, как струя огнетушителя. Шум дождя заглушил бой барабанов, и я чувствовал себя так одиноко, будто очутился в незнакомой гостинице после похорон друга. В машине я держал на всякий случай фляжку с виски, и отхлебнул глоток, и вскоре увидел, как мимо шествуют участники церемонии — серые силуэты на фоне черного ливня.

Никто не остановился у машины: они обтекли ее двумя потоками с обеих сторон. Раз мне показалось, что я слышу звук запускаемого мотора — Филипо, наверно, тоже приехал на машине, но из-за дождя я ее не заметил. Мне не надо было приходить на эти похороны, мне не надо было приезжать в эту страну, я здесь чужой. У моей матери был черный любовник, значит, она была причастна ко всему этому, но я уже много лет назад разучился быть причастным к чему бы то ни было. Когда-то, где-то я напрочь потерял способность сочувствовать чему бы то ни было. Раз я выглянул в окно, и мне почудилось, что Филипо меня манит. Это был обман зрения.

Жозеф так и не появился; я завел машину и поехал домой один. Было уже около четырех часов утра и слишком поздно ложиться спать; я еще не успел сомкнуть глаз, когда в шесть к веранде подъехали тонтон-макуты и крикнули, чтобы я спустился вниз.

Во главе компании был капитан Конкассер; он держал меня на веранде под дулом револьвера, пока его люди обыскивали кухню и помещения для прислуги. До меня доносился стук дверей, буфетных створок и звон разбитого стекла.

— Что вы ищете? — спросил я.

Он лежал в плетеном шезлонге, держа на коленях револьвер, направленный на меня и на жесткий стул, на котором я сидел. Солнце еще не взошло, но он все равно был в темных очках. Я не знал, достаточно ли он хорошо в них видит, чтобы попасть в цель, но предпочитал не рисковать. На мой вопрос он не ответил. Да и зачем он стал бы отвечать? Небо за его спиной заалело, а очертания пальм стали черными и четкими. Я сидел на жестком стуле, и москиты кусали мне ноги.

— Кого же вы ищете? Мы никого не прячем. Ваши подручные так шумят, что могут и мертвого разбудить. А у меня в гостинице постояльцы, — добавил я с законной гордостью.

Капитан Конкассер переместил револьвер — он вытянул ноги, может, его мучил ревматизм. Раньше дуло револьвера было направлено мне в живот, теперь — в грудь. Он зевнул, откинул голову назад, и я подумал, что он заснул, но сквозь темные очки глаз не было видно. Я сделал попытку подняться, и он тут же сказал:

— Asseyez-vous [сядьте (фр.)].

— У меня затекли ноги. Мне надо размяться. — Теперь револьвер был нацелен мне в лоб. Я спросил: — Что это вы с Джонсом затеяли?

Вопрос был риторический, и я удивился, когда он ответил:

— Что вам известно о полковнике Джонсе?

— Очень немного, — сказал я, отметив, что Джонс повысился в чине.

Из кухни донесся оглушительный грохот, и я подумал, уж не разбирают ли они плитку. Капитан Конкассер сказал:

— Здесь был Филипо.

Я промолчал, не зная, кого он имеет в виду — мертвого дядю или живого племянника.

— Прежде чем прийти сюда, он был у полковника Джонса. Зачем ему понадобился полковник Джонс?

— Откуда я знаю? Почему бы вам не спросить Джонса? Ведь он ваш друг.

— Мы пользуемся услугами белых, когда нет другого выхода. Но мы им не доверяем.

Где Жозеф?

— Не знаю.

— Почему его нет?

— Не знаю.

— Вы куда-то ездили с ним вечером.

— Да.

— И вернулись один.

— Да.

— У вас было свидание с мятежниками.

— Вы говорите глупости. Просто глупости.

— Мне ничего не стоит вас застрелить. Это даже доставило бы мне удовольствие.

Скажу, что вы оказывали сопротивление при аресте.

— Не сомневаюсь. У вас, должно быть, богатый опыт.

Я боялся, но еще больше я боялся показать ему свой страх — тут он совсем сорвался бы с цепи. Как злая собака, он был безопаснее, пока лаял.

— Зачем вам меня арестовывать? — спросил я. — Посольство немедленно этим заинтересуется.

— Сегодня в четыре часа утра было совершено нападение на полицейский участок. Один человек убит.

— Полицейский?

— Да.

— Отлично.

— Не прикидывайтесь, будто вы такой храбрец, — сказал он. — Вам очень страшно. Взгляните на свою руку. (Я вытер раза два вспотевшую ладонь о штаны пижамы.)

Я неестественно захохотал.

— Сегодня жарко. Совесть моя абсолютна чиста. В четыре часа я уже был в постели. А куда делись другие полицейские? Небось сбежали?

— Да. В свое время мы ими займемся. Они сбежали, бросив оружие. Это грубая ошибка.

Из кухни повалили тонтон-макуты. Странно было в предутренней мгле видеть столько людей в солнечных очках. Капитан Конкассер сделал одному из них знак, и тот двинул меня в челюсть и разбил губу.

— Сопротивление при аресте, — сказал капитан Конкассер. — Надо, чтобы на тебе были видны следы. Тогда, если мы захотим соблюсти вежливость, мы покажем твой труп поверенному в делах. Как там его зовут? У меня плохая память на имена.

Я чувствовал, что у меня сдают нервы. Даже человеку храброго десятка трудно быть смелым до завтрака, а я не смельчак. Я почувствовал, что не могу усидеть — меня так и тянуло броситься к ногам капитана Конкассера. Я знал, что такой поступок оказался бы роковым. Никто и не пожалеет пристрелить подобную мразь.

— Я скажу тебе, что случилось, — сказал капитан Конкассер. — Постового полицейского задушили. Наверно, он заснул на посту. Какой-то хромой взял его ружье, а метис револьвер, они ворвались туда, где спали другие полицейские...

— И дали им уйти?

— Моих людей они бы не пожалели. Полицейских иногда щадят.

— Мало ли в Порт-о-Пренсе хромых.

— Где же тогда Жозеф? Почему он не ночует дома? Филипо узнали, и его тоже нет дома. Когда ты, его в последний раз видел? Где?

Он подал знак тому же из своих подручных. На этот раз тонтон-макут с силой лягнул меня в голень, а другой в это время выхватил из-под меня стул, и я очутился там, где мне так не хотелось быть, — у ног капитана Конкассера. Туфли у него были жуткого рыжего цвета. Я

знал, что мне надо встать, не то мне конец, однако нога очень болела, я не был уверен, что устою, и сидел как дурак на полу, словно это была веселая вечеринка. Все ждали, что я стану делать дальше. Может быть, когда я встану, они меня повалят снова? Я ведь не знал, как у них принято развлекаться. Я вспомнил сломанное бедро Жозефа. Безопаснее было оставаться на полу. Но я встал. Правую ногу пронзила острая боль. Я оперся на балюстраду. Капитан Конкассер не спеша передвинул нацеленный на меня револьвер. Он очень удобно устроился в моем шезлонге. У него и впрямь был такой вид, будто он здесь хозяин. А может, он как раз этого и добивался.

— О чем это мы говорили? — сказал я. — Ах, да... Ночью я ездил с Жозефом на моление. Там был и Филипо. Но мы с ним не разговаривали. Я ушел до того, как все кончилось.

— Почему?

— Мне стало противно.

— Тебе противна религия гаитянского народа?

— У каждого свой вкус.

Люди в темных очках обступили меня теснее. Очки были повернуты к капитану Конкассеру. Если бы только я мог увидеть глаза хоть одного из них, их выражение... Меня пугала эта безликость. Капитан Конкассер сказал:

— Ну и храбрец, страху полные штаны.

Я понял, что он говорит правду, когда почувствовал сырость и тепло. К моему унижению, с меня капало на пол. Он своего добился, и мне было бы лучше остаться сидеть на полу у его ног.

— Стукни-ка его еще разок, — сказал капитан Конкассер своему подручному.

— Degoutant [отвратительно (фр.)], — произнес чей-то голос. — Tout-a-fait de-goutant [совершенно отвратительно (фр.)].

Я был поражен не менее, чем они. Американский акцент, с которым были произнесены эти слова, прозвучал для меня как трубы и литавры «Боевого гимна республики» миссис Джулии Уорд Хоу [гимн северян, написанный Д.У.Хоу (1819-1910) — американской поэтессой и общественной деятельницей]. В нем слышался свист сверкнувшей в воздухе стали, хруст раздавленных гроздьев гнева. Это остановило поднятый для удара кулак моего врага.

Миссис Смит появилась в противоположном конце веранды, за спиной капитана Конкассера, и тому поневоле пришлось переменить свою небрежную позу, чтобы посмотреть, кто там говорит. Дуло револьвера больше не глядело на меня, и я отошел подальше, чтобы меня не достал кулак. Миссис Смит была одета в длинную ночную рубашку, в стиле первых американских поселенцев, а в волосах у нее причудливо торчали металлические бигуди, что придавало ее фигуре кубистский вид. Она стояла непоколебимо в бледном свете зари и отчитывала их резкими фразами, взятыми из французского самоучителя.

Она говорила и о bruit horrible [ужасный шум (фр.)], разбудившем ее с мужем; она обвиняла их в lachete [низость (фр.)] за то, что они ударили безоружного человека; она требовала, чтобы они прежде всего предъявили ордер на право сюда войти — ордер и снова ордер; но тут самоучитель отказал: «Montrez-moi votre ордер»; «votre ордер, ou est-il?» [«Покажите мне ваш ордер», «ваш ордер, где он?» (фр.)] — повторяла она. Таинственное слово таило в себе большую угрозу, чем понятные им слова.

Капитан Конкассер открыл было рот.

— Мадам...

Но она обратила на него свирепый взор своих близоруких глаз.

— Ах, это вы, — сказала она, — ну да, вас-то я хорошо знаю. Вы — женоистязатель! — В самоучителе больше не было подходящих слов, и свой гнев она могла выразить только по-

английски. Она двинулась на капитана, позабыв весь запас слов, приобретенный с таким трудом. — Как вы смаете являться сюда, размахивая револьвером? А ну-ка, давайте его мне, — и она протянула руку, словно перед ней стоял мальчишка с рогаткой.

Капитан Конкассер мог не понимать английского языка, но он прекрасно понял этот жест. Он сунул револьвер в кобуру, будто пряча любимую игрушку от разгневанной матери.

— Встань с кресла, черный подонок! Встань, когда со мной разговариваешь! — И тут же, словно это неожиданное эхо нашвиллского расизма обожгло ей язык, добавила, защищая всю прожитую ею жизнь: — Вы позорите цвет своей кожи!

— Кто эта женщина? — растерянно спросил капитан Конкассер.

— Жена кандидата в президенты. Вы уже с ней встречались.

Кажется, тут он припомнил сцену на похоронах Филипо. Весь его апломб пропал: подручные впились в него сквозь темные очки, тщетно ожидая приказа.

Миссис Смит вновь овладела запасом слов, почерпнутым из самоучителя. Как усердно она, должно быть, трудилась в то утро, когда мы с мистером Смитом осматривали Дювальевиль! Она произнесла со своим ужасающим акцентом:

— Обыскали. Не находили. Можете идти.

Если не считать нехватки существительных, это были вполне подходящие фразы из второго урока для начинающих. Капитан Конкассер колебался. Миссис Смит путалась в формах глаголов, но он отлично понял смысл ее слов: «Если вы не уходили, я зову мужа». Конкассер сдался. Он увел своих людей, и они двинулись вниз по аллее с еще большим шумом и гамом, чем пришли, прикрывая деланным смехом свое уязвленное самолюбие.

— Кто это был?

— Один из новых друзей Джонса, — сказал я.

— Я поговорю с мистером Джонсом при первом же удобном случае. С кем поведешься... У вас рот в крови. Давайте поднимемся наверх, и я промою его листерином. Мы с мистером Смитом всегда берем с собой бутылку листерина.

— Тебе больно? — спросила меня Марта.

— Сейчас уже не очень, — сказал я.

Не помню, когда еще мы чувствовали себя настолько отгороженными от всего и так умиротворенно. День медленно угасал за москитными занавесками на окнах спальни. Когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что в тот день нам было даровано издалека увидеть землю обетованную: мы достигли края пустыни, впереди нас ждали млеко и мед, и гонцы наши возвращались оттуда, сгибаясь под тяжестью виноградных гроздьев. Каким ложным богам предали мы душу свою? И могли ли мы поступить не так, как поступили?

Никогда раньше Марта не приходила в «Трианон» по своей воле. Никогда раньше мы не спали у меня в постели. Мы заснули всего на полчаса, но с тех пор я ни разу не спал так покойно. Я проснулся оттого, что она прикоснулась губами к моему израненному рту.

Я сказал:

— Получил от Джонса письмо с извинениями. Он заявил Конкассеру, что считает подобное обращение с его другом личным оскорблением себе. И пригрозил порвать всякие отношения.

— Какие отношения?

— Бог его знает. Он пригласил меня выпить с ним сегодня вечером. В десять. Я не пойду.

В наступивших сумерках мы едва различали друг друга. Стоило ей заговорить, и я думал: вот сейчас она скажет, что ей пора домой. Луис уехал в Южную Америку с докладом своему министерству иностранных дел, но Анхел был, как всегда, на посту. Я знал, что она пригласила его приятелей к чаю, но чаепитие длится недолго. Смиты ушли — они снова отправились с визитом к министру социального благоденствия. На этот раз он попросил их

прийти одних, и миссис Смит захватила с собой французский самоучитель, на случай если понадобится переводить.

Мне послышалось, что стукнула дверь, и я сказал Марте:

— Кажется, Смиты вернулись.

— Ну и пусть, — ответила она, положив мне руку на грудь. — Ох, как я устала.

— Приятно или неприятно устала?

— Неприятно.

— От чего?

В нашем положении это был глупый вопрос, но мне хотелось услышать от нее слова, которые я так часто повторял.

— Устала оттого, что никогда не бываю одна. Устала от людей. Устала от Анхела.

Я изумился:

— От Анхела?

— Сегодня я подарила ему целый ящик новых головоломок. Ему хватит на целую неделю. Как бы я хотела провести эту неделю с тобой.

— Неделю?

— Мало, да? Знаю. Ведь у нас уже не просто связь.

— Да, она стала чем-то другим, пока я был в Нью-Йорке.

— Да.

Откуда-то издалека, со стороны города, донеслись выстрелы.

— Кого-то убивают, — сказал я.

— Разве ты не слышал? — спросила она.

Прозвучали еще два выстрела.

— Ну, насчет этого расстрела?

— Нет. Пьер Малыш не показывался несколько дней. Жозеф исчез. Я отрезан от всех.

— В отместку за нападение на полицейский участок они решили расстрелять на кладбище двух человек из тюрьмы.

— В темноте?

— Для большего устрашения. Они поставили юпитеры и телевизионную камеру. Велено присутствовать всем школьникам. Личный приказ Папы-Дока.

— Тогда тебе лучше подождать, пока публика разойдется, — сказал я.

— Да. Подождем — и все. Наше дело сторона.

— Ты права. Из нас с тобой не вышло бы настоящих бунтовщиков.

— Не думаю, чтобы из Жозефа тоже, при искалеченном бедре.

— Или из Филиппо без пулемета. Интересно, положил ли он Бодлера в нагрудный карман, чтобы защититься от пули.

— Тогда не суди и меня слишком строго, — сказала она, — за то, что я немка, а немцы молчали.

Говоря это, она ласкала меня, и во мне снова проснулось желание, поэтому я не стал расспрашивать, что она хотела этим сказать. Ведь Луис, слава богу, в Южной Америке, Анхел занят своими головоломками, а Смиты нас не видят и не слышат. Я чувствовал, что у ее груди вкус млека, а у ее лона — вкус меда; на миг мне показалось, что я вступаю в землю обетованную, но вот пришло удовлетворение и надежда ушла, и Марта заговорила, словно продолжая ту же мысль:

— У французов нет слова, которым они называют уличную борьбу?

— Моя мать, наверно, участвовала в уличной борьбе, если только медаль за Сопротивление ей не подарил какой-нибудь любовник.

— Отец тоже участвовал в уличной борьбе в 1930 году, а потом стал военным преступником. Борьба — вещь опасная, да?

— Да, мы кое-чему научились на их примере.

Пора было одеваться и спускаться вниз. С каждой ступенькой мы приближались к Порт-о-Пренсу. Дверь у Смитов была открыта настежь, и, когда мы прошли мимо, миссис Смит поглядела на нас, мистер Смит сидел, держа в руках шляпу, и она гладила его по затылку. В сущности, они тоже были любовниками.

— Ну вот, — сказал я по дороге к машине, — они нас видели. Испугалась?

— Нет. Обрадовалась, — сказала Марта.

Я вернулся в гостиницу, и миссис Смит окликнула меня со второго этажа. Я ждал, что меня будут обличать в прелюбодеянии, как в старину жителей Сейлема. Не придется ли Марте носить, как блуднице, алое клеймо? [в старину в Америке женщины, уличенные в прелюбодеянии, присуждались к ношению алой нашивки] Почему-то я решил, что раз они вегетарианцы, значит, и пуритане. Однако оказалось, что любовь — не из тех страстей, которые надо изгонять вместе с кислотностью, и что оба они воюют не с любовью, а с ненавистью. Я нехотя поднялся наверх и застал их в той же позе. Миссис Смит сказала мне с непонятным вызовом, словно прочла мои мысли и обиделась:

— Жаль, что я не могла поздороваться с миссис Пинеда.

Я как-то нескладно ответил:

— Она торопилась домой, к своему ребенку.

Миссис Смит даже глазом не моргнула.

— Вот женщина, с которой мне хотелось бы поближе познакомиться, — сказала она.

Почему я вообразил, что она чувствует сострадание только к цветным? Быть может, в тот раз чувство вины заставило меня прочитать в ее глазах осуждение? Или она была из той породы женщин, которые все прощают тем, кого они вылечили? Наверно, листерин очистил меня от грехов. Она сняла руку с затылка мужа и стала гладить его по волосам.

— Еще не поздно, — сказал я. — Она как-нибудь к нам зайдет.

— Завтра мы уезжаем, — сообщила она. — Мистер Смит совсем отчаялся.

— Открыть вегетарианский центр?

— Понять, что здесь происходит.

Он взглянул на меня, и в его старых выцветших глазах стояли слезы. Как нелепо было ему прикидываться политическим деятелем.

— Вы слышали выстрелы? — спросил он.

— Да.

— Мы проехали мимо детей, они шли из школы. Разве я мог себе представить... Когда мы с миссис Смит боролись за гражданские права...

— Нельзя осуждать людей за цвет кожи, голубчик, — сказала она.

— Знаю. Знаю.

— Что было у министра?

— Встреча была очень короткой. Он хотел присутствовать на церемонии.

— На церемонии?

— На кладбище...

— Он знает, что вы уезжаете?

— О да, я принял решение еще до... церемонии. Министр обдумал все это дело и понял, что я не такой уж круглый болван. А значит, я такой же жулик, как он сам. И приехал сюда не для того, чтобы тратить деньги, а для того, чтобы их заработать. Он и объяснил мне, как это сделать, но надо, чтобы в дележе участвовали не двое, а трое — третий тот, кто ведает общественными работами. Насколько я понял, мне пришлось бы заплатить только за часть строительных материалов, и не очень большую часть, потом их действительно купили бы за счет нашей поживы.

— А на чем они думали поживиться?

— Правительство гарантировало бы оплату рабочих. Мы платили бы им гораздо дешевле, а через месяц всех уволили бы. Месяца на два строительство было бы

законсервировано, а потом мы наняли бы новых рабочих. Разумеется, гарантированная оплата за месяцы простоя пошла бы нам в карман, за вычетом того, что нам пришлось бы заплатить за строительные материалы, а комиссионные за эту сделку уболаговторили бы начальство в министерстве общественных работ, — кажется, он говорил именно о министерстве общественных работ. Он очень гордился этим планом и даже сказал, что в конце концов вовсе не исключено, что вегетарианский центр будет действительно открыт.

— По-моему, в этом проекте много прорех.

— Я не дал ему углубиться в подробности. Думаю, что он прикрыл бы все прорехи за счет наших доходов.

Миссис Смит сказала с грустной нежностью:

— Мистер Смит приехал сюда с такими большими надеждами.

— Ты тоже, детка.

— Век живи, век учись, — сказала миссис Смит. — Это еще не конец.

— Такая наука легче дается в молодости. Простите мой мрачный тон, мистер Браун, но нам не хотелось бы, чтобы вы неправильно поняли, почему мы покидаем вашу гостиницу. Вы были очень гостеприимны. Нам прекрасно у вас жилось.

— И я был вам очень рад. Вы хотите плыть на «Медее»? Она должна прийти завтра в порт.

— Нет. Мы не станем ее дожидаться. Я записал для вас наш домашний адрес. Мы полетим завтра в Санто-Доминго и задержимся там на несколько дней: миссис Смит хочет посмотреть гробницу Колумба. Мне должны прислать кое-какую вегетарианскую литературу следующим пароходом. Будьте добры, перешлите мне ее...

— Жаль, что так получилось с вашим центром. Но знаете, мистер Смит, здесь из этого все равно ничего бы не вышло.

— Теперь я это понимаю. Боюсь, мистер Браун, что мы выглядим в ваших глазах смешными чудаками.

— Не смешными, — искренне возразил я, — а героическими.

— Ну, мы совсем не из того теста. А теперь, мистер Браун, извините меня, но я пожелаю вам спокойной ночи. Сегодня я немножко устал.

— В городе было очень душно и сыро, — объяснила миссис Смит и снова легонько погладила его по волосам, будто касаясь драгоценной ткани.

3

На следующий день я провожал Смитов на самолет. Пьер Малыш так и не появился, хотя отъезд кандидата в президенты, несомненно, заслуживал заметки в светской хронике, даже если и пришлось бы умолчать о мрачной заключительной сцене у почтамта. Мистер Смит попросил меня остановить машину посреди площади, и я подумал, что он хочет сделать на память снимок. Вместо этого он вышел из машины с сумочкой жены в руках, и со всех сторон к нему потянулись нищие — отрывочные фразы тонули в глухом гомоне, я заметил, как полицейский кинулся к нам со ступенек почтамта. Мистер Смит раскрыл сумочку и принялся разбрасывать деньги — гурды и доллары без разбору.

— Ради бога!.. — закричал я.

Кто-то из нищих пронзительно, истерически завопил; я увидел, как Хамит в изумлении таращит глаза на пороге своей лавки. Зарево заката окрашивало лужи и грязь в кирпичный цвет. Но вот последние деньги были разбросаны, и полицейские стали окружать свою добычу. Люди с двумя ногами опрокидывали одноногих, люди с двумя руками хватали безруких за туловища и валили на землю. Я оттащил мистера Смита назад в машину и увидел Джонса. Он сидел в другой машине, позади своего тонтона-макута, и вид у него был озадаченный, встревоженный и даже впервые в жизни растерянный. Мистер Смит сказал:

— Ну вот, детка, по-моему, они сумеют растратить эти деньги не хуже меня.

Я посадил Смитов в самолет, пообедал в одиночестве и поехал в Виллу Креоль — мне не терпелось поговорить с Джонсом.

Шофер развалился на нижних ступеньках лестницы. Он посмотрел на меня с подозрением, но дал пройти. С верхней площадки кто-то сердито крикнул: «*La volonté du diable*» [черт вам помог (фр.)], и мимо меня прошел какой-то негр, его золотое кольцо сверкнуло в свете лампы.

Джонс поздоровался со мной так, будто мы были однокашниками, которые не виделись много лет, но и с оттенком некоторого покровительства, словно наше общественное положение с тех пор изменилось.

— Заходите, старик. Рад вас видеть. Я ждал вас вчера вечером. Извините за беспорядок. Садитесь в это кресло, оно довольно уютное.

Кресло было действительно теплое: оно еще сохраняло пыл разгневанного субъекта, сидевшего там до меня. На столе были разбросаны три колоды карт, воздух посинел от сигарного дыма, одна из пепельниц опрокинулась, и окурки валялись на полу.

— Кто это был у вас? — спросил я.

— Один тип из министерства финансов. Не любит проигрывать.

— В рамс?

— Ему не следовало поднимать ставки в середине игры, когда он был в выигрыше, и немалом. Но ведь с министерством финансов лучше не спорить. В конце концов подвернулся спасительный туз пик, и в мгновение ока все было кончено. Я выиграл две тысячи монет. Но он расплатился гурдами, а не долларами. Какую отраву предпочитаете?

— У вас есть виски?

— У меня есть все что душе угодно, старик. Как насчет сухого мартини?

Я предпочел бы виски, но ему так хотелось похвастаться своими богатствами, что я согласился.

— Но только очень сухое.

— Не сомневайтесь, старик.

Он отпер буфет и достал кожаный дорожный погребец — полбутылки джина, полбутылки вермута, четыре металлических стаканчика, смеситель для коктейлей. Это был изящный дорогой погребец, и он установил его на неубранном столе с таким благоговением, с каким выставляют на аукционе бесценные предметы старины. Я не смог удержаться.

— От Аспри? [лондонская фирма, торгующая предметами роскоши] — спросил я.

— Вроде, — бросил он и принялся смешивать коктейль.

— Эта вещичка, наверно, скучает так далеко от Пиккадилли?

— Она привыкла и не к такой глуши, — сказал Джонс. — Во время войны она была со мной в Бирме.

— Она хорошо сохранилась.

— Я ее потом подновил.

Он пошел за лимоном, и я пригляделся повнимательнее к погребцу. На крышке виднелась марка Аспри. Джонс вернулся и перехватил мой взгляд.

— Вы поймали меня с поличным, старик. Погребец действительно от Аспри. Мне просто не хотелось, чтобы вы думали, будто я задаюсь. Собственно говоря, у этого погребца длинная история.

— Расскажите.

— Попробуйте сперва коктейль.

— То, что надо.

— Я его выиграл на пари у ребят из нашего отряда. У генерала был точно такой же, и я, признаюсь, ему завидовал. В разведке я, бывало, мечтал о таком погребце... Слышал, как в смесителе позвякивает лед. Со мной служили два молодых парня из Лондона, до этого они

нигде дальше Бонд-стрит не бывали. Богатенькие оба. Дразнили меня этим генеральским погребцом. Раз, когда у нас вышла почти вся вода, они предложили мне на пари найти еще до темноты ручей. Если найду, получу такой же погребец, как только кто-нибудь из них съездит на побывку домой. Не помню, говорил я вам или нет, что умею чутьем находить издалека воду...

— Это было в тот раз, когда вы потеряли весь взвод? — спросил я.

Он взглянул на меня поверх стакана и явно почувствовал сарказм.

— Нет, в другой раз, — сказал он и круто перевел разговор: — Как поживают Смиты?

— Видели, что произошло у почтамта?

— Да.

— Это был последний взнос американской помощи. Сегодня вечером они улетели. Просили вас кланяться.

— Жаль, что я с ними так мало виделся. Есть в нем что-то... — сказал Джонс и, к моему удивлению, добавил: — Он напоминает мне отца. Я хочу сказать, не внешне, а... в общем, какой-то своей добротой.

— Понимаю. Я своего отца не помню.

— По правде говоря, и я своего не очень-то хорошо помню.

— Скажем, он напоминает отца, которого нам обоим хотелось бы иметь.

— Вот, вот, старик, совершенно верно. Пейте, не то мартини станет теплым. Я всегда чувствовал, что у нас с мистером Смитом есть что-то общее. Мы — одного поля ягоды.

Я слушал его с изумлением. Что общего может быть у человека не от мира сего с проходимцем? Джонс бережно закрыл погребец и, взяв со стола салфетку, стал его протирать с такой же нежностью, с какой миссис Смит гладила мужа по голове; и я подумал: простодушие, вот что, пожалуй, их роднит.

— Я очень сожалею, что у вас вышла такая неприятность с Конкассером, — сказал Джонс. — Но я ему заявил, что, если он еще хоть пальцем тронет кого-нибудь из моих друзей, я их всех пошлю к черту.

— Будьте с ними поосторожнее. Они опасные люди.

— Я их не боюсь. Им без меня не обойтись, старина. Вы знаете, что ко мне приходил молодой Филипо?

— Да.

— Вы только представьте себе, что я мог бы сделать для него. Они это понимают.

— Вы можете продать ему пулемет?

— Я могу продать сам, старик. А это почище пулемета. Мятежникам не хватает только одного — опытного человека. Не забывайте, в ясный день Порт-о-Пренс виден с доминиканской границы невооруженным глазом.

— Доминиканцы никогда не выступят.

— Они нам не нужны. Дайте мне месяц — я обучу пятьдесят гаитян военному делу, и Папа-Док удерет на самолете в Кингстон. Я ведь не зря воевал в Бирме. У меня уже все продумано. Я изучил карту. Разве так надо было проводить эти налеты у Кап-Аитьена? Я знаю совершенно точно, где я предпринял бы ложную атаку, а где ударил бы всерьез.

— Почему же вы не пошли с Филипо?

— Было у меня такое искушение, и серьезное искушение, но тут подвернулось одно дельце, какое бывает только раз в жизни. Это пахнет большими деньгами. Если оно не сорвется, я далеко пойду.

— Куда?

— Что — куда?

— Куда вы пойдете?

Он весело рассмеялся.

— Куда глаза глядят, старик. Однажды мне чуть было не удалось проверить такое

дельце в Стэнливиле, но там я связался с дикарями, а на них вдруг напали всякие сомнения.

— А здесь у них нет сомнений?

— Это же образованные люди! А образованного всегда легче обойти.

Пока он разливал martini, я пытался разгадать, что за аферу он затеял. Одно было ясно — ему жилось лучше, чем в тюрьме. Он даже слегка располнел. Я спросил его напрямик:

— Что вы затеяли, Джонс?

— Закладываю основу своего состояния, старик. Почему бы вам не войти со мной в долю? Дело можно быстро обтяпать. По-моему, я вот-вот поймаю лису за хвост, но партнер мне бы не повредил, об этом я и хотел с вами потолковать, но вы все не приходили. Ей-богу, можно заработать четверть миллиона долларов. А то и больше, если иметь выдержку.

— А каковы обязанности партнера?

— Чтобы завершить сделку, мне придется кое-куда съездить; нужен человек, на которого я могу положиться, — приглядеть за делами в мое отсутствие.

— Вы не доверяете Конкассеру?

— Я никому тут не доверяю. И дело не в цвете кожи, старик. На карту поставлен барыш в четверть миллиона. Нельзя рисковать. Отсюда придется, конечно, вычесть кое-что на расходы — десять тысяч долларов, наверно, покроют все, — а остальное мы поделим. В гостинице ведь дела идут не блестяще, а? Подумайте, чего только не сделаешь на такие деньги! Тут в Карибском море есть острова, за которые давно пора взяться... пляж, гостиница, небольшой аэродром — словом, сами понимаете. Да вы будете миллионером, старик!

Наверно, тут виновато мое воспитание у иезуитов, но мне сразу вспомнилось, как с высокой горы над пустыней дьявол хвастался всеми царствами земными. Я не знаю, действительно ли дьявол ими владел или все это было одно надувательство. Я оглядел комнату на Вилле Креоль, не валяются ли тут скипетры и державы. Но тут был только патефон, который Джонс, наверно, купил у Хамита — вряд ли он стал бы везти такую дешевку из Америки на «Медее», — и рядом с ним пластинка Эдит Пиаф с вполне подходящим названием: «Je ne regrette rien» [«Я ни о чем не жалею» (фр.)]; никакой другой личной собственности не было видно. Джонсу вряд ли удалось заполучить вперед что-нибудь из тех богатств, которые ему сулило свершение его планов... Но каких планов?

— Ну, старик?

— Вы же мне не объяснили, что я должен делать.

— Я не могу раскрыть перед вами карты, пока не уверен, что вы со мной заодно.

— Как я могу быть с вами заодно, если ничего не знаю?

Он смотрел на меня поверх разбросанных карт. Счастливый туз пик лежал лицом вверх.

— В конце концов, это вопрос доверия, правда?

— Разумеется.

— Эх, если бы мы служили в одной части, старик! Война учит доверять...

Я спросил:

— В какой вы служили дивизии?

И он без запинки ответил:

— Пятый корпус, — и даже слегка уточнил: — 77 бригада. — Ответы были правильные. Я проверил их в тот же вечер в «Трианоне», заглянув в книжку о бирманской кампании, позабытую одним постояльцем; однако у меня закралось подозрение, что у него может быть такая же книга и он черпает сведения из нее. Но я был к нему несправедлив. Он действительно побывал в Имфале.

— На гостиницу ведь вам рассчитывать нечего?

— Да, пожалуй.

— Вы не найдете покупателя, как бы ни старались. В любой день ее могут конфисковать. Скажут, что не используете имущество как следует, и заберут.

— Вполне возможно.

— Так в чем же дело, старик? Баба?

Глаза меня, кажется, выдали.

— Вы слишком стары, чтобы цепляться за одну юбку, старик. Подумайте, ведь тут можно заработать сто пятьдесят тысяч долларов. (Я заметил, что моя доля росла.) Вам не обязательно сидеть на Карибском побережье. Знаете Бора-Бора? Там нет ничего, кроме посадочной площадки и пансиона, но, имея небольшой капитал... А девочки! Таких девочек вы не видели. Туземки прижили их от американцев лет двадцать назад; не хуже, чем у матушки Катрин...

— А что вы сделаете со своими деньгами?

Никогда бы не подумал, что тусклые карие глаза Джонса, похожие на медяки, могут быть такими мечтательными, но сейчас они увлажнились от обуревавших его чувств.

— Эх, старик, есть у меня на примете одно местечко неподалеку отсюда: коралловый риф и белый песочек, настоящий белый песочек, из которого дети строят замки, а позади зеленые склоны, такие бархатистые, как настоящий газон, и богом созданные препятствия — идеальная площадка для гольфа. Я построю там здание клуба, коттеджи с душами — словом, самый лучший, самый роскошный клуб для гольфа на всем Карибском море, для самой избранной публики. Знаете, как я его назову?... «Дом Сагиба».

— И тут вы мне не предлагаете быть вашим компаньоном?

— Мечту не делят с компаньонами, старик. У нас возникли бы трения. У меня все продумано до мельчайших деталей, и не хотелось бы ничего менять в моих планах. (Интересно, не чертежи ли клуба видел Филипо?) Я долго, ужасно долго добивался этого, старик, но теперь цель близка, я уже ясно вижу каждую лунку на поле для гольфа.

— Вы так любите гольф?

— Сам-то я не играю. Всегда было как-то недосуг. Мне нравится идея. Подыщу подходящую даму, чтобы принимала гостей. Красивую, из хорошей семьи. Сперва я подумывал, не нанять ли девочек, но потом понял, что в первоклассном гольф-клубе они будут не к месту.

— Вы придумали все это еще в Стэнливиле?

— Я мечтаю об этом уже двадцать лет, старик, а теперь желанный миг близок. Выпьете еще martini?

— Нет, мне пора.

— У меня будет длинный бар из коралла, я его назову Бар Необитаемого Острова. Бармена себе возьму из Ритца. Кресла сделаю из выброшенного морем дерева... конечно, для удобства на них будут подушки. Попугаи на занавесках и большой медный телескоп у окна, направленный на восемнадцатую лунку.

— Мы об этом еще поговорим.

— Я никогда ни с кем об этом не говорил... точнее, ни с кем, кто мог бы меня понять. Только с мальчишкой-служкой в Стэнливиле — я тогда разрабатывал план, — но бедняга в таких делах ничего не смыслил.

— Спасибо за martini.

— Рад, что вам понравился мой погребец.

Оглянувшись, я увидел, что он взял салфетку и снова стал его протирать. Он мне крикнул вдогонку:

— Давайте еще вернемся к этому разговору. Если вы хотя бы в принципе согласны...

Мне не хотелось возвращаться в опустевший «Трианон», от Марты целый день не было вестей, и меня снова потянуло в казино — оно хоть как-то заменяло мне дом. Но до чего переменялось казино с той ночи, когда я встретил тут Марту! Туристы исчезли, а из жителей Порт-о-Пренса мало кто рисковал выйти на улицу после наступления темноты. Только за

одним столом играли в рулетку, и единственным игроком был итальянский инженер по имени Луиджи, я был с ним немного знаком; он работал на нашей припадочной электростанции. Ни одна частная компания не смогла бы держать казино в таких условиях, и правительство его национализировало; каждый вечер казино терпело убытки, правда, убытки эти выражались в гурдах, а их правительство могло напечатать сколько угодно.

Крупье сидел насупившись — может быть, гадал, заплатят ли ему жалованье. Как бы ни шла игра, в банке много не останется. При таком малом количестве игроков один или два проигрыша en plein, и банк на сегодня будет сорван.

— Выигрываете? — спросил я Луиджи.

— Выиграл сто пятьдесят гурдов, — ответил он. — Душа болит. Не могу бросить этого горемыку одного, — и тут же выиграл еще пятнадцать гурдов.

— Помните, как тут играли в старые времена?

— Нет, меня тогда здесь не было.

Они пытались экономить хотя бы на освещении, и мы играли в полутьме, как в подземелье. Я ставил фишки как попало, без всякого азарта, на ближайшие цифры и тоже выигрывал. Крупье еще больше помрачнел.

— Я хочу поставить весь свой выигрыш на красное и дать ему возможность отыграться, — сказал Луиджи.

— Но вы можете выиграть.

— Придется пойти в бар. Они, наверно, неплохо наживаются на выпивке.

Мы заказали виски — было бы слишком жестоко заказывать здесь ром, хотя мне вряд ли стоило после мартини пить виски. Я уже почувствовал его действие...

— Да не может быть! Мистер Джонс! — воскликнул кто-то в другом конце зала, и, обернувшись, я увидел, что ко мне приближается, протягивая влажную руку, казначей «Медеи».

— Вы перепутали, — сказал я, — я Браун, а не Джонс.

— Срываете банк? — весело спросил он.

— Там нечего срывать. Вот не думал, что вы заберетесь так далеко в город.

— Сам я не всегда соблюдаю то, что советую другим, — сказал он и подмигнул мне. — Я было пошел к матушке Катрин, но у моей девушки семейные неприятности, ее до завтра не будет.

— А другие вас не устраивают?

— Привычка — вторая натура. Как поживают мистер и миссис Смит?

— Сегодня улетели. Им тут не понравилось.

— Надо было им плыть с нами. У них были неприятности с выездной визой?

— Мы получили ее за три часа. Никогда не видел, чтобы иммиграционный отдел и полиция работали так проворно. Им, наверно, очень хотелось от нее избавиться.

— Политические разногласия?

— Кажется, они разошлись во взглядах с министерством социального благоденствия.

Мы выпили еще и еще и посмотрели, как Луиджи для очистки совести проиграл несколько гурдов.

— Как капитан?

— Мечтает скорей выйти в море. Не выносит этого места. Сам не свой, пока не снимется с якоря.

— А тот тип, в каске? Вы благополучно доставили его в Санто-Доминго?

Я испытывал непонятную тоску, вспоминая моих попутчиков, — может быть, потому что там, на море, я в последний раз чувствовал под ногами почву и в последний раз питал какие-то надежды: я возвращался к Марте и верил, что все еще может перемениться.

— В каске?

— Неужели не помните? Он еще декламировал на концерте.

— Ах, тот бедняга. Мы и в самом деле доставили его благополучно, но только на кладбище. У него случился сердечный припадок перед тем, как мы вошли в порт.

Мы почтили память Бэкстера минутным молчанием, а шарик прыгал и щелкал для Луиджи персонально. Он выиграл еще несколько гурдов и поднялся, безнадежно махнув рукой.

— А Фернандес? — спросил я. — Тот черный, который плакал?

— Оказалось, что это сущий клад, — сказал казначей. — Знал все ходы и выходы. Взял на себя похороны. Ведь он, как выяснилось, хозяин похоронного бюро. Беспокоило его только одно: он не знал, какой мистер Бэкстер веры. В конце концов он похоронил его на протестантском кладбище, потому что нашел у него в кармане календарь с предсказаниями на будущее. «Альманах»... не помню, как там дальше.

— «Альманах Старого Мура»?

— Вот-вот.

— Любопытно, какое предсказание там было для Бэкстера.

— Я посмотрел. Ничего лично для него там не было. Ураган, который вызовет большие опустошения. Серьезная болезнь королевской семьи. Подъем цен акций сталелитейных концессий на несколько пунктов.

— Пошли, — сказал я. — Пустое казино хуже пустой могилы.

Луиджи уже обменивал свои фишки на деньги, и я сделал то же самое. На улице воздух был тяжелый. Как всегда, собиралась гроза.

— Вас ждет такси? — спросил я судового казначея.

— Нет. Шофер потребовал, чтобы я с ним расплатился.

— Они не любят стоять здесь по вечерам. Я отвезу вас на корабль.

Огни по ту сторону спортивной площадки загорались, гасли и загорались снова. «Je suis le Drapeau Haitien, Uni et Indivisible. Francois Duvalier». (Буква «F» перегорела, так что читалось «rancois Duvalier».) Мы миновали статую Колумба и приехали в порт, к «Медее». Лампочка освещала сходни и полицейского, стоявшего внизу. Свет из каюты капитана падал на капитанский мостик. Я посмотрел на палубу, где сидел когда-то, разглядывая пассажиров, которые, несмотря на качку, совершали свой утренний моцион. В порту «Медее» (а она была единственным здесь судном) выглядела совсем незначительной. Очевидно, морской простор придавал маленькому суденышку достоинство и величие. Под ногами у нас скрипела угольная пыль, на зубах хрустел песок.

— Давайте поднимаемся на борт и выпьем на прощание.

— Нет. Если я поднимусь, мне, пожалуй, захочется остаться, что вы тогда со мной сделаете?

— Капитан потребует у вас выездную визу.

— Сперва ее потребует вот этот тип, — сказал я, кивнув на полицейского у сходен.

— Ну, с ним-то мы приятели.

Казначей жестом показал, как он опрокидывает стакан, и ткнул в меня пальцем. В ответ полицейский ухмыльнулся.

— Видите, он не против.

— Все равно не поднимусь. Я и так уже сегодня пил что попало, — сказал я. Но все же медлил у сходен.

— А мистер Джонс, — спросил казначей, — что с мистером Джонсом?

— Процветает.

— Мне он понравился, — признался казначей.

Эта темная личность, майор Джонс, которому никто не доверял, обладал удивительным талантом завоевывать друзей.

— Он мне сказал, что родился под созвездием Весов, значит, в октябре, и я посмотрел, что там про него.

— Где? У «Старого Мура»? Ну и что там было сказано?

— Артистическая натура. Честолюбив. Преуспеет на литературном поприще. Что касается будущего, я там нашел только важную пресс-конференцию генерала де Голля и электромагнитные бури в Южном Уэльсе.

— Он мне сказал, что вот-вот сорвет куш в четверть миллиона долларов.

— На литературном поприще?

— Вряд ли. Предложил мне пойти к нему в компаньоны.

— Значит, и вы разбогатеете?

— Нет. Я отказался. У меня тоже была мечта, как разбогатеть. Может, когда-нибудь я вам расскажу о передвижной выставке картин — это была самая удачная затея в моей жизни, но мне пришлось смыться, и вот я приехал сюда и получил свою гостиницу. Неужели вы думаете, что я так легко откажусь от верного дохода?

— Вы считаете, что гостиница — это верный доход?

— Самый верный из всех, какие у меня когда-либо были.

— Когда мистер Джонс разбогатеет, вы пожалеете, что не отказались от этого верного дохода.

— Может, он мне даст займы и я как-нибудь перебыюсь, пока не вернутся туристы.

— Да, он по-своему, натура широкая. Он щедро дал мне на чай, правда конголезскими бумажками, и банк отказался их обменять. Мы выйдем в море только завтра вечером, а то и позже. Приведите мистера Джонса к нам.

На склонах Петионвиля заиграли молнии; временами их лезвия сверкали так долго, что высекали из тьмы очертания пальмы или угол крыши. В воздухе пахло близким дождем, и глухое бормотание грома напоминало о школьниках, хором повторяющих ответы учителю. Мы пожелали друг другу спокойной ночи.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Я никак не мог заснуть. Молнии вспыхивали и гасли с таким же постоянством, как самореклама Папы-Дока в парке, и, когда дождь ненадолго стихал, сквозь москитные сетки просачивалось немного воздуха. Обещанное Джонсом богатство не выходило у меня из головы. Бросит ли Марта мужа, если я получу свою долю? Но ведь ее удерживали не деньги, а Анхел. Я мысленно уговаривал ее, что Анхел будет доволен, если я откуплюсь от него регулярным пайком головоломов и печенья. Я заснул, и мне приснилось, что я еще маленький и стою на коленях у алтаря школьной часовни в Монте-Карло. Священник ходит по рядам и кладет каждому в рот французское печенье, но, дойдя до меня, проходит не останавливаясь. Мимо меня с двух сторон приходят и уходят причащающиеся, а я упрямо не встаю с колен. Священник снова раздает печенье и снова обходит меня. Тогда я встаю и угрюмо иду по приделу, который превращается в огромный птичник с рядами попугаев, прикованных цепочками к крестам. Кто-то пронзительно меня окликает: «Браун, Браун!», но я не уверен, что это мое имя, и не оборачиваюсь. «Браун!» На этот раз я проснулся — кто-то звал меня с веранды, расположенной прямо под моей комнатой.

Я встал и подошел к окну, но сквозь москитную сетку ничего не увидел. Внизу зашаркали подошвы, и кто-то, удаляясь, снова настойчиво позвал: «Браун!». С трудом расслышав свое имя сквозь молитвенное бормотание дождя, я отыскал фонарик и спустился вниз. В кабинете я захватил единственное имевшееся у меня оружие: медный гроб с буквами R.I.P. Потом я отпер боковую дверь и посветил фонариком, чтобы показать, где я. Свет упал на дорожку, ведущую к бассейну. И сразу же из-за угла дома в круг света вышел Джонс.

Он промок до костей, и лицо его было выпачкано в в грязи. Он нес какой-то сверток, укрывая его пиджаком от дождя.

— Погасите свет, — сказал он. — Впустите меня, скорей.

Он прошел за мной в кабинет и вынул из-под мокрого пиджака сверток. Это был погребец для коктейлей. Джонс бережно положил его на стол и погладил, как любимую собачку.

— Все пропало, — сказал он. — Кончено. Продулся по всем статьям.

Я протянул руку, чтобы зажечь свет.

— Не надо, — сказал он, — нас могут увидеть с дороги.

— Не могут, — сказал я и нашел выключатель.

— Лучше не надо, старик... Мне спокойнее в темноте, если вы не против. — Он снова погасил электричество. — Что это у вас в руке, старик?

— Гроб.

Он тяжело дышал, я почувствовал запах джина.

— Мне надо поскорее отсюда мотать, — сказал он. — Любым способом.

— Что случилось?

— Они стали про меня разнюхивать. В полночь позвонил Конкассер, я даже не знал, что проклятый телефон работает. Я просто оторопел, когда он задребезжал мне в самое ухо. Никогда раньше он не звонил.

— Наверно, они починили телефон, когда поселили там поляков. Вы живете в правительственной гостинице для В.В.П. — весьма важных персон.

— В Имфале мы их звали весьма важными птицами, — сказал Джонс со слабой потугой на шутку.

— Если вы позволите зажечь свет, я смогу дать вам выпить.

— Времени нет, старик. Мне надо убираться отсюда подобру-поздорову. Конкассер говорил из Майами. Они послали его про меня разнюхать. Он еще ничего не подозревает, просто удивляется. Но утром, когда они обнаружат, что я удрал...

— Куда удрал?

— Да в том-то и вопрос, старик, так сказать, вопрос вопросов.

— В порту стоит «Медея».

— Лучше и не придумаешь...

— Мне надо одеться.

Он ходил за мной по пятам, как собака, оставляя на полу лужи. Мне бы очень хотелось посоветоваться с миссис Смит, ведь она была такого высокого мнения о Джонсе. Пока я одевался — ему пришлось разрешить мне зажечь ночник, — он нервно бродил из угла в угол, держась, однако, подальше от окна.

— Не знаю, что за дело вы затеяли, — сказал я, — но если на карту поставлено четверть миллиона долларов, можно было не сомневаться, что рано или поздно они станут про вас разнюхивать.

— Ну, это я предвидел. Я бы сам поехал в Майами вместе с их человеком.

— Они бы вас не выпустили.

— Выпустили бы, если бы я оставил здесь компаньона. Я не знал, что времени в обрез, думал, у меня есть еще неделя, иначе я попытался бы уговорить вас раньше.

Я так и застыл, просунув ногу в штанину, и спросил его с изумлением:

— И вы мне говорите прямо в лицо, что хотели сделать меня козлом отпущения?

— Ну, ну, старик, не сгущайте краски. Будьте покойны, я бы вовремя дал вам знак укрыться в британском посольстве. Если бы до этого дошло. Но до этого бы не дошло. Их человек протелеграфировал бы, что все в порядке, и получил бы свою долю, а потом вы бы к нам присоединились.

— Какая же доля предназначалась ему? Я понимаю — это представляет сейчас чисто академический интерес.

— Все было учтено. То, что я вам обещал, вы получили бы нетто, а не брутто. Все было

бы ваше.

— Если бы я выпутался.

— В конце концов, всегда как-то выпутываешься, старик. — По мере того, как он обсыхал, к нему возвращалась самоуверенность. — У меня и раньше бывали промашки. В Стэнливиле я был так же близок к grand coup [решающий выигрыш — карточный термин (фр.)] и к финишу.

— Если вы хотели надуть их на оружии, — сказал я, — вы допустили грубую ошибку. Их уже раз надули...

— То есть как это надули?

— В прошлом году один человек уже устроил им партию оружия на полмиллиона долларов с оплатой в Майами. Но американские власти были вовремя извещены и оружие задержали. Доллары, конечно, остались в кармане у посредника. Никто до сих пор не знает, сколько там было на самом деле оружия. Второй раз они на ту же удочку не клюнут. Перед поездкой сюда вам следовало получить все разузнать.

— У меня был несколько другой замысел. В сущности, там не было никакого оружия. Да и откуда у меня может быть такой капитал?

— От кого вы получили рекомендательное письмо?

— От пишущей машинки. Как и большинство рекомендаций. Но вы правы, надо было получить все разнюхать. Я адресовал рекомендательное письмо не тому, кому надо. Впрочем, тут я сумел заговорить им зубы.

— Ну, я готов. — Я посмотрел, как он нервно покручивает в углу шнур от лампы. Карие глаза, неаккуратно подстриженные офицерские усики, серый, нездоровый цвет лица. — Не знаю, чего ради я иду для вас на такой риск. Опять хотите сделать меня козлом отпущения.

Я вывел машину на дорогу, не включая фар, и мы медленно двинулись к городу. Джонс сидел пригнувшись и для бодрости насвистывал. По-моему, это была популярная в 1940 году песенка «В среду после войны». Перед самой заставой я включил фары, понадеявшись, что милиционер заснул, но он не спал.

— Вы сегодня ночью здесь проходили? — спросил я у Джонса.

— Нет. Сделал крюк через чьи-то сады.

— Все равно теперь уж нам его не объехать.

Но милиционер засыпал на ходу и не стал нас задерживать: он проковылял через дорогу и поднял шлагбаум. Большой палец у него на ноге был перевязан грязным бинтом, и сквозь дыру в серых фланелевых штанах просвечивала задница. Он даже не стал искать у нас оружия. Мы миновали поворот к Марте, британское посольство и поехали дальше. У посольства я притормозил, там было тихо; тонтон-макуты, без сомнения, поставили бы у ворот часовых, если бы знали о бегстве Джонса.

— А что, если попросить у них убежища? Тут вы будете в безопасности.

— Не хочется, старик. Я доставил им в свое время немало хлопот, вряд ли они встретят меня с распростертыми объятиями.

— Папа-Док устроит вам встречу похуже. Тут ваше спасение.

— У меня есть свои причины, старик... — Он запнулся, и я решил, что наконец-то он мне выложит все начистоту, но он сказал только: — Я забыл свой погребец. Оставил у вас в кабинете. На столе.

— Неужели это такая потеря?

— Люблю эту штуку, старик. Он был со мной повсюду. Это мой талисман.

— Я привезу его вам завтра, если вы им так дорожите. Значит, вы хотите попытать счастья на «Медее»?

— Если там не выйдет, мы всегда сможем сюда вернуться. — Он начал насвистывать другой мотив — кажется, это была «Соловьиная трель», — но тут же сбился. — Подумайте! Чего только мы вместе не пережили, а я его забыл...

— Неужели это единственное пари, которое вы выиграли?

— Пари? Почему пари?

— Вы же мне сказали, что выиграли погребец на парк.

— Разве? — Он погрузился в раздумье. — Старик, вы идете ради меня на большой риск, и я скажу вам все начистоту. Я немножко приврал. Я его спер.

— А как насчет Бирмы... вы тоже ввали?

— Ну, в Бирме-то я был. На самом деле. Честное слово.

— Вы сперли погребец прямо у Аспри?

— Не так примитивно.

— Хитрый ход, как всегда?

— В то время я работал в одной конторе. Воспользовался фирменным чеком, но подписал его своим именем. Я не собирался садиться в тюрьму за подделку подписи. А так получилось, что я вроде как взял эту сумму займа. Знаете, как только увидел я этот погребец, он так мне напомнил генеральский, что я влюбился в него с первого взгляда.

— Значит, он не был с вами в Бирме?

— Ну, это я прибавил для красоты. Но зато он был со мной в Конго.

Оставив машину у статуи Колумба — полиция, наверно, уже привыкла к тому, что она там стоит по ночам, хоть и не пустая, — я отправился вперед на разведку. Все оказалось проще, чем я ожидал. У схода — они все еще были спущены для загулявших у матушки Катрин матросов — полицейского почему-то не оказалось: может, он делал обход, а может, зашел за угол по нужде. На вахте стоял матрос, но, увидев, что это белые, дал нам пройти.

Мы поднялись на верхнюю палубу, и Джонс опять повеселел — после своего признания он молчал как рыба. Проходя мимо салона, он сказал:

— Помните концерт? Вот был вечерок, а? Бэкстера и его свисток помните? «Святой Павел выстоит, Лондон выстоит». Такого днем с огнем не найдешь, правда, старик?

— Теперь уже не найдешь. Он умер.

— Не повезло. Но это вроде даже придает ему солидность, а? — сказал он с некоторой завистью.

Мы поднялись по трапу к капитанской каюте. Я помнил, как капитан отнесся к Джонсу, получив запрос из Филадельфии, и предстоящая беседа мне не слишком улыбалась. До сих пор все шло гладко, но я не очень надеялся, что нам повезет и дальше. Я постучал в дверь, и почти сразу же раздался хриплый властный голос капитана, он приглашал нас войти.

Хорошо хоть, что я его не разбудил. Он сидел на койке, подперев спину подушкой, в белой ночной сорочке и в очках с очень толстыми стеклами, отчего его глаза были похожи на осколки кварца. В руках он держал книгу, свет настольной лампы падал на обложку — роман Сименона; это меня приободрило — все-таки в нем было что-то человеческое!

— Мистер Браун! — воскликнул он с удивлением, как старая дама, к которой ворвались в номер гостиницы, и, как старая дама, инстинктивно прикрыл левой рукой вырез сорочки.

— И майор Джонс, — развязно добавил Джонс, выглядывая из-за моего плеча.

— А, мистер Джонс, — сказал капитан с явным неудовольствием.

— Надеюсь, у вас найдется свободное местечко для пассажира? — спросил Джонс с наигранной веселостью. — И шнапс, надеюсь, тоже?

— Для пассажиров найдется. Но какой же вы пассажир? Где вы смогли посреди ночи купить билет?

— У меня есть деньги, чтобы его купить, капитан.

— А выездная виза?

— Пустая формальность для нас, иностранцев.

— Формальность, но тем не менее ее соблюдают все, кроме преступных элементов. По моему, у вас неприятности, мистер Джонс.

— Да. Я, в сущности, политический беженец.

— Почему же вы не обратились в британское посольство?

— Мне будет уютнее на милой старой «Медее». — Слова прозвучали, как эстрадная реприза, и, может быть, поэтому он повторил: — На милой старой «Медее».

— Вы и раньше не были для нас желанным гостем, мистер Джонс. Меня о вас не раз запрашивали.

Джонс посмотрел на меня, но я не знал, чем ему помочь.

— Капитан, — сказал я, — вы же знаете, что они здесь творят с арестованными. Неужели вы не можете сделать исключение?..

Его белая ночная сорочка, вышитая, очевидно, его грозной женой вокруг шеи и на манжетах, сейчас до ужаса напоминала судейскую мантию; он смотрел на нас с высоты своей койки, как с судейского кресла.

— Мистер Браун, — сказал он, — я не могу пренебрегать своим положением. Мне приходится заходить в этот порт каждый месяц. Неужели вы думаете, что в моем возрасте компания доверит мне другое судно на другой линии? После того как я позволю себе такое нарушение правил, какого вы от меня требуете?

— Простите. Об этом я не подумал, — сказал Джонс с кротостью, которая, по-моему, удивила капитана не меньше, чем меня, и поэтому капитан заговорил снова, почти извиняющимся тоном:

— Не знаю, есть ли у вас семья, мистер Джонс. Но у меня она есть.

— Нет, у меня никого нет, — признался Джонс. — Ни души. Если не считать кое-каких бабенок. Вы правы, капитан, обо мне слез никто проливать не будет. Придется выкарабкиваться как-нибудь иначе. — Он задумался, и мы молча смотрели на него. Потом он вдруг предложил: — Я мог бы проехать зайцем, если вы посмотрели бы на это сквозь пальцы.

— Тогда мне пришлось бы передать вас полиции в Филадельфии. Устраивает вас это, мистер Джонс? Мне почему-то кажется, что у них в Филадельфии есть к вам кое-какие претензии.

— Чепуха. У меня там не заплачен маленький должок, вот и все.

— Ваш личный долг?

— Но по зрелом размышлении, пожалуй, скажу, что меня это не очень устроит.

Я восхищался самообладанием Джонса: он вел себя, как судья, который совещается с двумя экспертами по поводу запутанного дела.

— По-видимому, выбор у меня небольшой, — подытожил он.

— В таком случае советую вам все-таки обратиться в британское посольство, — холодно сказал капитан тоном человека, который заранее знает на все ответ и не потерпит возражений.

— Наверно, вы правы. Но, говоря честно, я не ладил с консулом в Леопольдвиле. Все они одного поля ягода — эти карьеристы из дипломатической лавочки. Боюсь, что и сюда поступил на меня какой-нибудь донос. Вот незадача, правда? Неужели вам так уж нужно передавать меня в Филадельфии фараонам?

— Необходимо.

— Куда ни кинь, все клин, а? — Он обратился ко мне. — А как насчет какого-нибудь другого посольства, где на меня еще нет доноса?..

— У посольств свои правила, — сказал я. — Иностранец не может претендовать на право убежища в чужом посольстве. Вы потом сидели бы у них на шее, пока будет держаться это правительство.

Вверх по трапу загремели шаги. В дверь постучали. Я увидел, что Джонс затаил дух. Он был далеко не так спокоен, как хотел казаться.

— Войдите.

Вошел старший помощник. Он взглянул на нас без всякого удивления, словно ожидал

увидеть здесь посторонних, и обратился к капитану по-голландски, на что тот задал какой-то вопрос. Старший помощник в ответ указал глазами на Джонса. Капитан повернулся к нам. Он отложил книгу, словно отчаявшись встретиться сегодня с Мегрэ, и сказал:

— У схода стоит полицейский офицер с тремя людьми. Они хотят подняться на борт.

Джонс тяжело вздохнул. Может быть, он увидел, как навеки исчезают Дом Сагиба, восемнадцатая лунка и Бар Необитаемого Острова.

Капитан отдал старшему помощнику по-голландски приказ, и тот вышел.

— Мне надо одеться, — сказал капитан.

Он застенчиво, как немецкая Hausfrau [мать семейства (нем.)], поерзал на краю койки, потом грузно спустился на пол.

— Вы позволите им войти на борт! — воскликнул Джонс. — Где ваша гордость? Эти же голландская территория!

— Мистер Джонс, пройдите, пожалуйста, в уборную и сидите там тихо, этим вы облегчите дело нам всем.

Я открыл дверь в глубине каюты и втолкнул туда Джонса. Он нехотя повиновался.

— Я попал в ловушку, как крыса, — сказал он и быстро поправился: — Я хотел сказать, как кролик, — и улыбнулся дрожащей улыбкой.

Я решительно посадил его, как ребенка, на стульчак.

Капитан натянул брюки и заправил ночную сорочку. Потом он снял с крючка форменный китель и надел, спрятав под ним вышитый воротник сорочки.

— Неужели вы разрешите им делать обыск? — возмутился я.

Он не успел ни ответить, ни обуться, в дверь постучали.

Я знал полицейского офицера, который вошел. Это был настоящий подонок, не лучше любого тонтон-макута; ростом он был с доктора Мажио и умел наносить страшные удары; о его силе свидетельствовало немало разбитых челюстей в Порт-о-Пренсе. Рот у него был полон золотых зубов, скорее всего, трофейных; он носил их напоказ, как индейские воины раньше носили скальпы. Он нагло оглядел нас обоих, пока старший помощник — прыщавый юнец — нервно вертелся у него за спиной. Полицейский бросил мне оскорбительным тоном:

— Вас-то я знаю.

Маленький тучный капитан — босиком он казался совсем беззащитным — храбро дал ему отпор:

— А вот вас я не знаю.

— Что вы делаете на борту так поздно? — спросил меня полицейский.

Капитан сказал старшему помощнику по-французски, чтобы все его поняли:

— Я же вам сказал, чтобы он не брал револьвер на борт?

— Он отказался, сэр. Он меня толкнул.

— Отказался? Толкнул? — Капитан выпрямился и дотянулся почти до плеча полицейского. — Я пригласил вас на борт, но только на определенных условиях. Кроме меня, на этом судне никому не разрешается носить оружие. Вы сейчас не в Гаити.

Эта фраза, произнесенная решительным тоном, привела офицера в замешательство. Она подействовала как магическое заклинание, он почувствовал себя неуверенно. Он обвел взглядом нас, оглядел каюту.

— Pas a Haiti? [Не в Гаити? (фр.)] — переспросил он и тут, наверно, заметил много незнакомых вещей: грамоту в рамке на стене за спасение жизни на водах, фотографию суровой белой женщины с волнистыми волосами стального цвета, керамическую бутылку с непонятной наклейкой «болс», снимок амстердамских каналов зимой, скованных льдом. Он растерянно повторил: — Pas a Haiti?

— Vous etes en Hollande [вы в Голландии (фр.)], — сказал капитан, по-хозяйски посмеиваясь и протягивая руку. — Дайте-ка мне ваш револьвер.

— У меня есть приказ, — жалобно сказал этот хам. — Я выполняю свой долг.

— Мой помощник вернет вам его, когда вы покинете судно.
— Но я ищу преступника.
— Только не на моем пароходе.
— Но он забрался на ваш пароход.
— Я за это не отвечаю. А теперь отдайте револьвер.
— Я должен произвести обыск.
— Вы можете производить какие угодно обыски на суше, а здесь нет. Здесь за порядок и закон отвечаю я. Если вы не отдадите мне револьвер, я прикажу команде разоружить вас и бросить в воду.

Полицейский признал свое поражение. Не сводя глаз с сурового лица жены капитана, он отстегнул кобуру. Капитан положил револьвер на стол, словно вручая его жене на хранение.

— Теперь, — сказал он, — я готов отвечать на любые разумные вопросы. — Что вам угодно выяснить?

— Мы хотим выяснить, есть ли у вас на борту один преступник. Вы его знаете. Это некий Джонс.

— Вот список пассажиров. Если вы умеете читать.

— В списке его не будет.

— Я десять лет служу капитаном на этой линии. Я строго придерживаюсь закона. И никогда не повезу пассажира, которого нет в списке. Или пассажира без выездной визы. У него есть выездная виза?

— Нет.

— Тогда могу твердо вам обещать, лейтенант, что ни при каких обстоятельствах он не будет моим пассажиром.

Обращение «лейтенант», кажется, несколько смягчило полицейского.

— Он мог спрятаться так, что вы об этом ничего и не знаете, — сказал он.

— Утром перед отплытием я прикажу обыскать судно, и, если Джонса найдут, я его высажу на берег.

Полицейский заколебался.

— Если его здесь нет, он, наверно, укрылся в британском посольстве.

— Это для него куда более подходящее убежище, чем пароходная компания королевства Нидерландов, — сказал капитан. Он отдал револьвер старшему помощнику. — Вручите ему оружие, когда он сойдет со схода.

Он отвернулся, и черная рука полицейского замерла в воздухе, как рыба в аквариуме.

Мы молча ждали, пока не вернулся старший помощник и не сообщил, что полицейские уехали на своей машине; тогда я выпустил Джонса из уборной.

Он рассыпался в благодарностях.

— Вы были просто великолепны, капитан!

Капитан смотрел на него с презрением и неприязнью.

— Я сказал ему правду, — произнес он. — Если бы я обнаружил вас на судне, я высадил бы вас на берег. Я рад, что мне не пришлось лгать. Мне трудно было бы простить это себе или вам. Прощу вас, покиньте мое судно, как только минует опасность.

Он скинул китель, вытащил белую ночную сорочку из брюк, чтобы, снимая их, не нарушить приличий, и мы ушли.

На палубе я перегнулся через поручни и посмотрел на полицейского у схода. Это был тот же полицейский, который стоял здесь вечером, лейтенанта и его людей не было видно.

— Теперь поздно ехать в британское посольство, — сказал я. — Его уже оцепили.

— Что же нам делать?

— Бог его знает, но прежде всего надо отсюда уйти. Если мы останемся здесь до утра, капитан сдержит слово.

Положение спас судовой казначей, который бодро восстал ото сна (когда мы вошли в его каюту, он лежал на спине с какой-то сальной улыбкой на губах). Он сказал:

— Мистеру Брауну уйти просто, полицейский его помнит. Но для мистера Джонса есть только один выход. Он должен переодеться женщиной.

— А где он возьмет женское платье? — спросил я.

— У нас стоит сундук с костюмами для любительских спектаклей. Там есть костюм испанской сеньориты и крестьянки из Воллендама.

— А мои усы? — жалобно спросил Джонс.

— Придется сбрить.

Но испанский костюм для исполнительницы цыганских плясок и сложный головной убор голландской крестьянки чересчур бросались в глаза. Мы постарались поскромнее скомбинировать оба, отказавшись от воллендамского головного убора и деревянных башмаков, от испанской мантильи и множества нижних юбок. Тем временем Джонс мрачно и мучительно брился — не было горячей воды. Как ни странно, без усов он внушал больше доверия, словно раньше носил чужой мундир. Теперь я даже мог поверить, что он был военным. Еще удивительнее было то, что, как только усы были принесены в жертву, он сразу же с азартом и большим знанием дела принял участие в маскараде.

— Нет ли у вас губной помады или румян? — спросил он казначея, но у того ничего не оказалось, и вместо косметики Джонсу пришлось воспользоваться мыльным порошком для бритья. По контрасту с черной воллендамской юбкой и испанской кофтой с блестками его напудренное лицо выглядело мертвенно-бледным. — Когда мы сойдем со схода, не забудьте меня поцеловать, — сказал он казначею. — Тогда не будет видно моего лица.

— Почему бы вам не поцеловать мистера Брауна? — спросил тот.

— Он ведет меня к себе. Это было бы неестественно. Вы должны сделать вид, что мы провели вечер на славу троим.

— Как же мы его провели?

— В буйном разгуле, — сказал Джонс.

— Вы не запутаетесь в юбке? — спросил я.

— Конечно нет, старик. — Он добавил загадочную фразу. — Мне не впервой. Конечно, это было при совсем других обстоятельствах...

Он спустился со схода, держа меня под руку. Юбка была такая длинная, что ему пришлось подобрать ее рукой, как нашим бабкам, когда они переходили через лужи. Вахтенный матрос смотрел на нас, разинув рот: он не знал, что на судне есть женщина, да еще такая женщина. Проходя мимо вахтенного, Джонс игриво и с вызовом сверкнул на него своими карими глазами. Я заметил, как заодно и смело они блестят из-под платка; прежде их портили усы. Сойдя со схода, он поцеловал казначея, измазав ему щеки мыльным порошком. Полицейский смотрел на нас с вялым любопытством, — видно, Джонс был не первой женщиной, покидавшей судно в такой поздний час, и к тому же он вряд ли мог привлечь кого-нибудь, знакомого с девушками матушки Катрин.

Мы медленно шли под руку к моей машине.

— Не задирайте так высоко юбку, — предостерег я Джонса.

— Я никогда не был скромницей, старик.

— Да, но *flic* [шпик (фр.)] может заметить ваши ботинки.

— Слишком темно.

Я никогда бы не поверил, что нам так легко удастся бежать. Нас никто не преследовал, машина стояла на месте, и возле нее не было ни души; вокруг царили покой и Колумб. Я сел за руль и задумался, пока Джонс расправлял свои юбки.

— Как-то раз я играл Боадицею, — сказал он. — В одном скетче. Надо было повеселить ребят. Среди зрителей был член королевской семьи.

— Королевской семьи?

— Лорд Маунтбаттен. Вот было времечко! Будьте добры, поднимите левую ногу. Вы наступили мне на юбку.

— Куда нам теперь ехать? — спросил я.

— Почему я знаю. Человек, к которому я сочинил себе рекомендацию, окопался в посольстве Венесуэлы.

— Это посольство стерегут больше всего. Там прячется половина генерального штаба.

— Я удовольствуюсь чем-нибудь поскромнее.

— Вас могут еще и не пустить. Ведь вы же не политический беженец, правда?

— А разве обмануть Папу-Дока — это не все равно что участвовать в Сопротивлении?

— Может, они не захотят поселить вас у себя навсегда. Вы об этом подумали?

— Не выставят же меня, если я туда проберусь?

— Пожалуй, кое-кто не остановится и перед этим.

Я запустил мотор, и мы медленно поехали обратно в город. Мне не хотелось, чтобы подумали, будто мы от кого-то спасаемся. Перед каждым поворотом я оглядывался, не видно ли огней машины, но в Порт-о-Пренсе было пусто, как на кладбище.

— Куда вы меня везете?

— В единственное место, которое пришло мне в голову. Посол в отъезде.

Машина преодолевала подъем в гору, и я облегченно вздохнул. Я знал, что после поворота на знакомую улицу застав не будет. У ворот в машину мельком заглянул полицейский. Меня он знал в лицо, а Джонс в темноте легко сошел за женщину. Очевидно, общего сигнала тревоги еще не дали. Джонс был всего-навсего уголовником, а не патриотом. Наверно, они предупредили заставы и расставили вокруг британского посольства тонтон-макутов. Установив наблюдение за «Медеей» и, по всей вероятности, за моей гостиницей, они считали, что загнали его в угол.

Я не велел Джонсу выходить из машины и позвонил. В доме еще не спали: в одном из окон нижнего этажа горел свет. Все же мне пришлось позвонить снова; я с нетерпением прислушивался, как откуда-то, из глубины дома, не спеша приближаются чьи-то грузные, медленные шаги. Затыкала и заскулила собака — это меня удивило: я никогда не видел в доме собаки. Потом чей-то голос — я решил, что это голос ночного сторожа, — спросил, кто тут.

— Позовите сеньору Пинеду, — сказал я. — Скажите, что это мсье Браун. По срочному делу.

Замок отперли, засов отодвинули, цепочку сняли, но открыл дверь не сторож. На пороге стоял сам посол, всматриваясь в меня близорукими глазами. Он был без пиджака и без галстука; до сих пор я всегда видел его безукоризненно одетым. Рядом с ним, злобно оскалившись, стояла противная крошечная собачонка, вся в длинных седых волосах, похожая на сороконожку.

— Вам нужна моя жена? — спросил он. — Она спит.

Поймав его усталый и оскорбленный взгляд, я подумал: он знает, он все знает.

— Хотите, я ее разбужу? — спросил он. — Это так срочно? Она с моим сыном. Они спят.

Я сказал неловко и бестактно:

— А я и не знал, что вы вернулись.

— Я прилетел вечерним самолетом. — Он поднес руку к шее, к тому месту, где должен был быть галстук. — Накопилось столько работы. Срочные бумаги... знаете, как это бывает.

Можно было подумать, что он передо мной оправдывается и кротко предъявляет свой паспорт — национальность: человек. Особые приметы: рога носец.

Мне стало стыдно.

— Нет, пожалуйста, не будите ее, — сказал я. — Собственно, мне нужны вы.

— Я? — На секунду я подумал, что он перепугается, спрячется за дверь и защелкнет

замок. Он, вероятно, решил, что я хочу сказать ему то, что он боялся услышать. — Разве нельзя подождать до утра? — взмолился он. — Уже так поздно. У меня так много работы. — Он пошарил в кармане, отыскивая портсигар, но его не оказалось. Он, пожалуй, сунул бы мне в руки горсть сигар, как другой сунул бы деньги, только чтобы я ушел. Но сигар, как назло, не было. И, сдаваясь, он с горечью произнес: — Ну что ж, заходите, если это так срочно.

— Я не понравился вашей собаке, — сказал я.

— Дон-Жуану?

Он прикрикнул на жалкую тварь, и она принялась лизать его туфлю.

— Я не один, — сказал я и подал знак Джонсу.

Посол, не веря своим глазам, с ужасом смотрел на Джонса. Наверно, он еще думал, что я решил признаться ему во всем и, может быть, потребовать развода; но какую роль, спрашивал он себя, может играть в этом деле «она», что это — свидетельница, няня для Анхела, новая жена для него самого? В кошмаре случается все, даже самое жестокое и нелепое, а ему все это наверняка казалось кошмаром. Сначала из машины показались ботинки на толстой резиновой подошве, носки в алую и черную полоску, потом, волан за воланом, черно-синяя юбка и, наконец, голова и плечи, закутанные в шаль, белое, в мыльном порошке, лицо и дерзкие карие глаза. Джонс отряхнулся, как воробей, вывалявшийся в пыли, и поспешно направился к нам.

— Это мистер Джонс, — сказал я.

— Майор Джонс, — поправил он меня. — Рад с вами познакомиться, ваше превосходительство.

— Он просит у вас убежища. За ним гонятся тонтон-макуты. Пробраться в британское посольство нечего и думать. Оно окружено. Вот я и подумал, что, может быть, вы... хоть он и не латиноамериканец... Ему грозит большая опасность.

Не успел я это сказать, как лицо посла просветлело — он почувствовал громадное облегчение. Дело шло о политике. Тут он знал, что делать. Тут была его стихия.

— Входите, майор Джонс, входите. Добро пожаловать. Мой дом к вашим услугам. Я сейчас же разбужу мою жену. Вам приготовят одну из моих комнат.

Почувствовав облегчение, он расшвыривал это «мое», как конфетти. Потом он закрыл и запер дверь, задвинув засов, заложил цепочку и рассеянно предложил Джонсу руку, чтобы проводить его в комнаты. Джонс взял его под руку и величественно, как матрона, двинулся через переднюю. Противная серая шавка бежала рядом с ним, подметая пол своими космами и обнюхивая подол его юбки.

— Луис!

На площадке лестницы стояла Марта и с сонным удивлением смотрела вниз.

— Дорогая, — сказал посол, — позволь тебе представить мистера Джонса. Наш первый беженец.

— Мистер Джонс!

— Майор Джонс, — поправил их обоих Джонс, сдернув с головы шаль, как шляпу.

Марта перегнулась через перила и захохотала; она хохотала, пока слезы не выступили у нее на глазах. Сквозь ночную рубашку я мог разглядеть ее грудь и даже темный треугольник внизу; то же, подумал я, видит и Джонс. Он улыбнулся ей и сказал:

— Майор женской армии... — И я вспомнил питомицу матушки Катрин Тин-Тин. Когда я спросил ее, чем ей понравился Джонс, она ответила: «Он меня насмешил».

В эту ночь мне так и не пришлось поспать. Когда я возвращался в «Трианон», тот же полицейский офицер, который был на борту «Медеи», остановил меня у въезда в аллею и спросил, где я пропадал.

— Вы знаете это не хуже меня, — сказал я, и в отместку он — вот дурак — тщательно обыскал мою машину.

Я пошарил в баре, чего бы выпить, но в холодильнике не оказалось льда, а на полках осталась только одна бутылка «Семерки». Я разбавил ее основательной порцией рома и уселся на веранде в ожидании восхода солнца; москиты давно перестали меня беспокоить, мясо мое им, наверно, уже приелось. Гостиница за моей спиной казалась еще безлюднее, чем когда бы то ни было; я скучал по хрому Жозефу, как скучал бы по привычной боли, — ведь подсознательно я чуть-чуть страдал вместе с ним, когда он с трудом ковылял из бара на веранду и вверх и вниз по лестницам. Его шаги я по крайней мере сразу узнавал, и я спрашивал себя, в какой каменистой глуши отдаются они сейчас и не лежит ли он мертвый среди скалистых вершин гаитянского хребта. Его шаги были, по-моему, единственным звуком, к которому я за всю свою жизнь успел привыкнуть. Меня охватила жалость к самому себе, приторная, как любимое печенье Анхела. Интересно, сумею ли я отличить на слух шаги Марты от шагов других женщин? Пожалуй, нет; я ведь так и не научился различать шаги матери до того, как она меня бросила на отцов-иезуитов. А мой родной отец? Он не оставил по себе даже детских воспоминаний. Вероятно, он умер, но я не был в этом убежден: в нашем столетии старики живут дольше отпущенного им срока. Впрочем, я не испытывал к нему живого интереса, не было у меня и желания разыскивать его по свету или найти надгробную плиту, на которой, быть может, хоть я и не был в этом уверен, высечена фамилия Браун.

И все-таки это отсутствие интереса рождало в душе пустоту, там, где ее вроде и не должно было быть. Я так и не смог заполнить эту пустоту, как зубной врач заполняет дупло временной пломбой. Ни один священник не смог заменить мне отца, и ни одна страна на свете не заменила мне родину. Я был гражданином Монако, и все.

Пальмы стали выступать из безликой темноты; они напоминали мне пальмы у здания казино на лазурном искусственном берегу, где даже песок был привозным. Слабый ветерок шевелил длинные листья, зубчатые, как клавиатура рояля; ветер вдавливал клавиши по две и по три в ряд, словно по ним ударяла невидимая рука. Зачем я здесь? Я здесь потому, что получил открытку с пейзажем от матери, открытку, которая легко могла до меня не дойти, — на это было больше шансов, чем в любой азартной игре. Есть люди, которые в силу своего рождения неразрывно привязаны к какой-нибудь стране; даже покинув ее, они чувствуют с ней связь. Некоторые люди привязаны к своему краю, к округе, к деревне, но я не чувствовал никакой связи с той сотней квадратных километров вокруг садов и бульваров Монте-Карло, этого города временных жильцов. Более прочные узы связывали меня с этой нищенской страной террора, куда меня занес случай.

Первые краски осени тронули сад. Густая зелень сменилась багрянцем; а я вот меняю места, как природа краски; нигде мне не дано пустить корней, и никогда у меня не будет ни дома, ни постоянства в любви.

2

В гостинице больше не оставалось постояльцев; когда уехали Смиты, повар, прославивший мою кухню своим суфле, совсем отчаялся и перешел в венесуэльское посольство, где можно было кормить хотя бы беженцев. Если мне хотелось есть, я варил яйцо, открывал банку консервов или делил гаитянскую трапезу с последней оставшейся у меня служанкой и садовником, а иногда отправлялся обедать к Пинеда — не очень часто, потому что присутствие Джонса меня раздражало. Анхел ходил теперь в школу, открытую женой испанского посла, и в послеобеденные часы Марта не прячась ездила в «Трианон» и ставила свою машину ко мне в гараж. Она больше не боялась, что про нашу связь узнают, а может быть, снисходительный муж предоставил нам кое-какую свободу. Мы проводили целые часы у меня в спальне, обнимаясь, разговаривая и чересчур часто ссорясь. Ссорились мы даже из-за собаки посла.

— Меня дрожь берет от одного ее вида, — сказал я. — Она похожа на крысу в

шерстяной шали или огромную сороконожку. Чего ради он ее купил?

— Наверно, ему надоело быть одному.

— У него есть ты.

— Ты же знаешь, как редко он меня видит.

— Неужели я должен и его жалеть?

— Всем нам не вредно хоть кого-нибудь пожалеть, — сказала она.

Она была куда прозорливей меня и видела надвигающееся облако ссоры издали, когда оно еще было величиной с кулак; обычно она тут же принимала меры, чтобы ее пресечь, — ведь объятия сразу прекращали ссору, хотя бы на время. Однажды она заговорила о моей матери и об их дружбе.

— Странно, не правда ли? Мой отец был военный преступник, а она — героиня Сопротивления.

— Ты в самом деле в это веришь?.

— Да.

— Я нашел у нее в копилке медаль, но подумал, что это подарок какого-нибудь любовника. В копилке лежал и образок, но это ничего не значит, она совсем не была набожной. Иезуитам она отдала меня просто для того, чтобы развязать себе руки. Им можно было не платить, они могли себе это позволить.

— Ты жил у иезуитов?

— Да.

— Правда, ты мне говорил. Раньше я думала, что ты — никакой.

— Я и есть никакой.

— Да, но я думала, ты — никакой протестант, а не католик. Я сама — никакая протестантка.

Мне почудилось, что вокруг нас летают цветные шары: каждая вера имеет свой цвет... как и каждое неверие. Тут был и экзистенциалистский шар и логически-позитивистский шар.

— Я даже думала, что ты коммунистический никакой.

Как весело, как забавно гонять цветные шары: вот только когда шар падает на землю, у тебя щемит сердце, как при виде задавленного пса на большой дороге.

— Доктор Мажио, коммунист, — сказала она.

— Кажется, да. Я ему завидую. Его счастье, что он верит. А я распростился со всеми абсолютными истинами в часовне св. Пришествия. Знаешь, они ведь когда-то думали, что у меня призвание к духовной карьере.

— Может, в тебе пропал священник.

— Во мне? Ты смеешься. Дай-ка сюда руку. Не очень благочестиво, правда?

Я издевался над собой, даже обнимая ее. Я кидался в наслаждение очертя голову, как самоубийца на мостовую.

Что заставило нас после короткого, но яростного приступа страсти снова заговорить о Джонсе? В памяти у меня смешались разные дни, разные объятия, разные споры, разные ссоры — все они были прологом к последней, решающей ссоре. Был такой день, когда она ушла раньше и на мой вопрос, почему — Анхел еще не скоро должен вернуться из школы, — ответила:

— Я обещала Джонсу, что поучусь у него играть в рамс.

Прошло всего десять дней с тех пор, как я поместил Джонса под одну с ней крышу, и, когда она мне это сказала, я вздрогнул от предчувствия ревности, как от озноба, предвещающего лихорадку.

— Это, должно быть, увлекательная игра. Ты предпочитаешь ее нашим свиданиям?

— Милый, сколько можно этим заниматься? Мне не хочется его обманывать. Он приятный гость, Анхел его любит. Он часто играет с ним.

В следующий раз, много позже, ссора началась с другого. Марта меня вдруг спросила

— это были ее первые слова после того, как мы оторвались друг от друга:

— Скажи, мошка — это муха?

— Нет, маленький комар. А почему ты спрашиваешь?

— Джонс всегда зовет собаку Мошка, и она бежит на зов. Ее настоящее имя Дон-Жуан, но она к нему так и не привыкла.

— Ты еще скажешь, что и собака любит Джонса.

— Она, правда, его любит — даже больше, чем Луиса. Луис всегда ее кормит, он не дает ее кормить даже Анхелу, но стоит Джонсу крикнуть: «Мошка»...

— А как Джонс зовет тебя?

— Что ты хочешь сказать?

— Ты тоже бежишь к нему, когда он тебя зовет. Спешешь поскорее уйти, чтобы сыграть с ним в рамс.

— Это было три недели назад. Один раз.

— Половину времени мы тратим на разговоры об этом проклятом жулике.

— Ты сам привел этого проклятого жулика к нам в дом.

— Я не думал, что он станет другом дома.

— Милый, он нас смешит, вот и все. — Вряд ли она могла выбрать довод, который уязвил бы меня сильнее. — Здесь так редко можно посмеяться.

— Здесь?

— Ты передергиваешь каждое слово. Я не имела в виду здесь, в постели. Я имела в виду здесь, в Порт-о-Пренсе.

— Вот что значит говорить на разных языках. Надо было мне брать уроки немецкого. А Джонс говорит по-немецки?

— Даже Луис не говорит по-немецки. Милый, когда ты меня хочешь, я для тебя женщина, а когда ты на меня сердишься, я всегда немка. Какая жалость, что Монако никогда не было могущественной державой.

— Было. Но англичане уничтожили флот принца Монакского в Ла-Манше. Там же, где авиацию Гитлера.

— Мне было десять лет, когда вы ее уничтожили.

— Я никого не уничтожал. Сидел себе в конторе и переводил на французский листовки против Виши.

— Джонс воевал интереснее.

— Вот как?

Почему она так часто упоминала его имя — по простоте душевной или чувствовала потребность без конца о нем говорить?

— Он был в Бирме, — сказала она, — дрался с японцами.

— Он тебе об этом рассказывал?

— Он очень интересно рассказывает о партизанской войне.

— Он мог бы пригодиться здесь Соппротивлению. Но предпочел тех, кто стоит у власти.

— Теперь он их раскусил.

— А может быть, они его раскусили? Он рассказывал тебе, как потерял взвод?.

— Да.

— И что он умеет чутьем находить воду издалека?

— Да.

— Иногда меня просто удивляет, как он не дослужился по крайней мере до генерала.

— Милый, что с тобой?

— Отелло покорила Дездемону рассказами о своих приключениях. Испытанный прием. Надо было мне рассказать тебе, как меня травил «Народ». Это вызвало бы у тебя сочувствие.

— Какой народ?

— Да так... Ладно.

— В посольстве любая новая тема для разговора — уже находка. Первый секретарь — большой знаток черепах. Сначала это было интересно с познавательной точки зрения, но потом надоело. А второй секретарь — поклонник Сервантеса, но только не «Дон-Кихота» — он, по его словам, написан в погоне за дешевой популярностью.

— Наверно, и бирманская война со временем должна приестся.

— По крайней мере он пока что не повторяется, как другие.

— Он рассказал тебе историю своего дорожного погребца?

— Да. Конечно, рассказал. Милый, ты его недооцениваешь. У него широкая натура. Ты ведь знаешь, как течет наш смеситель, и вот он подарил Луису свой, хотя у него и связаны с ним какие-то воспоминания. Это очень хорошая вещь — от Аспри, в Лондоне. Он сказал, что ему больше нечем отблагодарить нас за гостеприимство. Мы ответили, что возьмем погребец только на время, и знаешь, что он сделал? Он заплатил слуге, чтобы тот снес его к Хамиту, и велел выгравировать на нем надпись. Так что теперь мы не можем его вернуть. И надпись такая странная: «Луису и Марте от их благодарного гостя Джонса». И все. Ни имени. Ни инициалов.

— Зато тебя он назвал по имени.

— Луиса тоже. Ну, милый, мне пора.

— А ведь уйму времени мы опять убили на Джонса, правда?

— Ну и что ж, мы, наверно, будем говорить о нем еще не раз. Папа-Док не дает ему охранной грамоты. Даже на дорогу до британского посольства. Правительство присылает каждую неделю официальный протест. Они уверяют, что он просто уголовник, но это, конечно, глупости. Он хотел с ними сотрудничать, но молодой Филипо открыл ему глаза.

— Ах вот что он теперь говорит!

— Он пытался сорвать поставку оружия для тонтон-макутов.

— Ловко придумано.

— И это делает его политическим преступником.

— Он просто жулик.

— А разве все мы понемножку не жульничаем?

— Да ты за него просто горой стоишь.

И вдруг перед моими глазами возникло нелепое видение: они оба в постели — Марта раздета, как и сейчас, а Джонс в своем женском наряде, с лицом, пожелтевшим от мыльного порошка, задирает выше колен широченную юбку из черного бархата.

— Милый, ну что с тобой опять?

— Какая-то глупость. Подумать, что я сам привел к вам этого мошенника. А теперь он поселился у вас — и может, на всю жизнь. Или до тех пор, пока кто-нибудь не прикончит Папу-Дока серебряной пулей. Сколько лет живет Миндсенти в американском посольстве в Будапеште? Двенадцать? Джонс видит тебя целый день...

— Не так, как ты.

— Ну, Джонсу время от времени тоже нужна женщина — это я знаю. Я видел его в действии. Что же касается меня, я встречаюсь с тобой только за обедом или на второразрядных приемах.

— Сейчас ты не на приеме.

— Он уже перелез через забор. И забрался в самый огород.

— Тебе бы писателем быть, — сказала она, — тогда мы все стали бы героями твоих романов. И не могли бы тебе сказать, что мы совсем не такие, не могли бы с тобой спорить. Милый, разве ты не видишь, что ты нас выдумываешь?

— Я рад хотя бы тому, что выдумал эту постель.

— Ты даже не станешь нас слушать, если то, что мы говорим, не подходит к отведенной нам роли.

— Какая там роль? Ты женщина, которую я люблю. Вот и все.

— Ну да, на меня тоже наклеен ярлычок. Женщина, которую ты любишь.

Она вскочила с кровати и стала торопливо одеваться. Она выругалась — «merde» [дерьмо (фр.)], — когда не сразу застегнулась подвязка, запуталась в рукавах платья и вынуждена была надевать его снова, она так торопилась, будто в доме пожар. Потом она потеряла второй чулок.

Я сказал:

— Скоро я избавлю вас от этого гостя. Любым способом.

— Мне все равно. Лишь бы он не погиб.

— Анхел будет по нему скучать.

— Да.

— И Мошка.

— Да.

— И Луис.

— Луису с ним весело.

— А тебе?

Она молча сунула ноги в туфли.

— Нам будет спокойнее без него. Тебе не придется разрываться между нами обоими.

Секунду она смотрела на меня с возмущением. Потом подошла к кровати и взяла меня за руку, как ребенка, который не понимает, что говорит, но должен усвоить, что этого нельзя повторять.

— Милый, берегись. Неужели ты не понимаешь? Для тебя реально только то, что существует в твоём воображении. А не я и не Джонс. Мы только то, что тебе захотелось из нас сотворить. Ты берклианец. Господи, да еще какой! Бедного Джонса ты превратил в коварного соблазнителя, а меня в распутную бабу. Ты даже не можешь поверить в медаль своей матери. Еще бы, ведь ты сочинил для нее совсем другую роль. Милый, постарайся поверить, что мы реально существуем, даже когда тебя с нами нет. Существоем независимо от тебя. Мы все не такие, какими ты нас представляешь. Но и это бы не беда, если бы ты не глядел на все так мрачно, так беспросветно мрачно.

Я попытался отвлечь ее поцелуем, но она решительно отвернулась и, стоя на пороге, сказала куда-то в пустой коридор:

— В каком мрачном мире, сотворенном тобой, ты живешь. Мне очень тебя жалко. Так же, как моего отца.

Я долго лежал в кровати, размышляя, что же у меня общего с военным преступником, ответственным за великое множество безвестных смертей.

Луч фары пронесся между пальмами и опустился, как желтый мотылек, на мое лицо. Когда он погас, я ничего не мог разглядеть — только что-то большое и черное, надвигавшееся на веранду. Меня уже раз били, и я не хотел, чтобы это повторилось.

— Жозеф! — крикнул я, но, разумеется, Жозефа здесь не было.

Я заснул над стаканом рома и об этом забыл.

— Разве Жозеф вернулся?

Я с облегчением узнал голос доктора Мажио. Он медленно, со своим непостижимым достоинством поднимался по расшатанной лестнице веранды, словно это были мраморные ступени сената, а сам он — сенатор из заморских владений, пожалованный в римские граждане.

— Я спал. Это со сна. Чем вас угостить, доктор? Я теперь готовлю себе сам, но мне не трудно поджарить вам омлет.

— Нет, я не голоден. Можно поставить машину к вам в гараж на случай, если кто-нибудь сюда пожалует?

— Никто сюда не приходит по ночам.

— Как знать. На всякий случай...

Когда он вернулся, я снова предложил ему поесть, но он отказался.

— Соскучился я в одиночестве — только и всего. — Он пододвинул к себе стул с прямой спинкой. — Я часто приходил в гости к вашей матушке... в прежние, счастливые времена. Теперь после захода солнца меня тяготит одиночество.

Молнии уже сверкали, и скоро должен был низвергнуться еженощный потоп. Я отодвинул свой стул подальше, под крышу веранды.

— Разве вы совсем не встречаетесь со своими коллегами? — спросил я.

— С какими коллегами? Ну да, тут есть еще несколько стариков вроде меня, они сидят запершись, прячутся. За последние десять лет три четверти опытных врачей предпочли уехать за границу, как только им удалось купить выездную визу. Здесь покупают не разрешение на практику, а выездные визы. Если хотите обратиться к гаитянскому врачу, поезжайте в Гану.

Доктор молчал. Он нуждался в живом человеке рядом, а не в беседе. Первые капли дождя зашлепали по дну бассейна, который теперь снова пустовал; ночь была так темна, что я не видел лица доктора Мажио — только кончики его пальцев, как вырезанные из дерева, лежали на ручках кресла.

— Прошлой ночью, — продолжал доктор Мажио, — мне приснился нелепый сон. Раздался телефонный звонок — нет, вы подумайте только, телефонный звонок, сколько лет я его не слышал? Меня вызывали в городскую больницу к пострадавшему от несчастного случая. Когда я приехал, я порадовался, как чисто в палате, да и сестры были молоденькие, в белоснежных халатах (они, кстати, тоже все сбежали в Африку). Меня встретил мой коллега, молодой врач, на которого я возлагал большие надежды; сейчас он оправдывает их в Бразавиле. Он сообщил, что кандидат оппозиции (как старомодно звучат сегодня эти слова!) подвергся на политическом митинге нападению хулиганов. Есть осложнения. Его левый глаз в опасности. Я стал осматривать глаз, но обнаружил, что он цел, зато щека рассечена до кости. Вернулся мой коллега. Он сказал: «У телефона начальник полиции. Нападавшие арестованы. Президент с нетерпением ждет результатов обследования. Жена президента прислала цветы...» — В темноте послышался тихий смех доктора Мажио. — Даже в самые лучшие времена, — сказал он, — даже при президенте Эстимэ ничего подобного не было. Сны, порожденные нашими желаниями, если верить Фрейду, редко бывают такими прямолинейными.

— Не очень-то марксистский сон, доктор Мажио. Я имею в виду кандидата оппозиции.

— Может, это марксистский сон о далеком-далеком будущем. Когда отомрет государство и останутся только местные органы. И Гаити будет всего лишь одним из избирательных округов.

— Когда я был у вас, меня удивило, что «Das Kapital» открыто стоит на полке. Это не опасно?

— Я уже вам как-то раз говорил, Папа-Док видит тонкое различие между философией и пропагандой. Он не хочет закрывать окно на Восток, пока американцы снова не дадут ему оружие.

— Они никогда этого не сделают.

— Ставлю десять против одного, что в ближайшие месяцы отношения наладятся и американский посол вернется. Вы забываете, Папа-Док — оплот против коммунизма. Здесь не будет Кубы, не будет и залива Кочинос. Есть и другие причины. Политические сторонники Папы-Дока в Вашингтоне одновременно защищают интересы мукомольных предприятий, которые принадлежат американцам (они мелют грубую муку для народа из импортных американских излишков пшеницы — поразительно, сколько денег можно выжать при некоторой изобретательности из самых нищих бедняков). А потом не забудьте и великой аферы с мясом. Бедняки у нас так же не могут позволить себе мяса, как и пирожных, поэтому

они, наверно, ничего не теряют от того, что вся здешняя говядина уходит на американский рынок; импортерам не важно, что она не стандартная, — ведь она идет на консервы для слаборазвитых стран и, конечно, оплачивается за счет американской помощи. Американцы ничуть не страдают, если эта торговля прекратится, зато пострадает тот политикан в Вашингтоне, который получает по центу с каждого фунта экспортированного мяса.

— Вы совсем не верите в будущее?

— Нет, верю, веры терять нельзя, но нашему горю не поможет американская морская пехота. Мы хорошо знакомы с этой пехотой. Пожалуй, я пойду драться за Папу-Дока, если она появится снова. Он по крайней мере гаитянин. Нет, мы должны это сделать своими собственными руками. Мы — гнусный притон, который дрейфует где-то рядом с Флоридой, и ни один американец не поможет нам оружием, деньгами или советом. Несколько лет назад мы испытали на собственной шкуре, чего стоят их советы. Одна из наших групп сопротивления установила связь с каким-то сочувствующим в американском посольстве: ей обещали всяческую поддержку, но сведения об этой группе передали непосредственно в ЦРУ, а из ЦРУ — прямым ходом к Папе-Доку. Можете себе представить судьбу этой группы. Государственный департамент не хочет никаких беспорядков на Карибском побережье.

— А коммунисты?

— Мы организованнее и осмотрительнее других, но, уверяю вас, если мы попытаемся взять власть, морская пехота высадится на острове и Папа-Док останется хозяином положения. Вашингтону кажется, что у нас в стране вполне устойчивое положение, правда, туристам тут не очень нравится, но от туристов все равно одна морока. Иногда они суют нос не туда, куда надо, и пишут письма своим сенаторам. Ваш мистер Смит был, например, очень взволнован расстрелами на кладбище. Между прочим, исчез Хамит.

— Что с ним?

— Надеюсь, что скрылся, но машину его нашли в порту.

— У него много друзей среди американцев.

— Но он не американский гражданин. Он гаитянин. А с гаитянами можно поступать как угодно. Трухильо перебил в самое что ни на есть мирное время двадцать тысяч наших, это были крестьяне, которые пришли в его страну на уборку сахарного тростника, — мужчины, женщины и дети; но разве в Вашингтоне кто-нибудь поднял голос протеста? Трухильо здравствовал после этого еще двадцать лет, жирея на американской помощи.

— На что же вы надеетесь, доктор Мажио?

— На дворцовый переворот (Папа-Док никогда не высовывает носа из дворца, только там его можно настигнуть). А потом, прежде чем толстяк Грасиа укрепит на его месте, народ может расправиться с ними со всеми.

— На партизан вы совсем не надеетесь?

— Бедняги, они не умеют воевать. Лезут, размахивая ружьями, если они у них есть, на укрепления. Может, они и герои, но им надо научиться жить, а не умирать. Разве Филиппо имеет хоть малейшее представление о партизанской войне? А ваш бедный хромой Жозеф? Им нужен опытный человек, и тогда, может быть, через год или два... Мы не трусливее кубинцев, но земля тут у нас неласковая. Мы ведь уничтожили свои леса, так что приходится жить в пещерах и спать на камнях. А еще эти вечные ливни...

И словно в ответ на его безрадостные слова начался потоп. Мы не слышали даже собственных слов. Огни города будто смыло. Я пошел в бар, принес два бокала рома и поставил их между собой и доктором. Мне пришлось взять его руку и поднести к бокалу. Мы сидели молча, пока гроза не утихла.

— Станный вы человек, — сказал наконец доктор Мажио.

— Чем странный?

— Вы слушаете меня, словно я древний бард, который рассказывает предания седой старины. У вас такой равнодушный вид, а вы ведь здесь живете.

— Я гражданин Монако, — сказал я. — Это все равно что никто.

— Если бы ваша мать дожила до наших дней, она не смогла бы остаться равнодушной; она бы, пожалуй, ушла туда, в горы.

— А какая от этого польза? Просто так?

— Пользы никакой. Но она бы пошла все равно.

— Со своим любовником?

— Он, безусловно, не отпустил бы ее одну.

— Может быть, я в отца.

— А кем он был?

— Понятия не имею. Как и моя родина — он безлик.

Дождь стихал: я уже мог различить звуки капель, падавших на деревья, на кусты, на твердый цемент купального бассейна.

— Я принимаю жизнь такой, как она есть, — сказал я. — Как и большинство людей на свете. Живу, пока живется.

— А чего вы ждете от жизни, Браун? Я знаю, как ответила бы ваша мать.

— Как?

— Она посмеялась бы надо мной за то, что я сам не знаю ответа. А чего она хотела? Полноты жизни. Но в это понятие для нее входило почти все. Даже смерть.

Доктор Мажио встал и подошел к краю веранды.

— Мне что-то померещилось. Наверно, ночью на душе всегда тревожно. Я действительно любил вашу мать, Браун.

— А ее любовник... Что вы о нем скажете?

— Она была с ним счастлива. Чего же все-таки хотите вы, Браун?

— Я хочу управлять этой гостиницей, хочу, чтобы она была такой, как раньше, пока не пришел Папа-Док, чтобы Жозеф суетился в баре, девушки купались в бассейне, машины подъезжали к веранде; хочу слышать глупый и веселый гам, звяканье льда в бокалах, смех в кустах, ну и, разумеется, хруст долларовых бумажек.

— Ну, а еще?

— Еще? Наверно, чье-нибудь тело, для любви. Как моя мать.

— А еще?

— Бог его знает. Разве этого мало, чтобы скоротать свой век? Мне уже под шестьдесят.

— Ваша мать была верующей.

— Не очень.

— У меня еще сохранилась вера, хотя бы в непреложность кое-каких экономических законов, а вот вы утратили всякую веру.

— Утратил? Может, у меня ее никогда и не было. Да ведь всякая вера — ограниченность, не правда ли?

Некоторое время мы сидели молча за опустевшими бокалами. Потом доктор Мажио сказал:

— У меня вести от Филипо. Он в горах за Ле-Ке, но думает пробраться на север. С ним двенадцать человек, включая Жозефа. Надеюсь, что хоть остальные не калеки. Двух хромых на отряд вполне достаточно. Он хочет соединиться с партизанами у доминиканской границы, говорят, их там человек тридцать.

— Ну и армия! Сорок два человека.

— У Кастро было двенадцать.

— Но вы же не станете утверждать, что Филипо — второй Кастро.

— Он думает создать учебную базу возле границы. Папа-Док согнал крестьян с земли на десять километров в глубь страны, так что если там и нет надежды получить пополнение, зато тайну соблюсти можно... Ему нужен Джонс.

— Зачем ему Джонс?

— Он очень верит в Джонса.

— Лучше бы он достал пулемет.

— Вначале военная подготовка важнее, чем оружие. Оружие всегда можно взять у мертвых, но сперва надо научиться убивать.

— Откуда вы это знаете, доктор?

— Иногда они вынуждены довериться одному из нас.

— Одному из вас?

— Коммунисту.

— Просто чудо, что вы еще живы.

— Если в стране не будет коммунистов — а большинство из нас числится в черных списках ЦРУ, — Папа-Док перестанет быть оплотом свободного мира. А может, есть и другие причины. Я хороший врач. В один прекрасный день... и он может заболеть...

— Эх, если бы ваш стетоскоп мог убивать.

— Да, я думал об этом. Но, видно, он меня переживет.

— Во французской медицине модны всевозможные свечи и *piques* [инъекции (фр.)].

— Сперва их испробовали бы на ком-нибудь другом. И вы в самом деле думаете, что Джонс... Да он годится только на то, чтобы смешить женщин.

— У него есть опыт войны в Бирме. Японцы воевали лучше тонтон-макутов.

— О да, он хвастает своими подвигами. Я слышал, в посольстве ему просто смотрят в рот. Что ж, он их развлекает в обмен на гостеприимство.

— Вряд ли он хочет просидеть всю жизнь в посольстве.

— Но и умереть на его пороге ему тоже не хочется.

— Всегда можно бежать.

— На риск он не пойдет.

— Рисковал же он — и немалым, — когда пытался надуть Папу-Дока. Не следует его недооценивать только потому, что он хвастун... Кстати, хвастуна легко перехитрить. Можно поймать его на слове.

— Я хочу, чтобы вы меня правильно поняли, доктор Мажио. Я не меньше, чем Филиппо, мечтаю, чтобы он убрался из посольства.

— Но ведь вы сами его туда привели.

— Я себе не представлял...

— Чего?

— Ну, это уже другой разговор... Я бы все отдал...

Кто-то шел по аллее. Подошвы скрипели по мокрым листьям и скорлупе кокосовых орехов. Мы замолчали, застыв в ожидании. В Порт-о-Пренсе никто не гуляет по ночам. Носит ли доктор Мажио с собой револьвер? На него это непохоже. Кто-то остановился под деревьями у поворота аллеи. Послышался голос:

— Мистер Браун!

— Да?

— Вы мне не посветите?

— Кто там?

— Пьер Малыш.

Вдруг я почувствовал, что доктор Мажио исчез. Удивительно, до чего бесшумно умел двигаться этот могучий человек.

— Сейчас посвечу, — крикнул я. — Тут никого нет.

Ощупью я снова направился в бар. Я знал, где найти фонарик. Когда я его зажег, я увидел, что дверь на кухню открыта. Я взял лампу и вернулся на веранду. Пьер Малыш поднялся по ступенькам мне навстречу. Я уже несколько недель не видел его плутоватой мордочки. Куртка у него промокла насквозь, и он повесил ее на спинку стула. Я налил бокал рома и стал ждать объяснений — он редко появлялся после захода солнца.

— У меня сломалась машина, — сказал он, — я переждал, пока не утих дождь. Сегодня что-то долго не включают свет.

Я спросил по привычке — в Порт-о-Пренсе это было постоянной темой светской беседы:

— Вас обыскали на заставе?

— В такой ливень не обыскивают, — сказал он. — В дождь нет никаких застав. Нельзя требовать от милиционера, чтобы он работал во время грозы.

— Давно я вас не видел, Пьер Малыш.

— Я был очень занят.

— Неужели так много новостей для светской хроники?

В темноте послышалось хихиканье.

— Что-нибудь всегда найдется. Мистер Браун, сегодня большой день в моей жизни.

— Неужели вы женились?

— Нет, нет, нет. Гадайте дальше.

— Получили наследство?

— Наследство в Порт-о-Пренсе? Что вы! Мистер Браун, я приобрел радиолу.

— Поздравляю. Она работает?

— Не знаю, я еще не купил пластинок. Заказал Хамиту пластинки. Жюльетт Греко, Франсуазу Арди, Джонни Холлидея...

— Я слышал, мы потеряли Хамита.

— Как? Что случилось?

— Он исчез.

— Первый раз в жизни, — сказал Пьер Малыш, — вы меня обскакали. Кто вам сообщил эту новость?

— Я не выдаю своих источников.

— Он слишком часто посещал иностранные посольства, Это было неблагоразумно.

Вдруг зажглось электричество, и впервые я застиг Пьера Малыша врасплох — в мрачном унынье, в тревоге, но на свету он сразу собой овладел и сказал с обычной веселостью:

— Значит, придется подождать с пластинками.

— У меня в кабинете есть пластинки, я могу их вам пока дать. Я держал их для приезжих.

— Вечером я был в аэропорту, — сказал Пьер Малыш.

— Кто-нибудь прилетел?

— Как ни странно, да. Вот уж кого не ожидал видеть. Люди иногда остаются в Майами дольше, чем собирались, а он так давно отсутствует, ну, а тут все эти неприятности...

— О ком это вы?

— О капитане Конкассере.

Я понял, почему Пьер Малыш нанес мне дружеский визит, — уж, конечно, не для того, чтобы сообщить о покупке радиолы. Он хотел меня предостеречь.

— Разве у него были неприятности?

— Каждому, кто имеет отношение к майору Джонсу, грозят неприятности, — сказал Пьер Малыш. — Капитан Конкассер страшно зол. В Майами его очень оскорбили. Говорят, он просидел две ночи в полицейском участке. Подумать только! Сам капитан Конкассер! Теперь он хочет себя реабилитировать.

— Как?

— Захватить майора Джонса.

— В посольстве Джонс в безопасности.

— Ему лучше оставаться там как можно дольше. И не полагаться ни на какие охранные грамоты. Но кто знает, как отнесется к нему новый посол?

— Какой новый посол?

— Ходят слухи, будто президент заявил правительству сеньора Пинеда, что тот больше не является *persona grata*. Конечно, может, и врут. Разрешите посмотреть ваши пластинки? Дождь прошел, мне пора.

— Где вы оставили машину?

— На обочине, не доезжая заставы.

— Я отвезу вас домой, — сказал я.

Я вывел свою машину из гаража. Включив фары, я увидел доктора Мажио — он терпеливо сидел в своей машине. Мы оба не проронили ни слова.

Высадив Пьера Малыша у лачуги, которую он называл своим домом, я поехал в посольство. Часовой остановил мою машину и заглянул внутрь, прежде чем пропустить меня в ворота. Я позвонил, услышал лай собаки в холле и голос Джонса — он прикрикнул на нее хозяйским тоном:

— Тихо, Мошка, тихо!

Они были одни в этот вечер — посол. Марта и Джонс, — в тесном семейном кругу. Пинеда и Джонс играли в рамс — Джонс, разумеется, выигрывал, а Марта в кресле шила. Я никогда еще не видел ее с иголкой в руках; Джонс явно привнес с собой в дом какой-то уют. Мошка сидела у его ног, словно он был ее хозяином, а Пинеда поднял на меня обиженный неприветливый взгляд и сказал:

— Вы уж нас извините, мы сейчас кончим эту *partie* [партию (фр.)].

— Пойдемте, поздоровайтесь с Анхелом, — сказала Марта.

Мы пошли с ней наверх, и на полпути я услышал, как Джонс говорит: «*J'arrete a deux*» [останавливаюсь на двух (фр.)]. На площадке мы свернули налево, в комнату, где мы в тот раз поссорились, и она весело и непринужденно поцеловала меня. Я передал ей то, что мне сообщил Пьер Малыш.

— Нет, нет, — сказала она, — это неправда. Не может быть. — А потом добавила: — Луис последние дни чем-то расстроен...

— Ну, а если все-таки правда!..

— И новому послу придется держать у себя Джонса. Не может ведь он его выгнать!

— При чем тут Джонс? Я думал о нас с тобой.

Интересно, может ли женщина спать с мужчиной и по-прежнему называть его по фамилии?

Она опустилась на кровать и с таким изумлением уставилась в стену, словно та внезапно на нее надвинулась.

— Не верю, что это правда, — сказала она. — Не могу поверить.

— Когда-нибудь это должно было случиться.

— Я всегда думала... когда Анхел подрастет и сумеет понять...

— А сколько лет будет тогда мне?

— Значит, ты тоже об этом думал, — произнесла она укоризненно.

— Да, думал, и не раз. Вот почему я и пытался продать в Нью-Йорке гостиницу. Я хотел иметь деньги, чтобы поехать за тобой, куда бы вас ни послали. Но теперь никто уж ее не купит.

— Милый, — сказала она, — мы-то как-нибудь выкрутимся... А вот Джонс... для него это вопрос жизни и смерти.

— Будь мы помоложе, и для нас это был бы вопрос жизни и смерти. Но теперь... «люди время от времени умирали, и черви ели их, но все это делалось не от любви» [У.Шекспир, «Как вам это понравится»].

Джонс крикнул снизу:

— Игра окончена!

Голос его ворвался в комнату, как непрошенный гость.

— Надо идти к ним, — сказала Марта. — Не говори ничего, пока мы толком не узнаем.

Пинеда сидел со своей противной собакой на коленях и гладил ее; она равнодушно принимала его ласку, словно он ей уже опостылел, и с идиотской преданностью смотрела на Джонса, который сидел за столом и подсчитывал очки.

— Я выиграл уже тысячу двести, — сказал он. — Утром пошлю к Хамиту купить печенье для Анхела.

— Вы его балуете, — сказала Марта. — Купите что-нибудь себе. На память о нас.

— Как будто я могу вас забыть, — сказал Джонс и посмотрел на нее так же, как на него смотрела собака с колен Пинеды — печальным, подернутым слезой и в то же время чуть-чуть неискренним взглядом.

— Ваша служба информации подкачала, — сказал я. — Хамит исчез.

— Я ничего об этом не знал, — сказал Пинеда. — Почему?

— Пьер Малыш считает, что у него слишком много друзей среди иностранцев.

— Ты должен что-то сделать, Луис, — сказала Марта. — Хамит оказывал нам столько услуг.

Я вспомнил одну из них — маленькую комнату с медной кроватью, лиловым покрывалом и жесткими восточными стульями, выстроенными у стены. В те дни нам жилось беззаботнее, чем когда бы то ни было.

— Что я могу сделать? — сказал Пинеда. — Министр внутренних дел примет у меня парочку сигар и вежливо сообщит, что Хамит — гаитянский гражданин.

— Будь у меня моя рота, — заявил Джонс, — я прочесал бы весь полицейский участок, пока не нашел бы Хамита.

Я и мечтать не мог, что он так легко попадется; Мажио сказал: «Хвастуна легко поймать на слове». Джонс при этом взглянул на Марту с выражением юнца, который напрашивается на похвалу, и я сразу представил себе семейные вечера, когда он развлекал их рассказами о Бирме. Юнцом его уже, правда, нельзя назвать, но все-таки он моложе меня лет на десять.

— Там много полицейских, — сказал я.

— Дайте мне пятьдесят обученных мною солдат, и я захвачу всю страну. Японцев было куда больше нас, и они умели воевать.

Марта направилась к двери, но я ее остановил:

— Пожалуйста, не уходите.

Она была мне нужна как свидетельница. Она вернулась, и Джонс, ничего не подозревая, продолжал:

— Конечно, сперва они заставили нас драпануть в Малайе. Мы тогда и понятия не имели о партизанской войне, но потом освоили эту науку.

— Уингейт... — подзадорил я его, боясь, как бы поток хвастовства не иссяк раньше времени.

— Он был из лучших, но я мог бы назвать и другие имена. Да я и сам выкидывал фортели, за которые краснеть не приходится.

— Вы ведь чувствуете воду издалека, — напомнил я.

— Ну, этому мне учиться не пришлось, — сказал он. — Это у меня врожденное. Знаете, еще в детстве...

— Какая трагедия, что вы тут заперты в четырех стенах, — прервал я. Детские воспоминания могли увести нас слишком далеко. — Здесь в горах есть люди, которым так не хватает военных знаний. Правда, там Филипо.

Наш дуэт разыгрывался, как по нотам.

— Филипо! — воскликнул Джонс. — Да он же сопляк! Знаете, он ведь приходил ко мне. Просил, чтобы я обучал их военному делу... Он мне предлагал...

— И вы не соблазнились?.. — спросил я.

— Конечно, это было заманчиво. Как вспомнишь славные боевые деньки в Бирме... Словом, вы меня понимаете. Но тогда, старик, я ведь был на государственной службе. Я их в то время еще не раскусил. Может, я и наивен, но я требую от людей только одного — прямоты... Словом, я им верил... Знал бы я тогда то, что знаю сейчас.

Интересно, как он объяснил свое бегство Марте и Пинеде. Очевидно, сильно приукрасил историю, которую рассказал мне в ту ночь.

— Как обидно, что вы не пошли тогда с Филипо, — сказал я.

— Обидно для нас обоих, старик. Я вовсе не хочу умалять достоинств Филипо. Он человек храбрый. Но будь у меня возможность, я бы из него сделал первоклассного партизанского командира. Налет на полицейский участок — чистая самодеятельность. Он дал удрать большинству полицейских, да и оружия захватил всего...

— А если бы сейчас появилась возможность?..

Даже неопытная мышь и та не кинулась бы так опрометчиво на запах сыра.

— Ну, сейчас меня не надо было бы уговаривать, — сказал он.

— Если бы мне удалось устроить вам побег... чтобы вы присоединились к Филипо?

Он почти не колебался — ведь на него смотрели глаза Марты.

— Только скажите как, старик, — сказал он. — Только скажите мне, как!

Мошка прыгнула к нему на колени и облизала все его лицо от носа до подбородка, словно надолго прощалась со своим героем; Джонс отпустил какую-то плоскую шутку — он и не подозревал, что ловушка захлопнулась, — и рассмешил Марту, а я утешал себя тем, что дни их веселья сочтены.

— Будьте наготове, — предупредил я его.

— Я путешествую налегке, старик, — сказал Джонс, — а теперь даже без погребца.

Он мог себе позволить это упоминание, так он был во мне уверен...

Доктор Мажио сидел у меня в кабинете, не зажигая света, хотя электричество давно включили.

— Мне удалось поймать его на удочку. Без всякого труда, — сказал я.

— Какой у вас торжествующий тон, — заметил доктор Мажио. — Но что это в конце концов даст? Один человек войны не выиграет.

— У меня свои причины радоваться.

Доктор Мажио разложил на моем письменном столе карту, и мы подробно проследили дорогу на юг в Ле-Ке. Так как я должен буду вернуться один, надо создать впечатление, что у меня нет попутчика.

— А если они обыщут машину?

— Это мы еще обсудим.

Мне придется достать пропуск и придумать повод для поездки.

— Берите пропуск на понедельник, 12, — посоветовал доктор Мажио: ему понадобится несколько дней, чтобы связаться с Филипо, так что раньше 12 нечего трогаться с места. — Луны тогда почти не будет, и это вам на руку. Вы высадите его вот здесь, у кладбища, не доезжая Акена, и поедете дальше в Ле-Ке.

— Если тонтон-макуты обнаружат его раньше, чем подойдет Филипо...

— Вы не доберетесь туда до полуночи, а в темноте никто на кладбище не ходит. Но если его найдут, вам несдобровать, — сказал Мажио. — Они развяжут ему язык.

— Все равно, другого выхода нет...

— Мне ни за что не дадут пропуска на выезд из Порт-о-Пренса, а то я бы предложил...

— Не беспокойтесь. У меня свои счета с Конкассером.

— У всех у нас они есть. Но зато в одном мы можем быть уверены...

— В чем?

— В погоде.

В Ле-Ке помещались католическая миссия и больница. Я сочинил целую историю, будто обещал привезти туда пачку религиозной литературы и пакет с лекарствами, но оказалось, что я зря старался: полицию заботил лишь собственный престиж. Пропуск в Ле-Ке обошелся мне в несколько часов ожидания душным, жарким, как пекло, днем в комнате, где воняло зверинцем, а на стенах висели фотографии мертвых мятежников. Дверь кабинета, где мы с мистером Смитом впервые увидели Конкассера, была закрыта. Может, он уже впал в немилость и кто-то свел с ним счеты вместо меня.

Около часу дня меня вызвали, и я подошел к столу, где сидел полицейский. Он начал заполнять бесчисленные графы с вопросами обо мне и моей машине — начиная от моего рождения в Монте-Карло и кончая цветом моего автомобиля. Какой-то сержант подошел и заглянул ему через плечо.

— Вы с ума сошли, — сказал он.

— Почему?

— До Ле-Ке можно добраться только на вездеходе.

— Но ведь это Главное южное шоссе... — сказал я.

— Сто семьдесят километров непролазной грязи и ухабов. Даже вездеход пройдет их не меньше чем за восемь часов.

В тот же день ко мне пришла Марта. Когда мы лежали рядом, отдыхая, она сказала:

— Джонс отнесся к твоим словам серьезно.

— Я этого и хотел.

— Ты ведь знаешь, что вас задержат на первой же заставе.

— Неужели ты так волнуешься за Джонса?

— Какой ты дурак, — сказала она. — Наверно, если бы я от тебя уезжала, ты и тогда испортил бы нам последние минуты.

— А ты уезжаешь?

— Когда-нибудь уеду, конечно. А как же иначе? Всегда куда-нибудь уезжаешь.

— Ты меня заранее предупредишь?

— Не знаю. Может, не хватит духу.

— Я поеду за тобой.

— Да ну? Какая свита! Приехать в новую столицу с мужем, Анхелом, а вдобавок еще и с любовником.

— Зато Джонса тебе придется оставить здесь.

— Как знать? Может, нам удастся вывезти его контрабандой в дипломатическом багаже. Луису он нравится больше, чем ты. Луис говорит, что он честнее.

— Честнее? Джонс?

Я натянуто засмеялся, после наших объятий у меня пересохло в горле.

Как это часто бывало, пока мы говорили о Джонсе, спустились сумерки; нас больше не тянуло друг к другу: эта тема действовала на нас расхолаживающе.

— Мне кажется странным, — сказал я, — что он так легко приобретает друзей. Луис, ты. Даже мистеру Смиуту он нравился. Может, жулики всегда привлекают людей порядочных, а грешники — чистых душой, все равно как блондинки — брюнетов.

— А я, по-твоему, чистая душа?

— Да.

— И тем не менее ты думаешь, что я сплю с Джонсом.

— Чистота души этому не помеха.

— А ты действительно поедешь за мной, если нам придется уехать?

— Конечно. Если достану денег. Когда-то у меня была гостиница. Теперь у меня только ты. Ты на самом деле уезжаешь? Не смей от меня ничего скрывать.

— Я ничего не скрываю. Но Луис, может, и скрывает.

— Разве он не говорит тебе все?

— А что, если он больше боится причинить мне горе, чем ты? Нежность — она... нежнее...

— Он часто с тобой спит?

— Ты, кажется, считаешь меня ненасытной? Ну да, мне нужны и ты, и Луис, и Джонс, — сказала она, но так и не ответила на мой вопрос.

Пальмы и бугенвилея уже почернели. Пошел дождь, он падал отдельными каплями, тяжелыми, как брызги нефти. В промежутке стояла знойная тишина, а потом ударила молния и по горе с грохотом прокатился гром. Ливень стеной вбивался в землю.

— Вот в один из таких безлунных вечеров я и заеду за Джонсом, — сказал я.

— Как ты провезешь его через заставы?

Я повторил слова Пьера Малыша:

— В грозу застав не бывает.

— Но они же станут тебя подозревать, когда узнают...

— Я надеюсь, вы с Луисом не допустите, чтобы они узнали. Придется вам последить, чтобы Анхел, да и собака держали язык за зубами. Не давайте ей бегать по дому и скулить по пропавшему Джонсу.

— А тебе не страшно?

— Мне только жаль, что у меня нет вездехода.

— Зачем ты это делаешь?

— Мне не нравится капитан Конкассер и его тонтон-макуты. Мне не нравится Папа-Док. Мне не нравится, когда меня хватают за ляжки на улице, чтобы проверить, нет ли у меня револьвера. И этот труп в купальном бассейне... у меня с этим бассейном связаны другие воспоминания. Они пытали Жозефа. Они разорили мою гостиницу.

— Но чем им поможет Джонс, если он обманщик?

— А вдруг нет? Филипо в него верит. Может, он и правда воевал с японцами.

— Если он обманщик, он бы не захотел поехать, верно?

— Он слишком заврался при тебе.

— Не так уж много я для него значу.

— А что для него значит больше? Он когда-нибудь рассказывал тебе о гольф-клубе?

— Да, но ради этого не станешь рисковать жизнью. А он хочет ехать.

— Ты этому веришь?

— Он попросил меня одолжить ему погребец. Говорит, это его талисман. Он провез его с собой через всю Бирму. Обещал вернуть, как только партизаны войдут в Порт-о-Пренс.

— Да он и правда мечтатель, — сказал я. — А может, и он тоже — чистая душа.

— Не сердись, что я сегодня уйду пораньше, — взмолилась она. — Я пообещала сыграть с ним в рамс, пока Анхел не придет из школы. Он такой милый с Анхелом. Они играют в партизан, он учит его дзю-до. Может, он теперь долго не возьмет в руки карты. Ты меня понимаешь, да? Мне просто хочется быть с ним поласковее.

Когда она ушла, я не рассердился, но почувствовал внезапную усталость, и больше всего от себя. Неужели я не способен доверять людям? Но когда я налил себе виски и прислушался к тому, как весь мир вокруг погрузился в тишину, меня охватила злоба; злоба была противоядием от страха. Чего ради я должен доверять немке, дочери висельника?

Несколько дней спустя я получил письмо от мистера Смита — оно шло из Санто-Доминго больше недели. «Мы остановились тут на несколько дней, — писал он, — чтобы осмотреть город и могилу Колумба, и как вы думаете, кого мы встретили?» Я мог ответить на этот вопрос, даже не перевернув страницы. Конечно, мистера Фернандеса. Он случайно оказался в аэропорту, когда они приземлились. (Интересно, не требует ли профессия Фернандеса, чтобы он дежурил на аэродроме вместе с каретой скорой помощи?) Мистер Фернандес показал им так много интересного, что они решили задержаться подольше. Судя

по всему, словарный запас мистера Фернандеса обогатился. На «Медее» он переживал большое горе, вот почему он так разнервничался на концерте; его мать была серьезно больна, но теперь она поправилась. Рак оказался просто фибромой, а миссис Смит убедила ее перейти на вегетарианскую диету. Мистер Фернандес даже считает, что есть кое-какие возможности организовать в Доминиканской Республике вегетарианский центр. «Должен признать, — писал мистер Смит, — что обстановка здесь спокойнее, хотя кругом большая нищета. Миссис Смит встретила приятельницу из Висконсина». Он посылал самый сердечный привет майору Джонсу и благодарил меня за помощь и за гостеприимство. Этот старик был на редкость воспитанным человеком, и я вдруг почувствовал, что я по нему скучаю. В школьной часовне в Монте-Карло мы молились по воскресеньям — «*Dona nobis pacem*» [«Ниспошли нам покой» (лат.)], но я сомневаюсь, что просьба эта исполнилась для многих из нас. Мистеру Смиту незачем было молиться о покое. Он родился с покоем в душе, а не со льдинкой вместо сердца. В этот день тело Хамита было найдено в сточной канаве на окраине Порт-о-Пренса.

Я поехал к матушке Катрин (а почему бы и нет, если Марта сидит дома с Джонсом), но в этот вечер ни одна из девушек не решилась выйти из дому. Весть о смерти Хамита, наверно, уже облетела весь город, и девушки боялись, что одного трупа будет мало для пиршества Барона Субботы. Мадам Филипо с сыном присоединились к беженцам в венесуэльском посольстве, и повсюду царило смятение. (Проезжая мимо посольства Марты, я заметил у ворот двух часовых.) На заставе, не доезжая гостиницы, меня остановили и обыскали, хотя дождь уже начался. Я подумал, уж не объясняется ли эта суматоха возвращением Конкассера — ему ведь надо доказать свое рвение.

В «Трианоне» меня ждал слуга доктора Мажио — доктор приглашал меня пообедать. Время обеда давно прошло, и мы тут же поехали к доктору под раскаты грома. На этот раз нас не задержали — дождь лил как из ведра, и милиционер притаился в своем укрытии из старых мешков. На аллее текло с норфолькской сосны, как сквозь дырявый зонтик; доктор Мажио ожидал меня в старомодной гостиной, поставив на стол графин портвейна.

— Вы слышали о Хамите? — спросил я.

Оба бокала стояли на маленьких расшитых бисером салфетках с цветочным узором, чтобы не испортить столик из папье-маше.

— Да, жаль его.

— Что они против него имели?

— Он был одним из связных Филипо. И никого не выдал.

— А вы тоже связной?

Он разлил портвейн. Я не люблю пить портвейн перед обедом, но в этот вечер выпил охотно; мне было все равно что, лишь бы пить. Доктор Мажио не ответил на мой вопрос, и я задал ему другой:

— Откуда вы знаете, что он никого не выдал?

Ответ доктора Мажио был достаточно веским:

— Как видите, я еще здесь.

Старая мадам Ферри — она присматривала за домом и стряпала — заглянула в дверь и напомнила, что обед готов. На ней было черное платье и белая накладка. Обстановка, в которой жил этот марксист, могла показаться странной, но я вспомнил, что когда-то слышал о кружевных занавесках и горках для фарфора, украшавших первые реактивные самолеты Ильюшина. Как и эта старушка, они придавали всему надежность, внушали веру в незыблемость бытия.

Нам подали отличный бифштекс, картофель со сметаной, чуть приправленный чесноком, и бордо, лучше которого вряд ли найдешь так далеко от его родины. Доктор Мажио был сегодня неразговорчив, но его молчание было так же величественно, как и его речь. Когда он спрашивал: «Еще бокал?» — эта фраза напоминала краткую эпитафию. После

обеда он мне сообщил:

— Американский посол возвращается.

— Вы уверены?

— И с Доминиканской Республикой скоро начнут дружественные переговоры. Нас снова предали.

Старушка принесла кофе, и он умолк. Лицо его было скрыто от меня стеклянным колпаком, прикрывавшим сложное сооружение из восковых цветов. Мне все казалось, что после обеда мы присоединимся к другим членам Броунинговского общества для обсуждения «Португальских сонетов». Как далеко отсюда лежал Хамит в своей канаве.

— У меня есть кюрасо или, если вы предпочитаете, немного бенедиктина.

— Пожалуй, кюрасо.

— Кюрасо, мадам Ферри.

И снова воцарилось молчание, прерываемое лишь раскатами грома за окном. Я недоумевал, зачем он меня вызвал, но, лишь после того как мадам Ферри снова пришла и ушла, я узнал это:

— Я получил ответ от Филипо.

— Хорошо, что ответ пришел вам, а не Хамиту.

— Он сообщает, что будет в назначенном месте три ночи подряд на будущей неделе.

Начиная с понедельника.

— На кладбище?

— Да. В эти ночи луны почти не будет.

— А вдруг не будет и грозы?

— Вы когда-нибудь видели, чтобы в это время года три ночи кряду не было грозы?

— Нет. Но мой пропуск действителен только на один день. Понедельник.

— Это пустяки. Мало кто из полицейских умеет читать. Высадив Джонса, поезжайте дальше. Если что-нибудь сорвется и вас возьмут на подозрение, я постараюсь предупредить вас в Ле-Ке. Оттуда вы, может, сумеете бежать на рыбацкой лодке.

— Дай бог, чтобы ничего не сорвалось. Я вовсе не хочу бежать. Вся моя жизнь здесь.

— Вам надо проехать Пти-Гоав, пока идет гроза, не то там непременно обыщут машину.

После Пти-Гоав можете спокойно ехать до Акена, а там вы уже будете одни.

— До чего обидно, что у меня нет вездехода.

— Да, обидно.

— А как насчет часовых у посольства?

— О них не беспокойтесь. Во время грозы они пойдут пить ром в кухню.

— Надо предупредить Джонса, чтобы он был готов. Боюсь, как бы он не пошел на попятный.

Доктор Мажио сказал:

— Вы не должны ходить в посольство до самого отъезда. Я зайду туда завтра — лечить Джонса. Свинка в его возрасте — опасная болезнь: может вызвать неспособность к деторождению и даже половое бессилие. Такой долгий инкубационный период после болезни ребенка вызвал бы подозрение у врача, но слуги этого не поймут. Мы его изолируем, обеспечим ему полный покой. Вы вернетесь из Ле-Ке задолго до того, как узнают о его побеге.

— А вы, доктор?

— Я лечил его, пока в этом была необходимость. Этот период — ваше алиби. А моя машина не выедет из Порт-о-Пренса — вот мое алиби.

— Надеюсь, что он хоть стоит того, на что мы идем.

— Поверьте, я тоже на это надеюсь. Надеюсь от души.

На следующий день Марта сообщила запиской, что Джонс заболел и доктор Мажио опасается осложнений. Она сама ухаживает за больным и не может отлучиться из посольства. Это была записка, предназначенная для посторонних глаз, записка, которую следовало положить на видное место, и все-таки у меня сжалось сердце. Ведь могла же она незаметно намекнуть, хотя бы между строк, что любит меня. Опасности подвергался не только Джонс, но и я, однако обществом ее в те последние дни наслаждался он. Я представлял себе, как Марта сидит у него на кровати и он ее смешит, как смешил когда-то Тин-Тин в стойле матушки Катрин. Суббота пришла и прошла, потом наступило нескончаемое воскресенье. Мне не терпелось как можно скорее со всем этим развязаться.

В воскресенье днем, когда я читал на веранде, к гостинице подъехал капитан Конкассер — я позавидовал, что у него есть вездеход. Шофер с большим животом и полным ртом золотых зубов — тот, что раньше обслуживал Джонса, — сидел рядом с Конкассером, оскалившись, как обезьяна в зоологическом саду. Конкассер не вышел из машины; оба они уставились на меня сквозь черные очки, а я, в свою очередь, уставился на них, но у них было преимущество — мне не видно было, как они моргают.

После долгого молчания Конкассер произнес:

— Я слышал, будто вы едете в Ле-Ке.

— Да.

— Когда?

— Надеюсь, завтра.

— Ваш пропуск выдан на краткий срок.

— Знаю.

— День туда, день назад и одна ночь в Ле-Ке.

— Знаю.

— У вас должно быть важное дело, если вы решились на такую утомительную поездку.

— Я сообщил, какое у меня дело. В полицейском участке.

— В горах под Ле-Ке прячется Филипо. Там же и ваш слуга Жозеф.

— Вы осведомлены лучше меня. Впрочем, это ваша профессия.

— Сейчас вы живете один?

— Да.

— Ни кандидата в президенты. Ни мадам Смит. Даже британский поверенный в делах и тот в отпуску. Вы отрезаны от всего. Вам бывает страшно по ночам?

— Ко всему привыкаешь.

— Мы будем следить за вами всю дорогу, отмечать ваш проезд через каждый пост. Вам придется отчитаться, как вы провели время. — Он сказал что-то своему шоферу, и тот рассмеялся.

— Я сказал ему, что он или я учиним вам допрос, если вы задержитесь.

— Такой же допрос, как Жозефу?

— Да. Точно такой же. Как поживает майор Джонс?

— Довольно плохо. Заразился свинкой от сына посла.

— Поговаривают, что скоро приедет новый посол. Нельзя злоупотреблять правом убежища. Майору Джонсу надо посоветовать перебраться в британское посольство.

— Сказать ему, что вы дадите охранную грамоту?

— Да.

— Я передам, когда он поправится. Не помню, болел я свинкой или нет, а я не хочу заразиться.

— Давайте не будем ссориться, мсье Браун. Я ведь уверен, что вы любите майора Джонса не больше моего.

— Может, вы и правы. Во всяком случае, я ему передам то, что вы сказали.

Конкассер дал задний ход, заехав прямо в куст бугенвилеи и ломая ветки с таким же

сладострастием, с каким ломал руки и ноги, развернулся и уехал. Его посещение было единственным событием, нарушившим однообразие этого долгого воскресенья. На сей раз свет был выключен в точно установленное время, и ливень низвергся со склонов Кенскоффа, словно его запустили по секундомеру; я пробовал читать рассказы Генри Джеймса в дешевом издании, которое когда-то оставил один из постояльцев, — хотел забыть, что завтра понедельник, но мне это не удавалось. «Бурный водоворот наших страшных дней», — писал Джеймс, и я не мог сообразить, что за случайный перебой в мирном течении долгой викторианской эпохи мог его так перепугать. Наверно, заявил об уходе дворецкий? Все мои жизненные расчеты теперь были связаны с этой гостиницей, она мне давала уверенность в завтрашнем дне, куда более надежную, чем бог, чьим служителем, по мнению отцов св. Пришествия, я должен был стать; в свое время я тут добился гораздо большего успеха, чем с моей бродячей картинной галереей и ее поддельными холстами; в известном смысле гостиница была и фамильным склепом. Я отложил Генри Джеймса, взял лампу и поднялся наверх. Если мне не повезет, подумал я, может статься, что это моя последняя ночь в гостинице «Трианон».

Большинство картин на лестнице было продано или возвращено владельцам. Вскоре после приезда в Гаити у моей матери хватило ума купить одну из картин Ипполита, и я берег ее и в хорошие и в плохие времена как своего рода страховку, несмотря на самые выгодные предложения американцев. Оставался у меня и один Бенуа, изображавший большой ураган «Хэйзел» 1954 года: разлив серой реки, которая несла самые невероятные предметы, —дохлую свинью брюхом кверху, стул, лошадиную голову и расписанную цветами кровать; солдат и священник молились на берегу, а буря клонила деревья в одну сторону. На нижней площадке висела картина Филиппа Огюста, изображавшая карнавальное шествие: мужчин, женщин и детей в ярких масках. По утрам, когда солнце светило в окна первого этажа, резкие краски веселили глаз и казалось, барабанщики и трубачи наигрывают удалой мотив. Только подойдя поближе, можно было разглядеть, что маски уродливы и что люди в масках теснятся вокруг мертвеца в саване; тогда грубые краски блекли, словно тучи спускались с Кенскоффа и предвещали грозу. Где бы ни висела эта картина, подумал я, мне всегда будет казаться, что я в Гаити и Барон Суббота бродит по соседнему кладбищу, пусть оно даже и находится в Тутинг-Бек [район Большого Лондона].

Сперва я поднялся в номер-люкс «Джон Барримор». Выглянув в окно, я ничего не увидел: город был погружен в темноту, за исключением грозди огней во дворце и ряда фонарей на набережной. Я заметил, что возле кровати мистер Смит оставил справочник вегетарианца. Сколько их, подумал я, он возит с собой для раздачи? Раскрыв справочник, я нашел на первой странице обращение, написанное его четким косым американским почерком: «дорогой незнакомый читатель, не закрывай этой книги, прочитай хоть немного перед сном. Ты найдешь здесь мудрость. Твой неизвестный друг». Я позавидовал его уверенности, да и чистоте намерений тоже» Прописные буквы были такими же, как и в массовом издании Библии.

Этажом ниже помещалась комната моей матери (теперь в ней спал я), а среди запертых номеров, уже давно не видевших постояльцев, — комната Марселя и та, в которой я провел свою первую ночь в Порт-о-Пренсе. Я вспомнил настойчивый звонок, высокую черную фигуру в алой пижаме с монограммой на кармашке и то, как он сказал печально и виновато: «Она меня зовет».

Я заглянул в обе комнаты: там не осталось ничего от того далекого прошлого. Я сменил мебель, перекрасил стены, даже передвинул их, чтобы пристроить ванны. Толстый слой пыли покрывал биде, и из кранов больше не текла горячая вода. Я отправился к себе и сел на большую кровать, на которой прежде спала мать. Сколько лет прошло, а мне казалось, что на подушке я найду ее неправдоподобно золотой, под Тициана, волосок. Но ничто от нее не уцелело, кроме того, что я сам сохранил на память. На столике рядом с кроватью стояла

шкатулка из папье-маше, где мать держала свои сомнительные драгоценности. Я их продал Хамиту за бесценок, и в шкатулке лежала только загадочная медаль Сопротивления и открытка с руинами замка — единственное ее послание ко мне. «Рада буду тебя видеть, если заглянешь в наши края». С подписью, которую я сперва принял за Манон, и фамилией, которую она так и не успела объяснить. «Графиня де Ласко-Вилье». В шкатулке хранилось и другое послание, написанное ее рукой, но не мне. Я нашел его в кармане у Марселя, когда перерезал веревку. Не знаю, почему я его сохранил и несколько раз перечитывал, ведь оно только усиливало ощущение моего сиротства. «Марсель, я знаю, что я старуха и, как ты говоришь, немножко актерствую. Но пожалуйста, продолжай притворяться. В притворстве наше спасение. Притворяйся, будто я люблю тебя, как любовница. Притворяйся, что ты любишь меня, как любовник. Притворяйся, будто я готова умереть ради тебя, а ты ради меня». Я снова перечитал записку; она показалась мне трогательной... А он ведь все-таки умер из-за нее, так что, видно, и Марсель вовсе не был comedien [комедиант (фр.)]. Смерть — лучшее доказательство искренности.

Марта встретила меня со стаканом виски в руке. На ней было золотистое полотняное платье, обнажавшее плечи.

— Луиса нет дома, — сказала она. — Я хотела отнести Джонсу виски.

— Я сам ему отнесу, — сказал я. — Ему оно понадобится.

— Неужели ты приехал за ним? — спросила она.

— Ты угадала, за ним. Дождь еще только начинается.

Нам придется подождать, пока не попрячутся часовые.

— Какой от него будет толк? Там, в горах?

— Большой, если он не врет. На Кубе достаточно было одному человеку...

— Сколько раз я это слышала. Повторяете, как попки. Меня тошнит от этих разговоров. Здесь не Куба.

— Нам с тобой без него будет легче.

— Ты только об этом и думаешь?

— Да. Вероятно.

У нее был маленький синячок чуть пониже ключицы. Стараясь говорить шутливым тоном, я спросил:

— Что это ты с собой наделала?

— Ты о чем?

— Вот об этом синяке. — Я дотронулся до него пальцем.

— Ах это? Не знаю. У меня такая кожа, чуть что — синяк.

— От игры в рамс?

Она поставила стакан и повернулась ко мне спиной.

— Выпей и ты, — сказала она. — Тебе это тоже не помешает.

Я налил себе виски:

— Если выеду из Ле-Ке на рассвете, я вернусь в среду около часа. Ты приедешь в гостиницу? Анхел будет еще в школе.

— Может быть. Давай не будем загадывать.

— Мы не виделись уже несколько дней, — добавил я. — И тебе больше не надо будет спешить домой играть с ним в рамс.

Она повернулась ко мне, и я увидел, что она плачет.

— В чем дело? — спросил я.

— Я же тебе говорила. У меня такая кожа.

— А что я сказал?

Страх оказывает странное действие: он повышает содержание адреналина в крови; вызывает недержание мочи; во мне он возбудил желание причинять боль. Я спросил:

— Ты, кажется, огорчена, что теряешь Джонса?

— А как же мне не огорчаться? — ответила она. — По-твоему, ты страдаешь от одиночества там, в «Трианоне». Ну а я одинока здесь. Одинока с Луисом, когда мы молчим с ним в двуспальной кровати. Одинока с Анхелом, когда он возвращается из школы и я делаю за него бесконечные задачки. Да, с Джонсом мне было весело — слушать, как люди смеются над его плоскими шутками, играть с ним в рамс. Да, я буду по нему скучать. Скучать до остервенения. Ох, как я буду по нему скучать!

— Больше, чем скучала по мне, когда я уезжал в Нью-Йорк?

— Ты же хотел вернуться. По крайней мере ты так говорил. Теперь я не уверена, что ты этого хотел.

Я взял два стакана виски и поднялся наверх. На площадке я сообразил, что не знаю, где комната Джонса. Я позвал тихонько, чтобы не услышали слуги:

— Джонс! Джонс!

— Я здесь.

Я толкнул дверь и вошел. Он сидел на кровати совершенно одетый, даже в резиновых сапогах.

— Я услышал ваш голос, — сказал он, — оттуда, снизу. Значит, час настал, старик.

— Да. Нате выпейте.

— Не помешает.

Он скорчил гримасу.

— У меня в машине есть еще бутылка.

— Я уже сложил вещи, — сказал он. — Луис одолжил мне рюкзак. — Он перечислил свои пожитки, загибая пальцы: — Запасная пара туфель, еще одна пара брюк. Две пары носков. Рубашка. Да, и погребец. На счастье. Понимаете, мне его подарили...

Он споткнулся на полуслове. Может быть, вспомнил, что тут он сказал мне правду.

— Вы, видно, рассчитываете, что война продлится недолго, — сказал я, чтобы замять разговор.

— Я должен иметь не больше поклажи, чем мои люди. Дайте срок, и я налажу снабжение. — Впервые он заговорил, как настоящий военный, и я чуть не подумал, что зря на него наговаривал. — Вот тут вы сможете нам помочь, старик, когда я налажу курьерскую службу.

— Давайте лучше подумаем о более неотложных делах. Прежде надо доехать.

— Я страшно вам благодарен. — Его слова снова меня удивили. — Ведь мне здорово повезло, правда? Конечно, мне до чертиков страшно. Я этого не отрицаю.

Мы молча сидели рядом, потягивая виски и прислушиваясь к раскатам грома, от которых дрожала крыша. Я был настолько уверен, что в последний момент Джонс станет увивать, что даже растерялся; решимость проявил Джонс:

— Ели мы хотим выбраться отсюда, пока не кончилась гроза, нам пора. С вашего разрешения, я попрощаюсь с моей милой хозяйкой.

Когда он вернулся, у него был вымазан губной помадой уголок рта: трудно было понять, то ли от неловкого поцелуя в губы, то ли от неловкого поцелуя в щеку.

— Полицейские распивают ром на кухне, — сообщил он. — Давайте двинем.

Марта отперла нам парадную дверь.

— Идите вперед, — сказал я Джонсу, пытаюсь снова взять в свои руки власть. — Пригнитесь пониже, чтобы вас не было видно в ветровое стекло.

Мы оба промокли до нитки, как только вышли за дверь. Я повернулся, чтобы попрощаться с Мартой, но даже тут не смог удержаться от вопроса:

— Ты все еще плачешь?

— Нет, — сказала она, — это дождь. — И я увидел, что она говорит правду: дождь струился у нее по щекам, так же как и по стене, за ее спиной. — Чего ты ждешь?

— Разве я меньше заслуживаю поцелуя, чем Джонс? — спросил я, и она приложила губами к моей щеке: поцелуй был холодный, равнодушный, и я это почувствовал. Я сказал с упреком: — Я ведь тоже подвергаюсь опасности.

— Но мне не нравятся твои побуждения, — сказала она.

Словно кто-то ненавистный заговорил вместо меня, прежде чем я успел заставить его замолчать:

— Ты спала с Джонсом?

Я пожалел об этих словах, прежде чем успел закончить фразу. Если бы грянувший раскат грома заглушил мой вопрос, я был бы рад и ни за что бы его не повторил. Она стояла, прижавшись спиной к двери, словно перед расстрелом, и я почему-то подумал о том, как держался ее отец перед казнью. Бросил ли он вызов своим судьям с эшафота? И были ли на его лице презрение и гнев?

— Ты столько раз меня об этом спрашивал, — сказала она, — каждый раз, когда мы встречались. Ладно. Я отвечу тебе: да, да. Ты ведь этого ждешь, правда? Да. Я спала с Джонсом.

Хуже всего, что я не совсем ей поверил.

В окнах у матушки Катрин не было света, когда мы, свернув на Южное шоссе, проезжали мимо поворота к ее публичному дому, а может, его просто не было видно сквозь пелену дождя. Я ехал наугад, словно мне завязали глаза, со скоростью не больше двадцати миль в час; а это была еще легкая часть дороги. Ее построили по хваленому пятилетнему плану с помощью американских инженеров, но американцы вернулись домой, и бетонное шоссе обрывалось в семи милях от Порт-о-Пренса. Там я рассчитывал наткнуться на заставу, однако, когда мои фары осветили пустой вездеход, стоявший у лачуги милиционера, я испугался: это означало, что здесь были и тонтон-макуты. Я даже не успел прибавить ходу, но никто не вышел из лачуги — если там и были тонтон-макуты, им тоже не хотелось мокнуть. Я прислушивался к звукам погони, но в ушах у меня только барабанил дождь. Знаменитое шоссе превратилось в проселочную дорогу; нас швыряло по камням, мы бултыхались в стоячие лужи, и наша скорость теперь не превышала восьми миль. Больше часа проехали в молчании: тряска не давала сказать ни слова.

Камень ударил в дно машины, и я на секунду подумал, что сломалась ось. Джонс спросил:

— Где у вас виски?

Он нашел бутылку, отхлебнул и протянул виски мне. Я на миг ослабил внимание, машина скользнула вбок, и задние колеса застряли в жидкой глине. Нам пришлось двадцать минут попотеть, прежде чем мы двинулись дальше.

— Мы поспеем на свидание вовремя? — спросил Джонс.

— Сомневаюсь. Возможно, что вам придется прятаться до завтрашнего вечера. Я на всякий случай захватил для вас бутерброды.

Он хмыкнул.

— Вот это жизнь, — сказал он. — Я часто мечтал о чем-нибудь таком.

— А я-то думал, что вы всегда вели такую жизнь.

Он замолчал, словно поняв, что проговорился.

Внезапно, безо всякий видимой причины, дорога стала лучше. Дождь быстро стихал; я надеялся, что он не кончится, прежде чем мы проедем следующий полицейский пост. Дальше не предвиделось никаких препятствий до самого кладбища по эту сторону Акена.

— А что Марта? — спросил я. — Какие у вас были отношения с Мартой?

— Она замечательная женщина, — уклончиво ответил он.

— Мне казалось, что вы ей нравитесь.

Изредка я различал между пальмами полоску моря, как вспышку зажженной спички,

это было дурным признаком; погода явно прояснялась. Джонс сказал:

— У нас с ней сразу все пошло как по маслу.

— Мне иногда даже было завидно, но, может, она не в вашем вкусе?

Я будто сдирал повязку с раны: чем медленнее стягиваешь, тем дольше длится боль, но у меня не хватало мужества сорвать бинт сразу, к тому же мне приходилось неотрывно следить за дорогой.

— Старик, — изрек Джонс, — я не привередлив, но эта — просто пальчики оближешь!

— Вы знаете, что она немка?

— Эти фрейлейн — стреляные птицы...

— Вроде Тин-Тин? — спросил я с безразличием любознательного человека.

— Совсем другой класс, старик.

Мы были как два молодых медика, хвастающих своей первой практикой. Я долго молчал.

Мы подъезжали к Пти-Гоаву — я знал эти места о лучшие дни. Полицейский участок, припомнил я, в стороне от шоссе, мне полагалось подъехать туда и доложить о себе. Я надеялся, что дождь еще достаточно сильный и полицейским не захочется выходить из помещения; вряд ли здесь были расставлены караульные посты. Мокрые лачуги по краям дороги колыхались в свете фар; дождь размыл глину, переломал пальмовые листья на крышах; нигде ни единого огонька; не видно было и людей, хотя бы какого-нибудь калеки. Семейные склепы на маленьких кладбищах выглядели надежнее семейных очагов. Мертвым возводили более прочные обиталища, чем живым — двухэтажные дома с окнами-амбразурами, где на праздник всех святых ставили еду и зажигали свечи. Я должен был напрягать все свое внимание, пока мы не минуем Пти-Гоав, да и, кроме того, боялся задать следующий вопрос: я дошел до двери и не мог больше медлить, надо было ее отворить. На длинном огороженном участке у дороги виднелись ряды небольших крестов, перевитые чем-то похожим на пряди светлых волос, будто содранных с черепов погребенных здесь женщин.

— Господи, — воскликнул Джонс, — это еще что?

— Сушат сизаль.

— Сушат? Под таким дождем?

— Кто знает, где хозяин? Может, его расстреляли. А может, он в тюрьме. Или бежал в горы.

— Ну и жуть, старик. Прямо из Эдгара Аллана По. Больше напоминает о смерти, чем любое кладбище.

На главной улице Пти-Гоава не было ни души. Мы проехали мимо какого-то заведения под названием Клуб Ио-Ио, мимо большой вывески пивной матушки Мерлан, мимо булочной, принадлежавшей человеку по имени Брут, и гаража некоего Катона — так упрямо память этого черного народа хранила воспоминания о другой, лучшей республике, — и наконец, к моему облегчению, мы снова очутились за городом и нас зашвыряло по камням.

— Слава богу! — сказал я.

— Скоро приедем?

— Скоро доедем до половины пути.

— Пожалуй, я глотну еще виски, старик.

— Пейте, хотя вам надо растянуть его надолго.

— Пожалуй, лучше прикончить его до встречи с ребятами. На них все равно не напасешься.

Я тоже отхлебнул для храбрости, но все не решался спросить его напрямик.

— А как вы ладили с мужем? — осторожно осведомился я.

— Отлично. Он был не внакладе.

— Почему?

— Она с ним больше не спит.

— Откуда вы знаете?

— Раз говорю, значит, знаю, — сказал он, взяв бутылку и громко посасывая виски.

Дорога снова не давала мне отвлекаться. Теперь мы еле-еле ползли: мне приходилось вилять между камнями.

— Надо было вам взять вездеход, — сказал Джонс.

— А где его взять в Порт-о-Пренсе? Попросить у тонтон-макутов?

Мы доехали до развилки, оставили море позади и, взбираясь на холм, свернули в глубь полуострова. На какое-то время дорога стала сплошь глинистой, и теперь нам мешала только грязь. Это внесло разнообразие в мою работу. Мы ехали уже три часа — было около часа ночи.

— Теперь уже можно не опасаться милиционеров, — сказал я.

— Но ведь дождь перестал.

— Они боятся гор.

— Оттуда грядет наше спасение, — сострил Джонс.

Виски явно его развеселило. Я не мог больше ждать и задал наконец терзавший меня вопрос:

— А она хороша в постели?

— У-ди-вительна, — сказал Джонс, и я крепче вцепился в руль, чтобы не ударить своего седока.

Прошло много времени, прежде чем я заговорил снова, но он ничего не заметил. Он заснул с открытым ртом, прислонившись к дверце, как это часто бывало с Мартой: он спал тихо, как ребенок, с таким же простодушным видом. А может, он и правда был так же простодушен, как мистер Смит, потому они и понравились друг другу. Злость моя скоро прошла: ребенок стащил лакомый кусочек — да, вот именно лакомый кусочек, подумал я, ведь, наверно, он так и выразился бы о Марте. Он на минуту проснулся и предложил сменить меня за рулем, но наше положение казалось мне и без того опасным.

А потом машина и вовсе отказалась служить; может, я зазевался, а может, слишком сильный толчок окончательно ее доконал. Мы наехали на камень, машину занесло, а когда я попытался ее выровнять, руль завертелся у меня в руках, мы ударились о другой камень, и машина засела — передняя ось была сломана, одна фара вдребезги разбита. Делать было нечего: я не мог добраться до Ле-Ке и не мог вернуться в Порт-о-Пренс. Я был привязан к Джонсу, по крайней мере до утра.

Джонс открыл глаза:

— Мне приснилось... Почему мы стоим? Уже доехали?

— Сломалась передняя ось.

— А как вы думаете, нам еще далеко... дотуда?

Я взглянул на спидометр и сказал:

— Километра два, а может, и три.

— Доберемся на своих двоих, — сказал Джонс и стал вытаскивать свой рюкзак. Я неизвестно зачем сунул в карман ключ от машины; вряд ли в Гаити найдется гараж, где смогут ее починить, да и кто захочет сюда за ней ехать? Дороги вокруг Порт-о-Пренса забиты поломанными автомобилями и перевернутыми автобусами; однажды я даже видел автофургон технической помощи с краном, валявшийся на боку в канаве, — зрелище противоестественное, вроде спасательного катера, выброшенного на скалы.

Мы двинулись пешком. Я захватил с собой карманный фонарик, но дорога была трудная, и резиновые сапоги Джонса скользили по мокрой глине. Шел третий час ночи, и дождь прекратился.

— Если за нами погоня, — сказал Джонс, — им легко будет нас обнаружить. Только слепой не заметит, что тут люди.

— С чего бы им за нами гнаться?

— А тот вездеход, который мы проехали? — сказал он.
— В нем никого не было.
— Мы не знаем, кто следил за нами из лачуги.
— Все равно, у нас нет выбора. Мы и двух шагов не пройдем без фонаря. На этой дороге мы услышим машину километра за два.

Когда я освещал фонариком обочины дороги, видны были только камни, глина и низкие мокрые кусты.

— Беда, если мы прозеваем кладбище и забредем в Акен. Там стоит военный пост.

Я слышал, как тяжело дышит Джонс, и предложил поднести его рюкзак, но он отказался.

— Я маленько не в форме, — сказал он, — но это ничего, — а через несколько шагов добавил: — Я нагородил вам всякой чепухи в машине. Моим словам не всегда можно верить буквально.

Мне показалось, что это мягко сказано, и все же его слова меня удивили.

Наконец мой фонарик нащупал то, что я искал: справа в гору поднималось погруженное в темноту кладбище. Оно было похоже на город, построенный карликами: улица за улицей крошечные домики, некоторые почти в человеческий рост, другие слишком маленькие даже для новорожденного, и все из одинакового серого камня, покрытого облезлой штукатуркой. Я осветил фонариком другую сторону дороги, где, как мне сказали, должна находиться полуразрушенная хижина, но кто не ошибался, договариваясь о месте встречи. Одинокaя хижина должна была стоять против ближайшего к нам угла кладбища, но там не было ничего, только крутой склон.

— Не то кладбище? — спросил Джонс.

— Как это может быть? Мы уже недалеко от Акена.

Мы пошли дальше по дороге и напротив дальнего угла кладбища действительно нашли хижину, но при свете фонарика она вовсе не казалась мне разрушенной. Нам ничего не оставалось, как заглянуть в нее. Если там кто и живет, он испугается не меньше нашего.

— Жаль, что у меня нет револьвера, — сказал Джонс.

— Хорошо, что у вас его нет, но вы же говорили, что знаете приемы дзюдо?

Он пробормотал что-то вроде «отяжелел».

Но когда я толкнул дверь, внутри никого не оказалось. Сквозь дыру в крыше виднелся клочок бледнеющего неба.

— Мы опоздали на два часа, — сказал я. — Он, наверно, не дождался нас и ушел.

Джонс, отдуваясь, опустил на рюкзак.

— Надо было пораньше выехать.

— Это каким же образом? Мы ведь ждали грозы.

— А что делать теперь?

— Когда рассветет, я пойду назад, к машине. Разбитая машина на этой дороге не вызовет подозрений. Днем между Пти-Гоав и Акеном должен пройти местный автобус, может, мне удастся проголосовать, а может, до Ле-Ке ходит другой автобус.

— Как это просто, — с завистью сказал Джонс. — Ну, а мне как быть?

— Потерпеть до завтрашней ночи, — сказал я и добавил со злорадством: — Вы же теперь в своих родных джунглях. — Я выглянул за дверь: ничего не было видно и стояла такая тишина, что не слышно было даже собачьего лая. — Здесь оставаться не стоит, — сказал я. — А вдруг мы заснем и кто-нибудь сюда заявится? Ведь эти дороги патрулируют солдаты, а то и крестьянин заглянет по пути в поле. Он на нас донесет. А почему бы и нет? Мы ведь белые.

— Мы можем караулить по очереди, — сказал Джонс.

— Есть другой выход. Ляжем спать на кладбище. Вот туда никто не заглянет, кроме Барона Субботы.

Мы пересекли так называемую дорогу, перелезли через низкую каменную ограду и очутились на улице миниатюрного городка, где дома доходили нам до пояса. В гору мы взбирались медленно — из-за рюкзака Джонса. На кладбище я почувствовал себя спокойнее, там мы нашли дом, который был выше нас. Бутылку с виски мы поставили в одну из оконных щелей, а сами сели, привалившись спиной к стене.

— Ничего, — привычно произнес Джонс, — я бывал в местах и похуже.

И я подумал: в какое же чудовищное место он должен попасть, чтобы забыть свою любимую присказку.

— Если увидите среди могил цилиндр, — сказал я, — это Барон Суббота.

— Вы верите в упырей? — спросил Джонс.

— Не знаю. А вы верите в привидения?

— Бросьте говорить о привидениях, старик, лучше дернем виски.

Мне почудился шум, и я зажег фонарик. Луч осветил целую вереницу могил и попал в глаза кошке, которые отразили его, как два зеркальца. Кошка прыгнула на одну из крыш и исчезла.

— А стоит ли зажигать фонарь, старик?

— Если кто и увидит свет, он будет слишком напуган, чтобы сюда прийти. Лучше места, чтобы схорониться, вам не найти, — если вспомнить, где происходил разговор, надо признать, что выражение было не из удачных. — Вряд ли кто сюда заходит, разве что принесут покойника. — Джонс снова хлебнул виски, и я его предупредил: — Осталось только четверть бутылки. А у вас еще весь завтрашний день впереди.

— Марта налила мне полный смеситель, — сказал он. — Никогда не встречал женщины заботливее.

— И лучшей любовницы? — спросил я.

Наступило молчание — я подумал, не предастся ли он приятным воспоминаниям. Потом Джонс сказал:

— Старик, игра пошла всерьез.

— Какая игра?

— В солдатики. Я понимаю, почему перед боем людям хочется покаяться. Смерть дело серьезное. Человек чувствует, что он не очень-то достоин ее принять. Как орден.

— А у вас много грехов?

— У кого их нет? Я не имел в виду покаяться священнику или богу.

— А кому же?

— Все равно кому. Будь сегодня тут вместо вас собака, я исповедался бы собаке.

Я не хотел слушать его исповедь, я не хотел знать, сколько раз он спал с Мартой.

— А вы исповедовались Мошке? — спросил я.

— Не было случая. Игра еще не шла всерьез.

— Собака по крайней мере не выдаст ваших секретов.

— Плевать мне, кто что скажет, но я не хочу после смерти оказаться вруном. Довольно я врал при жизни.

Я услышал, как кошка крадется назад по крышам, и снова посветил ей в глаза фонариком. На этот раз она разлеглась на крыше и стала точить когти. Джонс развязал рюкзак и достал бутерброд. Разломив его пополам, он бросил половину кошке, которая метнулась прочь, будто хлеб был камнем.

— Не швыряйтесь так, — сказал я. — Вы теперь на голодном пайке.

— Несчастливая тварь хочет есть.

Он спрятал другую половину бутерброда обратно в мешок, и мы вместе с кошкой притихли.

Долгое молчание прервал Джонс, одержимый своей навязчивой идеей.

— Я ужасный фантазер, старик.

— Я это за вами давно замечал, — сказал я.

— В том, что я говорил о Марте, не было ни слова правды. Она одна из полусотни женщин, до которых у меня не хватало духу дотронуться.

Я не знал, говорит ли он сейчас правду или придумал более благородную ложь. Может быть, он заметил, как я огорчился, и понял все. Может быть, он меня пожалел. Интересно, подумал я, можно ли пасть еще ниже, чем заслужить жалость Джонса?

— Я всегда врал насчет женщин. — Он натянуто засмеялся. — Стоило мне побыть вдвоем с Тин-Тин, и она сразу превращалась в гаитянскую аристократку. Конечно, если мне было кому об этом рассказать. Знаете, старик, у меня за всю жизнь не было ни одной женщины, которой я бы за это не заплатил — или по крайней мере не пообещал заплатить. В трудную минуту, бывает, и зажилишь деньги.

— Марта сама мне сказала, что с вами спала.

— Не может быть. Не верю.

— Сказала. Это были чуть ли не последние ее слова.

— Вот не думал, — мрачно сказал он.

— Чего?

— Что у вас с ней любовь. Еще раз попался на лжи, Вы ей не верьте. Она рассердилась потому, что вы уехали со мной.

— Или потому, что я вас увез.

В темноте что-то заскреблось — это кошка нашла бутерброд.

— Тут очень похоже на джунгли. Вы будете чувствовать себя как дома.

Я услышал, как он отпил из бутылки, а потом сказал:

— Старик, я никогда в жизни не был в джунглях, если не считать зоологического сада в Калькутте.

— Значит, и в Бирме вы не были?

— Нет, там я был. Точнее, рядом. Всего в пятидесяти милях от границы. В Имфале — старшим по приему артистов, приезжавших выступить в войсках. Ну, не самым старшим. Один раз к нам приезжал Нозль Коуард, — добавил он с гордостью и даже с некоторым облегчением: наконец он нашел что-то, чем можно похвастаться, не солгав.

— Ну, и как вы друг другу понравились?

— Признаться, мне не пришлось с ним поговорить, — сказал Джонс.

— Но в армии вы были?

— Нет. Меня забраковали. Плоскостопие. Но узнав, что я был администратором кинотеатра в Шиллонге, дали мне эту должность. Я носил военное обмундирование, но без знаков различия. Состоял для связи с ЭНСС [ассоциация по организации досуга войск], — добавил он с оттенком непонятной гордости.

Я осветил фонариком ряды серых могил.

— Так какого же черта мы здесь? — сказал я.

— Я чересчур расхвастался, а?

— Вы влипли в скверную историю. Вам не страшно?

— Я как пожарный на первом пожаре.

— С вашими ногами вам будет нелегко лазать по горным тропам.

— С супинаторами я не пропаду, — сказал Джонс. — Но вы им не скажете, старик? Это же была исповедь.

— Они сами скоро узнают и без моей помощи. Значит, вы даже не умеете стрелять из пулемета?

— У них все равно нет пулемета.

— Запоздалое признание. Я не смогу отвезти вас обратно.

— А я и не хочу обратно. Старик, вы не представляете, как мне жилось там, в Имфале. Подружишься с кем-нибудь — я мог ведь познакомить с девочками, — а потом он уходит и

больше не возвращается. Или вернется разок-другой, расскажет какую-нибудь историю, и поминай как звали. Там был такой парень. Чартере, он издалека чуял воду... — Джонс оборвал себя на полуслове, он вспомнил.

— Еще одна ложь, — сказал я, точно сам был воинствующим правдолюбом.

— Не совсем ложь, — возразил он. — Видите ли, когда он мне это рассказал, меня осенило, точно кто-то выкрикнул мою настоящую фамилию.

— А она совсем не Джонс?

— В метрике значится Джонс. Сам видел, — сказал он и покончил с этим вопросом. — Когда он мне это рассказал, я понял, что могу делать то же самое, стоит лишь потренироваться. Я сразу угадал, что это у меня в крови. Я заставлял писаря прятать стаканы с водой у нас в канцелярии, а потом дожидался, пока не захочется пить, и принимаивался. Часто ничего не получалось, но ведь вода из-под крана — это совсем не то. — Он добавил: — Пожалуй, дам отдохнуть ногам, — и я понял по его движениям, что он снимает резиновые сапоги.

— Как вы очутились в Шиллонге? — спросил я.

— Я родился в Ассаме. Мой отец выращивал там чай... так, во всяком случае, говорила мать.

— Вам приходилось верить ей на слово?

— Видите ли, он вернулся в Англию еще до моего рождения.

— Ваша мать была индуской?

— Только наполовину, старина, — сказал он таким тоном, будто придавал этой разнице величайшее значение. Я словно обрел родного брата: Джонс, Браун — эти имена стоили друг друга, как и наши судьбы. Насколько нам было известно, мы оба были незаконнорожденные, хотя, конечно, какой-то обряд и мог быть совершен — моя мать всегда на это намекала. Нас обоих швырнули в воду — тони или выплывай, — и мы выплыли; мы плыли из очень отдаленных друг от друга мест, чтобы сойтись на кладбище в Гаити.

— Вы мне нравитесь, Джонс, — сказал я. — Если не хотите съесть ту половину бутерброда, дайте ее мне.

— С удовольствием, старик.

Он порылся в рюкзаке и нащупал в темноте мою руку.

— Рассказывайте дальше, Джонс, — сказал я.

— После войны я приехал в Европу. Бывал во многих переделках. И как-то не находил своего места. Знаете, временами в Имфале мне даже хотелось, чтобы до нас добрались японцы. Тогда начальство вооружило бы и тыловики вроде меня, и писарей, и поваров. В конце концов я же носил военную форму. Многие штатские отлично воюют, не правда ли? Я кое-чему научился, прислушивался к разговорам, разглядывал карты, наблюдал... Ведь можно почувствовать свое призвание, даже если тебе не дают себя проявить? А я сидел, проверял проездные документы и багажные квитанции третьеразрядных актеров — мистер Коуард был у нас исключением, — да еще должен был присматривать за девочками. Я звал их девочками. Хороши девочки — прошли огонь, воду и медные трубы. У меня в канцелярии воняло, как в театральной уборной.

— Грим мешал чують издалека воду?

— Вот-вот. Где уж тут... Я только и ждал, когда же мне представится случай, — добавил он, и я подумал, не был ли он всю свою несправедливую жизнь тайно и безнадежно влюблен в добродетель, восторгался ею издали и нарочно шалил, как ребенок, чтобы привлечь ее внимание.

— А теперь вам этот случай представился? — спросил я.

— Благодаря вам, старик.

— Я-то думал, что вы больше всего мечтаете о клубе для игроков в гольф...

— Верно. Но эта мечта была у меня на втором месте. Всегда надо иметь две мечты,

правда? На случай, если одна подведет.

— Да, пожалуй.

У меня тоже была мечта: заработать деньги. А была ли у меня другая? Мне не хотелось заглядывать так далеко назад.

— Попробуйте-ка немного поспать, — сказал я. — Когда рассветет, спать будет опасно.

И он действительно заснул, притом почти сразу, свернувшись над могилой, как зародыш в чреве матери. Свойство мгновенно засыпать роднило его с Наполеоном, и я подумал: не было ли у них и других общих черт? Раз он открыл глаза и заметил, что это «подходящее местечко», и тут же снова заснул. Я не видел в этом местечке ничего подходящего, но в конце концов тоже заснул.

Часа через два что-то меня разбудило. На миг я вообразил, что это шум мотора, но тут же решил, что вряд ли кто-нибудь выедет в такую рань; я еще не стряхнул остатков сна, в котором слышал этот шум, — во сне я вел машину через реку по каменистому руслу. Я тихо лежал, прислушиваясь, глядел в предрассветное серое небо и уже различал контуры соседних могил. Скоро должно взойти солнце. Пора было возвращаться к машине. Убедившись, что кругом тихо, я разбудил Джонса.

— Вам, пожалуй, больше не стоит спать, — сказал я.

— Я вас немножко провожу.

— Ну уж нет. Для меня это опасно. Вам надо держаться подальше от дороги, пока не стемнеет. Скоро крестьяне пойдут на рынок. Если они увидят белого, то сразу донесут.

— Тогда они донесут и на вас.

— У меня есть алиби. Разбитая машина на дороге в Ле-Ке. Вам придется скоротать этот день в обществе кошки. А потом ступайте в хижину и ждите Филиппо.

Джонс захотел непременно пожать мне руку. При трезвом свете дня симпатия, которую я к нему почувствовал, быстро улетучивалась. Я снова подумал о Марте и, словно читая мои мысли, он сказал:

— Передайте сердечный привет Марте, когда ее увидите. Луису и Анхелу, конечно, тоже.

— А Мошке?

— Мне там было хорошо, — сказал он. — Как у родных.

Я пошел мимо длинной вереницы могил вниз, к дороге. Я не рожден для maquis [маки, партизаны (фр.)] и был неосторожен. Меня занимало одно: солгала Марта или нет? За кладбищенской стеной стоял вездеход, но вид его сперва не нарушил течения моих мыслей. Потом я остановился и застыл. Было еще слишком темно, чтобы разглядеть, кто сидит за рулем, но я уже знал, что сейчас произойдет.

Голос Конкассера просипел:

— Стой на месте. Не шевелись. Ни шагу.

Он вылез из вездехода, а за ним показался и толстый шофер с золотыми зубами. Даже в предрассветной мгле он не расставался с черными очками, заменявшими ему мундир. Автомат старого образца был направлен мне в грудь.

— Где майор Джонс? — прошептал Конкассер.

— Джонс? — переспросил я так громко, как только смел. — Откуда я знаю? У меня сломалась машина. Я получил пропуск в Ле-Ке. Вы же это знаете.

— Говори тише. Я отвезу тебя и майора Джонса назад, в Порт-о-Пренс. Надеюсь, живьем. Президенту это будет приятнее. А мне надо помириться с президентом.

— Вы говорите глупости. Вы же видели мою машину на дороге. Я ехал в...

— Да, да, видел. Я знал, что ее увижу. — Автомат дернулся у него в руках и нацелился куда-то влево. Я от этого ничуть не выиграл: шофер держал меня на мушке револьвера. — Выходи вперед, — приказал Конкассер. Я сделал шаг вперед, но он прикрикнул: — Не ты! Майор Джонс.

Я обернулся и увидел, что за моей спиной стоит Джонс. В руке он держал бутылку с остатками виски.

— Идиот, — сказал я. — Какого черта вы сюда полезли?

— Извините. Я подумал, может, вам захочется выпить, чтобы скоротать время.

— Лезь в машину, — сказал мне Конкассер.

Я повиновался. Он подошел к Джонсу и ударил его по лицу.

— Мошенник, — сказал он.

— Там хватило бы и на вас, — сказал Джонс, и Конкассер ударил его снова.

Шофер стоял и смотрел на нас. Уже рассвело, и было видно, как сверкают в улыбке его золотые зубы.

— Садись рядом со своим дружкой, — приказал Конкассер. И пока шофер держал нас на прицеле, Конкассер повернулся и зашагал к машине.

Если громкий звук раздается близко, он почти не слышен: я скорее почувствовал дрожь в барабанных перепонках, чем услышал выстрелы и увидел, как Конкассер свалился навзничь, точно от удара невидимого кулака; шофер упал ничком; кусочек кладбищенской стены взлетел на воздух и долгое время спустя с легким шелчком ударялся о землю. Из хижины появился Филипо, за ним ковылял Жозеф. У них были автоматы того же образца, что и у Конкассера. Черные очки Конкассера валялись посреди дороги. Филипо раздавил их каблуком, но труп не выразил неудовольствия.

— Шофера я предоставил Жозефу, — сказал Филипо.

Жозеф склонился над шофером и что-то мудрил с его зубами.

— Надо быстро уходить, — сказал Филипо. — В Акене, наверно, слышали выстрелы. Где майор Джонс?

— Он пошел на кладбище, — сообщил Жозеф.

— Наверно, за рюкзаком, — сказал я.

— Поторопите его.

Я прошел между серыми домиками к тому месту, где мы провели ночь. Джонс был там, он стоял рядом с могилой на коленях, словно молился, но повернутое ко мне лицо его было болезненно-зеленоватого цвета. Его вырвало.

— Извините, старик, — сказал он. — С каждым бывает. Пожалуйста, не говорите им, но я никогда не видел, как умирают люди.

4

Я проехал не один километр вдоль проволочного забора, прежде чем обнаружил ворота. В Санто-Доминго мистер Фернандес взял для меня напрокат со скидкой маленькую спортивную машину, наверно, слишком легкомысленную для такой поездки, и я запасся личной рекомендацией мистера Смита. Я выехал из Санто-Доминго после обеда, а сейчас уже садилось солнце; в те дни в Доминиканской Республике не было застав на дорогах и все дышало миром — военная хунта еще себя не показала, американская морская пехота еще не высадилась. Полдороги я проехал по широкой автостраде, где машины проносились мимо со скоростью сто миль в час. Ощущение покоя было особенно острым после произвола и насилия, царивших в Гаити, — оно казалось куда более далеким, чем на самом деле, ведь нас разделяло всего несколько сот километров. Никто не останавливал меня, чтобы проверить документы.

Я доехал до ворот в ограде, они были заперты. Негр в стальной каске и синем комбинезоне по ту сторону проволоки спросил, что мне здесь нужно. Я сказал, что хочу повидать мистера Шюйлера Уилсона.

— Предъявите пропуск, — потребовал он, и я почувствовал, что меня отбросили назад, туда, откуда я бежал.

— Он меня ждет.

Негр пошел в караулку, и я увидел, что он говорит по телефону (я уже забыл, что

телефон может работать). Потом он отпер ворота и дал мне значок, сказав, что я не должен его снимать, пока нахожусь на территории рудников. Я могу доехать до следующего заграждения. И я проехал немалое расстояние вдоль тихого синего Карибского моря, мимо небольшой посадочной площадки с ветроуказателем, повернутым в сторону Гаити, и мимо пристани, где не было лодок. Все вокруг было припорошено красной бокситной пылью. Наконец я добрался до следующих ворот, перекрывавших дорогу, и до следующего негра в металлической каске. Он взглянул на мой значок, снова спросил мою фамилию и зачем я приехал и опять позвонил по телефону. Потом он велел мне подождать. За мной приедут. Я ждал десять минут.

— А у вас что, Пентагон? Или Центральное разведывательное управление? — спросил я стражника.

Он не ответил. Наверно, ему запретили разговаривать. Я был рад, что у него хоть нет револьвера. Потом подъехал мотоцикл с белым мотоциклистом в металлической каске. Он почти не говорил по-английски — а я по-испански — и знаком предложил мне следовать за его мотоциклом. Мы проехали еще несколько километров красной земли и синего моря, прежде чем добрались до первых административных зданий — прямоугольников из бетона и стекла, где не видно было ни души. Дальше показалась роскошная стоянка передвижных фургончиков, где дети в костюмчиках космонавтов играли с космическими ракетами. Из окон выглядывали женщины, хлопотавшие у кухонных плит, и пахло стряпней. Наконец мы остановились перед большим стеклянным зданием. Лестница, широкая, как в парламенте, вела на террасу с шезлонгами. Наверху стоял большой толстый человек с невыразительным лицом, гладким, как мрамор. Его можно было принять за мэра, готового вручить ключи от города.

— Мистер Браун?

— Мистер Шюйлер Уилсон?

Он угрюмо на меня поглядел. Может, я неправильно произнес его имя? А может, ему не понравилась моя спортивная машина?

— Выпейте стаканчик кока-колы, — неприветливо предложил он и жестом указал на один из шезлонгов.

— А виски у вас не найдется?

— Посмотрим, — сказал он без особого удовольствия и удалился в большое стеклянное здание, оставив меня одного.

Я почувствовал, что мной остались недовольны. По-видимому, виски полагалось только приезжим директорам и руководящим политическим деятелям. Я же был только потенциальным управляющим рестораном, нанимавшимся на работу. Однако он принес мне виски, держа в другой руке как наглядный упрек стакан кока-колы.

— Вам писал обо мне мистер Смит, — сказал я.

Я едва удержался, чтобы не добавить: кандидат в президенты.

— Да. Откуда вы друг друга знаете?

— Он жил у меня в гостинице в Порт-о-Пренсе.

— Верно. — По-видимому, мистер Шюйлер Уилсон сопоставлял факты, чтобы выяснить, не соврал ли один из нас. — Вы не вегетарианец?

— Нет.

— А то наши парни предпочитают бифштекс с жареной картошкой.

Я отпил немного виски — оно было так сильно разбавлено содовой, что почти не чувствовалось. Мистер Шюйлер Уилсон не спускал с меня глаз, словно ему было жаль каждой капли. Я все больше и больше чувствовал, что работы мне здесь не видать.

— Есть у вас опыт в ресторанном деле?

— Ну, еще месяц назад мне принадлежала гостиница в Гаити. А прежде я работал в «Трокадеро» в Лондоне и, — добавил я старую ложь, — в Париже, у Фуке.

- У вас есть рекомендации?
- Не могу же я написать самому себе рекомендацию! Я уже много лет сам себе хозяин.
- Ваш мистер Смит немножко псих, а?
- Мне он нравится.
- Его жена вам рассказывала, что он даже выставял свою кандидатуру в президенты?

От вегетарианцев.

Мистер Шюйлер Уилсон захохотал. Это был злой, невеселый смех, похожий на урчание притаившегося зверя.

- По-моему, это была просто пропаганда своих взглядов.
- Я против всякой пропаганды. Нам тут подсовывали листовки под проволоку. Пытались подобраться к нашим людям. Но мы им хорошо платим. Хорошо кормим. Что вас заставило уехать из Гаити?

— Неприятности с властями. Я помог одному англичанину бежать из Порт-о-Пренса. Он спасался от тонтон-макутов.

- Это еще что такое?

Мы находились меньше чем в трехстах километрах от Порт-о-Пренса; странно, что он задал такой вопрос, но, должно быть, в газетах, которые он читает, давно ничего не писали о тонтон-макутах.

- Тайная полиция, — пояснил я.
- Вы-то сами как сюда попали?
- Его друзья помогли мне перебраться через границу.
- За этой краткой справкой скрывались две недели изнурительной усталости и неудач.
- Какие там еще друзья?
- Повстанцы.
- Вы хотите сказать, коммунисты?

Он допрашивал меня с таким пристрастием, словно я нанимался агентом в Центральное разведывательное управление, а не директором ресторана на рудники. Я слегка вспыхнул:

- Не все повстанцы коммунисты, пока их ими не сделают.

Мой гнев позабавил мистера Шюйлера Уилсона. Впервые он улыбнулся; это была самодовольная улыбка, словно он путем ловких расспросов разоблачил нечто такое, что я хотел утаить.

- Вы большой специалист, — сказал он.
- Специалист?

— Ну да, имели собственную гостиницу, работали в этом, как его — парижском ресторане. Думаю, вам у нас не понравится. Нам нужна простая американская кухня, без всяких фокусов. — Мистер Шюйлер Уилсон встал, давая понять, что беседа окончена. Он с нетерпением смотрел, как я допиваю виски, а потом, не подавая руки, сказал: — Рад был познакомиться, значок сдайте у ворот.

Я проехал мимо частного аэродрома и частной гавани. Сдал свой значок; это напомнило мне о том, как сдаешь разрешение на въезд иммиграционным властям в Айдлуайлде [аэропорт в Нью-Йорке].

Я поехал в гостиницу «Эмбассадор» на окраине Санто-Доминго, где остановился мистер Смит. Здешняя обстановка как-то не гармонировала с ним, или так мне по крайней мере казалось. Я привык видеть его сутулую фигуру, кроткое скромное лицо и беспорядочную копну седых волос среди окружавшей его нищеты. А в этом огромном сверкающем зале сидели мужчины, вооруженные вместо револьвера кошельком, а если они и носили темные очки, то лишь для того, чтобы предохранить глаза от яркого света. Трещали игорные машины, и из казино доносились возгласы крупье. Здесь у всех были деньги. Нищету убрали подальше: вниз, в город. Какая-то девушка в бикини шла из бассейна,

накинув яркий купальный халат. Она спросила у портье, не приехал ли мистер Хохструдель-младший. «Мистер Уилбур К.Хохструдель», — пояснила она. Портье ответил: «Пока нет, но мистеру Хохструделю заказан номер».

Я попросил передать мистеру Смиту, что я внизу, и сел. Мужчины за средним столом пили ромовый пунш, и я вспомнил Жозефа. Он готовил ромовый пунш лучше, чем подавали здесь, и я почувствовал, как скучаю по Жозефу.

У Филипо я провел только сутки. Он был со мной сдержанно вежлив, но это был совсем не тот человек, которого я знал раньше. Когда-то я был ему нужен, чтобы слушать его стихи, написанные под Бодлера, но я был слишком стар, чтобы воевать. Теперь ему нужен был Джонс, и он искал только общества Джонса. С ним скрывалось девять человек, а если послушать его разговоры с Джонсом, можно было подумать, что он командует по крайней мере батальоном. Джонс слушал с умным видом и помалкивал, но в ту ночь я проснулся и услышал, как он говорит:

— Вам надо о себе заявить, а для этого занять позиции не слишком далеко от границы, чтобы туда могли приехать журналисты. Тогда вы добьетесь признания...

Неужели, сидя в этой дыре среди скал (а им приходится, как мне сказали, каждый день отыскивать новую дыру), они уже подумывали о временном правительстве? У них было три автомата старого образца, захваченные в полицейском участке, — вероятно, эти автоматы впервые были пущены в дело еще при Аль-Капоне, несколько винтовок времен первой мировой войны, дробовик, два револьвера, а у одного из партизан было только мачете... Джонс добавил, как старый вояка:

— Такая война требует прежде всего хитрости, не меньше, чем от жулья. Был у нас верный способ надувать япошек...

Он так и не стал владельцем гольф-клуба, но, по-моему, он был счастлив. Люди смотрели ему в рот; они не понимали ни слова из того, что он говорил, но у всех было такое ощущение, что в лагере появился вождь.

На следующий день меня отправили, дав в проводники Жозефа, к доминиканской границе. К этому времени мою машину и трупы убитых, наверно, уже обнаружили, и мне было опасно оставаться в Гаити. От Жозефа с его искалеченной ногой в горах было мало толку, а провожая меня, он мог выполнить и другое поручение. Филипо предложил мне перебраться через Международное шоссе, которое разделяет обе республики на участке длиною в пятьдесят километров к северу от Баники. Правда, по обе стороны шоссе через каждые несколько километров были расставлены гаитянские и доминиканские сторожевые посты, однако поговаривали — и Филипо хотел в этом убедиться, — будто солдаты на гаитянской стороне по ночам бросают посты, опасаясь нападения партизан. Из пограничной полосы выселили всех крестьян, но ходили слухи, что в горах еще действует та группа из тридцати человек, с которой Филипо хотел установить связь. Если Жозеф вернется, он принесет важные сведения, а если нет, эта потеря будет менее ощутимой, чем любая другая. Вероятно, они также считали, что благодаря его хромоте за ним может поспеть даже человек моих лет.

— Я буду держаться до конца, старик, — это были последние слова, которые Джонс сказал мне наедине.

— А как же гольф-клуб?

— Этим я займусь на старости лет. После того как мы возьмем Порт-о-Пренс.

Шли мы медленно, тяжело, весь утомительный путь занял одиннадцать дней — девять из них мы пролежали в укрытии, перебегали с места на место и петляли, а в последние два дня наплевали на всякие предосторожности: голод заставил. Я не на шутку обрадовался, когда в сумерки с вершины нашей серой выветрившейся горы, где ничего не росло, мы увидели густой доминиканский лес. Извилистую линию границы можно было определить по контрасту между нашими голыми скалами и их буйной растительностью. Горный кряж был

тот же, но деревья не переступали границы, не желая расти на бедной иссохшей земле Гаити. На полпути вниз находился гаитянский сторожевой пост — скопище ветхих лачуг, — а в каких-нибудь ста метрах по ту сторону шоссе высился зубчатый форт, словно перенесенный сюда из Испанской Сахары. Незадолго до наступления темноты мы увидели, как гаитянские солдаты потянулись прочь, не оставив даже часового. Мы следили за тем, как они направляются в какое-то неведомое убежище (здесь ведь не было ни дорог, ни деревень, куда можно убежать с беспощадных скал), потом я попрощался с Жозефом, отпустив глупую шутку насчет ромового пунша, и пополз по руслу узкого ручейка вниз к Международному шоссе — слишком громкое название для этого проселка, мало чем отличавшегося от знаменитого Южного шоссе в Ле-Ке. На следующее утро доминиканцы посадили меня на военный грузовик, который ежедневно доставлял провиант в форт, и я вылез в Санто-Доминго в рваной и пыльной одежде с сотней ничего не стоящих гурдов в кармане и бумажкой в пятьдесят американских долларов, зашитой для сохранности в подкладку брюк. С помощью этой бумажки я снял номер, принял ванну, почистился и проспал двенадцать часов, прежде чем пойти в британское консульство просить денег и отправки — но куда?

От этого унижения меня спас мистер Смит. Он проезжал мимо в машине мистера Фернандеса и увидел меня, когда я пытался разузнать дорогу в консульство у негра, который говорил только по-испански. Я попросил мистера Смита отвезти меня в консульство, но он и слышать об этом не захотел — нечего решать такие дела натошак, сказал он, — а когда мы пообедали, заявил, что недопустимо одалживать деньги у какого-то бездушного консула, когда рядом он, мистер Смит, с бумажником, полным американских долларов!

— Вспомните только, чем я вам обязан, — сказал он, но я так и не мог припомнить, чем же мистер Смит мне обязан.

В гостинице «Трианон» он расплатился по счету. Он даже питался своим собственным истролом. Он обратился за поддержкой в споре к мистеру Фернандесу, и мистер Фернандес сказал «да», а миссис Смит сердито заметила, что, если я считаю ее мужа способным бросить друга в беде, жаль, что меня не было с ними в тот день в Нашвилле... Ожидая мистера Смита в холле, я раздумывал о том, какая пропасть отделяет его от мистера Шюйлера Уилсона.

Мистер Смит спустился в холл «Эмбассадора» один. Он извинился за миссис Смит, объяснив, что она берет свой третий урок испанского языка у мистера Фернандеса.

— Вы бы послушали, как бойко они болтают, — сказал он. — У миссис Смит поразительные способности к языкам.

Я рассказал, как меня принял мистер Шюйлер Уилсон.

— Он решил, что я коммунист.

— Почему?

— Потому что меня преследовали тонтон-макуты. Папа-Док, как вам известно, — оплот против коммунизма. А повстанец — это, конечно, ругательное слово. Интересно, как бы президент Джонсон отнесся к чему-нибудь вроде французского Сопротивления? Ведь и в него просочились (тоже ругательное слово) коммунисты. Моя мать была на стороне повстанцев, хорошо хоть, что я не сказал об этом мистеру Шюйлеру Уилсону.

— Не понимаю, чем им мешает коммунист в качестве директора ресторана. — Мистер Смит посмотрел на меня с грустью. Он сказал: — Не так уж приятно испытывать стыд за соотечественников.

— Будто вам не приходилось испытывать его в Нашвилле.

— Там было другое. Болезнь, лихорадка. Мне даже было их жалко. У нас в штате еще сохранились традиции гостеприимства. Когда кто-нибудь стучится в дверь, мы не спрашиваем о его политических взглядах.

— Хотел бы я вернуть вам свой долг.

— Я не бедняк, мистер Браун. Вы меня не разорите; я хочу предложить вам займы еще тысячу долларов.

— Как же я могу их взять? Мне нечего вам предложить в качестве обеспечения.

— Если вас беспокоит только это, мы составим бумагу — законную, по всем правилам закладную на вашу гостиницу. Это превосходная недвижимость.

— Сейчас она не стоит ни гроша, мистер Смит. Наверно, правительство ее уже конфисковало.

— Когда-нибудь все переменится.

— Я узнал о другой вакансии. На севере, возле Монте-Кристи. Фруктовой компании нужен заведующий лавкой.

— Вам незачем так низко опускаться, мистер Браун.

— Я опускался в свое время гораздо ниже, и притом куда менее достойным образом. Если вы позволите снова сослаться на вас... Это тоже американская компания.

— Мистер Фернандес говорил, что ему нужен компаньон — американец или англичанин. У него здесь очень процветающее маленькое заведение.

— Вот никогда не думал стать гробовщиком!

— Это общественно полезное занятие, мистер Браун. И притом — обеспеченное будущее. В таком деле не бывает кризисов.

— Я все-таки сперва попытаю счастья с лавкой. В этой области у меня больше опыта. А если там сорвется, как знать?..

— Вы слышали, что здесь в городе миссис Пинеда?

— Миссис Пинеда?

— Ну да, та очаровательная дама, которая приходила в гостиницу. Неужели не помните? Поначалу я действительно не сообразил, о ком идет речь.

— А что она делает в Санто-Доминго?

— Ее мужа перевели в Лиму. Они с сыном задержались на несколько дней здесь, в своем посольстве. Забыл, как его зовут.

— Анхел.

— Правильно. Прелестный мальчик. Мы с миссис Смит очень любим детей. Может, потому, что у нас никогда не было своих. Миссис Пинеда была очень рада узнать, что вы выбрались из Гаити целым и невредимым, но она, естественно, беспокоится за майора Джонса. Я думаю, мы можем завтра вечером поужинать небольшой компанией и вы ей расскажете о своих приключениях.

— Завтра я хочу выехать с самого утра на север, — сказал я. — Вакансия не станет меня дожидаться. Я уже и так слишком долго здесь околачиваюсь. Скажите, что я напишу ей все, что знаю о Джонсе.

На этот раз, зная здешние дороги, я запасся вездеходом, снова взятым для меня напрокат со скидкой мистером Фернандесом. Тем не менее я так и не добрался до банановых плантаций в Монте-Кристи и никогда не узнаю, доверили бы мне лавку фруктовой компании. Я пустился в путь в шесть утра и к завтраку достиг Сан-Хуана. До Элиас-Пинас шла хорошая дорога, но дальше, вдоль границы, Международное шоссе годилось разве что для мулов и коров — правда, по нему и не было никакого движения, если не считать ежедневного автобуса и нескольких военных грузовиков. Я доехал до военного поста Педро-Сантана, где меня непонятно почему задержали. Лейтенант, которого я видел месяц назад, когда переходил границу, был поглощен разговором с толстяком в штатском; перед ним лежала груда сверкающих побрякушек и дешевых ожерелий, браслетов, часов, колец: граница была излюбленным полем деятельности контрабандистов. Деньги перешли из рук в руки, и лейтенант подошел к моему вездеходу.

— Что случилось? — спросил я.

— Случилось? Ничего не случилось.

Он говорил по-французски не хуже меня.

— Солдаты не дают мне ехать дальше.
— Для вашей собственной безопасности. По ту сторону Международного шоссе идет стрельба. Беспорядочная стрельба. Мы с вами, кажется, где-то встречались?

— Я перешел эту дорогу месяц назад.

— Да. Теперь вспоминаю. Думаю, что мы сейчас увидим еще кое-кого из ваших.

— К вам сюда часто переходят беженцы?

— Сразу после вас к нам перешло человек двадцать партизан. Теперь они в лагере около Санто-Доминго. Я уже думал, что на той стороне больше никого не осталось.

Наверно, речь шла о том отряде, с которым хотел установить связь Филипо. Я вспомнил, как Джонс и Филипо проговорили всю ночь и как слушали их люди, — о великих планах создания партизанской базы, о временном правительстве, о посещениях журналистов.

— Я хочу добраться в Монте-Кристи еще до темноты.

— Вам лучше вернуться в Элиас-Пинас.

— Нет, если не возражаете, я тогда подожду здесь.

— Воля ваша.

В машине у меня была бутылка виски, и лейтенант стал гораздо приветливее. Человек, продававший украшения, попытался заинтересовать меня парой сережек, по его словам, это были сапфиры и алмазы. Вскоре он уехал в сторону Элиас-Пинас. Он продал лейтенанту часы, а сержанту — два ожерелья.

— Для одной и той же женщины? — спросил я сержанта.

— Для моей жены, — ответил он, подмигнув.

Солнце было в зените. Я сидел в тени на ступеньках караульного помещения и раздумывал, что мне делать, если фруктовая компания мне откажет. Оставалось, конечно, предложение мистера Фернандеса, и я гадал, придется ли мне ходить в черном.

Может быть, и есть преимущество в том, что ты родился где-нибудь вроде Монте-Карло, там нельзя пустить корней, и от этого легче принимаешь все, что выпадает тебе на долю. Те, кто не пустил корней, испытывают соблазн найти, как и прочие, убежище в религии или политической вере, но мы почему-то не поддаемся этому искушению. Мы — люди без веры; мы восхищаемся теми, кто посвятил себя какой-то цели, такими, как доктор Мажио и мистер Смит, восхищаемся их мужеством и честностью, их преданностью своему делу, но из робости или из-за отсутствия должного рвения мы оказываемся единственными, кто действительно посвятил себя целиком всему миру зла и добра, мудрости и глупости, равнодушия и заблуждений. Мы предпочитаем просто существовать, «вращаясь вместе с круговоротом Земли рядом со скалами, камнями и деревьями», как сказал Вордсворт.

Эти рассуждения увлекли меня; по правде говоря, они облегчили мою беспокойную совесть, которую разбудили во мне помимо моей воли отцы св. Пришествия, когда я был еще слишком молод, чтобы этому противиться. Тут солнце осветило ступени и загнало меня в караулку, где стояли койки, похожие на носилки, на стенах были приколоты фотографии красавиц, и стоял тяжелый, душный запах. Туда и пришел за мной лейтенант.

— Скоро сможете ехать, — сказал он. — Они уже подходят.

По дороге устало брели несколько доминиканских солдат; они тянулись цепочкой, чтобы держаться в тени деревьев. Винтовки они несли через плечо, а в руках держали оружие людей, спустившихся с гаитянских гор, — те шли немного позади, тяжело волоча ноги, лица у них были смущенные, как у детей, сломавших дорогую вещь. Я не узнал никого из негров, но почти в хвосте маленькой колонны я увидел Филипо. Он шел голый по пояс — рубашкой он перевязал себе правую руку. Заметив меня, он произнес с каким-то вызовом: «У нас не осталось патронов», но, по-моему, он меня тогда не узнал, а увидел только возмущенное, как ему показалось, белое лицо. Небольшой отряд замыкали два человека, которые тащили носилки. На них лежал Жозеф. Глаза его были открыты, но он уже не видел чужой страны, в которую его принесли.

Один из несших носилки спросил:

— Вы его знаете?

— Да, — ответил я, — он умел готовить отличный ромовый пунш.

Оба посмотрели на меня с негодованием, и я понял, что такие слова не подобает произносить над мертвым, мистер Фернандес справился бы с этим лучше. Я молча поплелся за носилками, как участник похоронного кортежа.

В караулке кто-то подставил Филипо стул и дал сигарету. Лейтенант объяснил ему, что до завтрашнего дня не будет транспорта и что у них нет врача.

— У меня только рука сломана, — сказал Филипо. — Упал, спускаясь в ущелье. Пустяки. Я подожду.

Лейтенант добродушно сказал:

— Мы открыли для ваших комфортабельный лагерь возле Санто-Доминго. В бывшем сумасшедшем доме...

Филипо захохотал:

— В сумасшедшем доме! Вот это правильно, — а потом заплакал. Закрыв лицо руками, чтобы спрятать слезы.

— У меня здесь машина, — сказал я. — Если лейтенант разрешит, вам не придется ждать.

— Эмиль ранен в ногу.

— Мы можем взять и его.

— Мне не хочется с ними расставаться. Кто вы такой? Ах, да, конечно, же, я вас знаю. Я плохо соображаю сейчас.

— Вам обоим нужен врач. Какой смысл сидеть здесь до завтра? Вы еще кого-нибудь ждете?

Я имел в виду Джонса.

— Нет, больше никого нет.

Я пытался вспомнить, сколько их шло по дороге.

— Все остальные убиты? — спросил я.

— Убиты.

Я устроил этих двоих поудобнее в вездеходе, а беглецы стояли вокруг, держа в руках куски хлеба, и смотрели на нас. Их было всего шестеро, да еще Жозеф, который лежал мертвый в тени на носилках. У всех был потерянный вид людей, чудом спасшихся от лесного пожара. Мы тронулись, двое нам помахали, остальные молча жевали хлеб.

Я спросил Филипо:

— А Джонс... погиб?

— Теперь уже да.

— Он был ранен?

— Нет, но ему отказали ноги.

Я с трудом вытягивал из него слова. Сперва я подумал, что ему не хочется вспоминать, но он просто ушел в себя. Я сказал:

— Он оправдал ваши надежды?

— Это был необыкновенный человек. Мы у него кое-чему научились, но времени было мало. Люди его любили. Он умел их рассмешить.

— Но ведь он не говорил по-креольски.

— Он обходился без слов. Сколько там человек в этом сумасшедшем доме?

— Около двадцати. Тот отряд, который вы искали.

— Когда мы снова раздобудем оружие, мы вернемся.

— Непременно, — сказал я, чтобы его утешить.

— Я хотел бы найти его тело. Надо, чтобы у него была настоящая могила. Я поставлю камень там, где мы перешли границу, а потом, когда с Папой-Доком будет покончено, мы

воздвигнем такой же камень там, где погиб Джонс. Это станет местом паломничества. Я приглашу британского посла, может быть, кого-нибудь из королевской семьи...

— Надеюсь, Папа-Док нас всех не переживет.

Мы проехали Элиас-Пинас и свернули на хорошую дорогу в Сан-Хуан. Я сказал:

— Значит, он все-таки доказал, что способен на это.

— На что?

— Командовать партизанским отрядом.

— Он доказал это раньше, когда воевал с японцами.

— Ах да. Я забыл.

— Ну и хитер же он был! Знаете, как он провел Папу-Дока?

— Да.

— А знаете, он ведь чутьем находил воду издалека.

— Да ну?

— Конечно, но воды нам как раз хватало.

— А стрелял он хорошо?

— Оружие у нас было старое, давно вышедшее из употребления. Мне пришлось его учить. Он не был хорошим стрелком; он рассказывал, что прошел всю Бирму со стеклом в руке. Зато он умел вести за собой людей.

— При его-то плоскостопии... Как он погиб?

— Мы подошли к границе, чтобы соединиться с остальными, и попали в засаду. Тут он был не виноват. Двоих убили, Жозефа тяжело ранили. Оставалось только бежать. Мы не могли идти быстро из-за Жозефа. Он умер, когда мы спускались в последнее ущелье.

— А Джонс?

— Джонс едва двигался, ноги очень болели. А потом он нашел, как он выразился, «подходящее местечко». Сказал, что задержит солдат, пока мы не доберемся до дороги. Солдаты побаивались близко к нам подходить. Джонс сказал, что догонит нас потихоньку, но я знал — он не придет.

— Почему?

— Как-то раз он мне сказал, что для него нет места нигде, кроме Гаити.

— Интересно, что он имел в виду.

— Он хотел сказать, что сердце его в Гаити.

Я вспомнил телеграмму из Филадельфии, полученную капитаном, и запрос поверенному в делах. На совести Джонса явно был не только дорожный погребец, украденный у Аспри.

— Я его полюбил, — сказал Филипо. — Мне хочется написать о нем английской королеве...

Они отслужили мессу за упокой души Жозефа и других убитых (все трое были католиками) и из вежливости присоединили к ним Джонса, чье вероисповедание так и осталось неизвестным. Я отправился в маленькую францисканскую церковь в переулке вместе с мистером и миссис Смит. Молящихся было совсем мало. Мир был явно равнодушен к судьбе Гаити. Филипо привел свой небольшой отряд из сумасшедшего дома, и в последнюю минуту вошла Марта, ведя за руку Анхела. Мессу служил гаитянский священник-эмигрант; пришел, конечно, и мистер Фернандес, у него был вид человека, привычного к таким церемониям, и вполне профессиональный.

Анхел вел себя хорошо и даже, кажется, похудел с тех пор, как я его видел. Я не понимал, почему он мне казался раньше таким противным, а глядя на Марту, стоящую в двух шагах впереди меня, не понимал, почему наша полусупружеская жизнь была мне так необходима. Теперь я думал, что эта жизнь была возможна только в Порт-о-Пренсе, в темноте и страхе комендантского часа, при бездействующем телефоне, тонтон-макутах с их

черными очками, разгуле жестокостей, несправедливости и пыток. Наша любовь была похожа на вино, которое нельзя долго хранить и перевозить с места на место.

Священник был молодым человеком со светлой кожей метиса, сверстником Филипо. Он произнес очень короткую проповедь на слова апостола Фомы: «Давайте пойдем в Иерусалим и умрем с ним вместе». Он говорил:

— Церковь принадлежит роду человеческому, она разделяет страдания рода человеческого, и, хотя Христос осудил ученика, отрубившего ухо слуге первосвященника, сердца наши полны сочувствия ко всем, кого страдания других заставляют взять в руки меч. Церковь осуждает насилие, но она еще суровее осуждает равнодушие. Насилие может быть выражением любви, равнодушие — никогда. Первое есть ограниченность милосердия, второе — неограниченный эгоизм. В дни страха и смятения простодушие и преданность одного из апостолов помогли принять политическое решение. Он был неправ, но я предпочту быть неправым, как святой Фома, чем правым, как все бездушные и трусливые. Давайте же пойдем в Иерусалим и умрем вместе с ним.

Мистер Смит горестно качал головой; такая проповедь была ему не по душе. В ней слишком сильно сказывалась повышенная кислотность человеческих страстей.

Я смотрел, как Филипо в сопровождении своего маленького отряда подходит к алтарю, чтобы принять причастие. Покаялись ли они священнику в грехе насилия? Сомневаюсь, чтобы тот потребовал от них обещания исправиться. После богослужения я очутился рядом с Мартой и ребенком. На лице Анхела были слезы.

— Он любил Джонса, — сказала Марта.

Она взяла меня за руку и отвела в боковой притвор; мы остались наедине с уродливой статуей св. Клары.

— Мне надо сообщить тебе неприятное известие.

— Я уже знаю. Луиса переводят в Лиму.

— Разве это такое уж неприятное известие? У нас с тобой ведь все кончено, правда?

— Почему кончено? Ведь Джонс умер.

— Анхелу он был дороже, чем мне. В тот последний вечер ты меня разозлил. Если бы не было Джонса, ты терзался бы из-за кого-нибудь другого. Ты просто искал предлога, чтобы порвать со мной. Я никогда не спала с Джонсом. Тебе придется в это поверить. Я его любила, но совсем по-другому.

— Да. Теперь я могу тебе поверить.

— Но тогда ты не хотел верить.

Значит, она все-таки была мне верна, но сейчас это, казалось, не имело никакого значения — вот в чем ирония судьбы. Я почти жалел, что Джонсу не удалось с ней «развлечься».

— Какие же у тебя неприятные вести?

— Доктор Мажио умер.

Я не знал, когда умер мой отец — если он вообще умер, — поэтому я впервые испытал чувство внезапной разлуки с человеком, на которого всегда можно было положиться в беде.

— Как это случилось?

— По официальной версии, он был убит за то, что оказывал сопротивление при аресте. Его обвинили в том, что он агент Кастро, коммунист.

— Он, безусловно, был коммунистом, но я уверен, что он не был ничьим агентом.

— Они подослали к нему крестьянина, который позвал его к больному ребенку. Мажио вышел за порог, и тонтон-макуты застрелили его из машины. Есть свидетели. Они убили и крестьянина, но это, кажется, не было заранее предусмотрено.

— Иначе и быть не могло. Ведь Папа-Док — оплот против коммунизма.

— Где ты остановился?

Я назвал ей маленькую гостиницу.

— Прийти к тебе? — спросила она. — Я могу сегодня после обеда. У Анхела тут есть товарищи.

— Если ты этого хочешь.

— Завтра я уезжаю в Лиму.

— На твоём месте я бы не пришел, — сказал я.

— Ты мне напишешь, как твои дела?

— Конечно.

Я просидел в гостинице весь день на случай, если она все-таки придет, и был рад, что она не пришла. Я помнил, как дважды нашим объятиям помешали мертвецы — сперва Марсель, потом *ancien ministre*. Теперь в их величавые и стройные ряды встал доктор Мажио; они укоряли нас за наше легкомыслие.

Вечером я обедал со Смитами и мистером Фернандесом — миссис Смит служила мне переводчицей, она уже достаточно изучила для этого испанский, но мистер Фернандес мог немного объясняться и сам. Решено было, что я стану младшим компаньоном в заведении Фернандеса. Мне поручаются французские и англосаксонские клиенты, а нам обоим было обещано участие в прибылях вегетарианского центра мистера Смита, когда тот будет открыт. Мистер Смит считал, что это только справедливо, — ведь наше заведение могло пострадать от распространения вегетарианства. Может быть, вегетарианский центр и в самом деле был бы создан, если бы несколько месяцев спустя и Санто-Доминго не захлестнула волна насилия, — это способствовало процветанию мистера Фернандеса и моему, хотя, как бывает в таких случаях, мертвые по большей части принадлежали к клиентуре мистера Фернандеса. Цветных убивать проще, чем англичан и американцев.

В тот вечер, вернувшись в свой номер, я нашел на подушке письмо, — письмо с того света. Я так никогда и не узнал, кто его принес. Портье ничего не мог мне сообщить. Письмо не было подписано, но по почерку я сразу узнал, что оно от доктора Мажио.

«Дорогой друг, — прочел я, — я пишу вам потому, что любил вашу мать и в эти последние минуты хочу побеседовать с ее сыном. Часы мои сочтены: я жду, каждый миг могут постучать в дверь. Позвонить им не удастся, электричество, как всегда, не работает. Американский посол должен вот-вот вернуться, и Барон Суббота, несомненно, захочет сделать маленький ответный подарок к его приезду. Так уже повелось на свете. Всегда можно найти козлов отпущения из коммунистов, евреев или католиков. Героический защитник Тайваня Чан Кайши, как вы помните, бросал нас в паровозные топки. Мало ли для какого медицинского опыта я могу пригодиться Папе-Доку. Прошу вас только, не забывайте *se si gros negre* [этого большого негра (фр.)]. Помните тот вечер, когда миссис Смит обвиняла меня в том, что я марксист? Обвиняла — слишком сильное слово. Она добрая женщина и ненавидит несправедливость. Однако слово „марксист“ мне все меньше и меньше нравится. Слишком часто под марксизмом подразумевают только экономическую программу. Я, конечно, верю в эту экономическую программу — в определенных условиях и в определенное время — здесь, в Гаити, на Кубе, во Вьетнаме, в Индии... Но коммунизм, друг мой, шире, чем марксизм, так же как католицизм — вы помните, ведь я тоже рожден католиком — шире папства. В коммунизме есть и *mystique* [мистика (фр.)] и *politique* [политика (фр.)]. Мы с вами гуманисты, и вы, и я. Вы можете в этом не признаваться, но вы сын вашей матери и вы все-таки решились на опасное путешествие — рано или поздно приходится решаться каждому из нас. И католики и коммунисты совершали тяжкие преступления, но они по крайней мере не стояли в стороне, как это принято делать в обществе старой формации, и не были равнодушными. Я предпочту, чтобы на моих руках была кровь, чем вода, которой умывал руки Понтий Пилат. Я вас знаю и люблю вас, и я пишу это письмо, обдумывая каждое слово, — ведь это, наверно, последняя возможность побеседовать с вами. Письмо может до вас не дойти — я посылаю его, как мне кажется, с надежной оказией, однако что может быть надежным в том безумном мире, в котором мы

теперь живем (я имею в виду отнюдь не только мое бедное, маленькое Гаити). Я умоляю вас — стук в дверь может помешать мне закончить эту фразу, поэтому примите ее как последнюю просьбу умирающего, — если вы отвергли одну веру, не отвергайте веры вообще. Всегда есть другая вера взамен той, которую мы теряем. А может, это все та же вера в другом обличье?»

Я вспомнил, как Марта мне говорила: «В тебе пропал священник». Как странно мы выглядим в чужих глазах! Я был уверен, что навсегда покончил со служением долгу в колледже св. Пришествия — кинул его, как игорную фишку на церковное блюдо для пожертвований. Я считал себя не только неспособным любить — многие неспособны любить, — но даже неспособным грешить. В моей жизни не было ни взлетов, ни падений — только огромная равнина, по которой я шагал и шагал в бесконечную даль. В свое время я мог избрать другую дорогу, но теперь уже слишком поздно. В детстве отцы св. Пришествия говорили мне, что одно из испытаний веры в том, готов ли ты за нее умереть. Так думал и доктор Мажио. Но за какую веру умер Джонс?

И неудивительно, что в ту ночь мне приснился Джонс. Он лежал рядом со мной на высохшей равнине среди голых скал и говорил:

— Не просите меня найти воду. Я не могу. Я устал, Браун, устал. После семисотого представления я иногда забываю свои реплики, а их у меня всего две.

Я сказал ему:

— За что вы умираете, Джонс?

— Такая уж у меня роль, старик, такая у меня роль. Но в ней есть забавная реплика. Слышали бы вы, как хохочет весь зал, когда я ее произношу. Особенно дамы.

— Что же это за реплика?

— В том-то и беда, что я ее забыл.

— Джонс, вы должны ее вспомнить.

— Вспомнил. Я должен сказать — вы только поглядите на эти проклятые камни! — «Подходящее местечко!» — и все хохочут до упаду. Тогда вы говорите: «Для чего? Чтобы задержать этих ублюдков?» — А я отвечаю: «Нет, совсем для другого».

Меня разбудил телефонный звонок, я проспал. Насколько я мог понять, звонил мистер Фернандес — он вызывал меня для исполнения моих новых обязанностей.